

ISSN (Print) 1026-9487
ISSN (Online) 1684-0070

Политические
Исследования

POLIS
Political Studies

2020

ПОЛИС

Политические Исследования 4'2020

Научный и культурно-просветительский журнал
Издается с 1991 г.
Выходит 6 раз в год

2020 № 4

DOI: [10.17976/jpps/2020.04.00](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.00)

ISSN (Print) 1026-9487

ISSN (Online) 1684-0070

Читайте в следующих номерах:

Трансформация системы международных отношений
и поворот России на Восток

Россия и Китай в Большой Евразии

Эволюция правовых представлений россиян:
законопослушность или справедливость?

Многоуровневое управление в Евросоюзе
и стратегии национальных правительств

Окончание Второй мировой
(азиатско-тихоокеанский кейс)

Учредители:

Некоммерческое партнерство “Редакция журнала “Полис”
 (“Политические исследования”)

Общероссийская общественная организация
 “Российская ассоциация политической науки”

Федеральный научно-исследовательский социологический центр
 Российской академии наук

Некоммерческий фонд — Институт социально-экономических
 и политических исследований

Московский государственный институт международных отношений
 (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации

Издатель:

Некоммерческое партнерство “Редакция журнала “Полис”
 (“Политические исследования”)

Главный редактор:

С.В. Чугров

Научный советник:

И.К. Пантин

Редакция:

А.Л. Бардин, А.Н. Кокарева, Л.Н. Кузнецова,
 В.В. Лапкин (первый зам. главного редактора)

Оргподдержка:

Е.В. Рыжова

Компьютерная верстка:

И.М. Ситников

Журнал включен в ядро РИНЦ (двухлетний импакт-фактор без самоцитирования — 1,800),
 в Scopus (Sociology and Political Science, SJR Q2, Cite Score Q2), Web of Science (ESCI),
 Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science, ERIH PLUS.

Журнал входит в Перечень ведущих
 рецензируемых научных журналов
 и изданий, в которых должны быть
 опубликованы основные научные
 результаты диссертаций на соискание
 ученых степеней кандидата и доктора наук.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЖУРНАЛА

ПИ № ФС 77-73112 выдано

Федеральной службой по надзору в сфере связи,
 информационных технологий
 и массовых коммуникаций 22 июня 2018 г.

©НП “Редакция журнала “Полис”, 2020

POLIS.Political Studies

www.politstudies.ru

www.polismag.ru



ISSN 1026-9487



9 771026 948003 >

Polis. Political Studies 4'2020

Journal on Political Science, Political Sociology, International Relations, Political Philosophy

Published since 1991
Issued six times a year

ISSN (Print) 1026-9487
ISSN (Online) 1684-0070

DOI: 10.17976/jpps/2020.04.00
<http://www.politstudies.ru>

CONTENTS

6 Presenting the Issue

- | | |
|---|--|
| <p>9 W.E. Butler, M.L. Entin, E.G. Entina, E.A. Torkunova. Greater Eurasia: In Search of a Legal Order (in English)</p> <p>24 M.M. Lebedeva. New World Order: Parameters and Possible Contours</p> <p>36 A.G. Arbatov. China and Arms Control: Not Utopia, but a Reality</p> <p>55 V.V. Lapkin, V.I. Pantin. Global Dynamics of Political Institutions in the Context of the Destabilizing World Order (cases of the EU and Russia)</p> | <p>THEME OF THE ISSUE:
GAZING INTO
THE CONTOURS
OF THE FUTURE
WORLD ORDER</p> |
| <p>78 V.V. Naumkin. Non-West Model: Does the Civilization-State Exist?</p> <p>94 V.N. Konyshev. Neoclassical Realism in the Theory of International Relations</p> <p>112 M.V. Strezhneva. Systems Approach in International Research: On the Applicability of the Theoretical Heritage of Alexander Bogdanov</p> <p>124 G.T. Sardaryan, T.A. Alekseeva. Secularization and Religiousness in the Optics of Constructivism</p> | <p>THEORY AND
METHODOLOGY OF
POLITICAL STUDIES</p> |
| <p>139 V.S. Malakhov, K. Kascian. The EU's Migration Dilemma: Legal and Political Dimensions</p> <p>152 M.A. Chigasheva, M.A. Elizar'eva, T.S. Larina. The National-Cultural Profile of the Political Language of CDU/CSU Leaders</p> | <p>ORBIS TERRARUM</p> |
| <p>166 E.B. Shestopal, N.N. Rogach. Representations of an "Ideal" as a Factor of the Perception of a Political Leader in Reality</p> <p>181 T.V. Evgenyeva, N.V. Smulkina, I.A. Tsymbal. Russia's Place in the World in the Perception of National Citizens: Identification Dimension</p> | <p>LABORATORY:
THE EFFECTS
OF PERCEPTION
IN MODERN
RUSSIAN POLITICS</p> |

192 Information for Authors and Readers

In the next issues: *Transformation of the System of International Relations and Russia's Turn to the East*
Russia and China in Greater Eurasia
The Evolution of Russian People's Views on the Legality: Law or Justice?
The Multilevel Governance and the Strategies of the National Governments in the EU
The End of World War II (Asia-Pacific case)

Founders: Noncommercial Partnership "Editorial Board 'Polis' ('Political Studies')"
Russian Public Organization "Russian Political Science Association"
Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences
Noncommercial Foundation – Institute of Socio-economic and Political Researches (ISEPR Foundation)
Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs Russian Federation

Polis. Political Studies journal has a media registration certificate
PI No. FS 77-73112 issued on June 22, 2018,
by the Federal Service for Supervision of Communications,
Information Technology, and Mass Media.

The Journal has been included in Scopus
(Sociology and Political Science,
SJR Q2, Cite Score Q2),
and in the Web of Science
(Emerging Sources Citation Index),
Russian Science Citation Index (RSCI)
on the Web of Science platform, ERIH PLUS.

Полис. Политические Исследования 4'2020

6 Представляю номер

- | | | |
|---|--|---|
| <p>9 W.E. Butler, M.L. Entin, E.G. Entina, E.A. Torkunova
Greater Eurasia: In Search of a Legal Order</p> <p>24 М.М. Лебедева
Новый мировой порядок:
параметры и возможные контуры</p> <p>36 А.Г. Арбатов
Китай и ограничение вооружений:
не утопия, а возможность</p> <p>55 В.В. Лапкин, В.И. Пантин
Глобальная политико-институциональная динамика
в условиях дестабилизации миропорядка
(на примере стран ЕС и России)</p> | <p>78 В.В. Наумкин
Модель не-Запада:
существует ли государство-цивилизация?</p> <p>94 В.Н. Коньшев
Неоклассический реализм
в теории международных отношений</p> <p>112 М.В. Стрежнева
Системный подход в международных исследованиях:
об актуальности теоретического наследия
Александра Богданова</p> <p>124 Г.Т. Сардарян, Т.А. Алексеева
Секуляризация и религиозность
в оптике конструктивизма</p> | <p>ТЕМА НОМЕРА:
ВГЛЯДЫВАЯСЬ
В КОНТУРЫ
ГРЯДУЩЕГО
МИРОПОРЯДКА</p> |
| <p>139 В.С. Малахов, К.А. Касцян
Евросоюз перед лицом вынужденной миграции:
политическое и юридическое измерение</p> <p>152 М.А. Чигашева, М.А. Елизарьева, Т.С. Ларина
Национально-культурная специфика
политического языка лидеров блока ХДС/ХСС</p> | <p>166 Е.Б. Шестопал, Н.Н. Рогач
Идеальные представления как фактор восприятия
реального политического лидера</p> <p>181 Т.В. Евгеньева, Н.В. Смутькина, И.А. Цымбал
Место России в мире
в восприятии рядовых граждан:
идентификационное измерение</p> | <p>ТЕОРИЯ
И МЕТОДОЛОГИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ</p> <p>ORBIS TERRARUM</p> <p>ЛАБОРАТОРИЯ:
ЭФФЕКТЫ
ВОСПРИЯТИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИКЕ</p> |
| <p>192 Информация для авторов журнала</p> | | |

Международный консультативный совет

Оксана ГАМАН-ГОЛУТВИНА (председатель), доктор политических наук, чл.-корр. РАН, профессор, зав. кафедрой сравнительной политологии МГИМО МИД России, Президент Российской ассоциации политической науки (Россия)
Бьорн ВИТТРОК, заслуженный профессор, Уппсальский университет (Швеция)
Александр ГАЛКИН, доктор исторических наук, почетный доктор Института социологии ФНИСЦ РАН (Россия)
Михаил ГОРШКОВ, доктор философских наук, академик РАН, директор Института социологии ФНИСЦ РАН (Россия)
Владимир ГУТОВ, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой теории и философии политики СПбГУ (Россия)
Петр ДУТКЕВИЧ, доктор политических наук, профессор, Карлтонский университет, Оттава (Канада)
Такаса ИНОГУТИ, президент, Университет префектуры Ниигата (Япония)
Борис КАПУСТИН, доктор философских наук, старший преподаватель Йельского университета (США)
Тимоти КОЛТОН, профессор, Гарвардский университет (США)
Стейн Угелвик ЛАРСЕН, заслуженный профессор Университета Бергена (Норвегия)
Мари МАНДРАС, профессор Школы международных отношений Института политических исследований, Париж (Франция)
Александр НИКИТИН, доктор политических наук, профессор, директор Центра евроатлантической безопасности ИМИ МГИМО МИД России (Россия)
Игорь ПАНТИН, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии РАН (Россия)
Юрий ПИВОВАРОВ, доктор политических наук, академик РАН, научный руководитель ИНИОН РАН (Россия)
Ричард САКВА, профессор, Кентский Университет (Великобритания)
Нобуо СИМОТОМАИ, профессор, Университет Хосэй, Токио (Япония)
Анн де ТАНГИ, профессор, Институт политических исследований, Париж (Франция)
Филипп ШМИТТЕР, заслуженный профессор, Институт Европейского Университета, Флоренция (Италия)

Редакционная коллегия

Татьяна АЛЕКСЕЕВА, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой политической теории МГИМО МИД России
Владимир ГЕЛЬМАН, кандидат политических наук, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге
Андрей ДЕГТЯРЕВ, кандидат философских наук, профессор факультета политологии МГИМО МИД России
Михаил ИЛЬИН, доктор политических наук, профессор, ординарный профессор НИУ ВШЭ
Полина КОЗЫРЕВА, доктор социологических наук, первый зам. директора ФНИСЦ РАН, зав. центром лонгитюдных обследований Института социальной политики НИУ ВШЭ
Владимир ЛАПКИН, ведущий научный сотрудник Центра сравнительных социально-экономических и политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, первый зам. главного редактора журнала "Полит. Политические исследования"
Марина ЛЕБЕДЕВА, доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой мировых политических процессов МГИМО МИД России
Ольга МАЛИНОВА, доктор философских наук, профессор, профессор НИУ ВШЭ
Борис МЕЖУЕВ, кандидат философских наук, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова
Андрей МЕЛЬВИЛЬ, доктор философских наук, профессор, декан факультета социальных наук НИУ ВШЭ, заслуженный деятель науки РФ
Владимир ПАСТУХОВ, доктор политических наук, профессор Колледжа Св. Антония, Оксфорд
Сергей ПАТРУШЕВ, кандидат исторических наук, зав. отделом сравнительных политических исследований Института социологии ФНИСЦ РАН
Владимир ПЕТУХОВ, кандидат философских наук, руководитель Центра комплексных социальных исследований Института социологии ФНИСЦ РАН
Яков ПЛЯИС, доктор исторических и политических наук, профессор, профессор Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ирина СЕМЕНЕНКО, доктор политических наук, чл.-корр. РАН, зам. директора, руководитель Центра сравнительных социально-экономических и политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН
Виктор СЕРГЕЕВ, доктор исторических наук, профессор, директор Центра глобальных проблем ИМИ МГИМО МИД России
Леонид СМОРГУНОВ, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой политического управления факультета политологии СПбГУ
Александр СОЛОВЬЕВ, доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова
Сергей ЧУТРОВ, доктор социологических наук, профессор кафедры международной журналистики МГИМО МИД России
Елена ШЕСТОПАЛ, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой социологии и психологии политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова

Главный редактор:	С.В. ЧУТРОВ
Научный советник:	И.К. ПАНТИН
Редакция:	А.Л. БАРДИН, А.Н. КОКАРЕВА, Л.Н. КУЗНЕЦОВА, В.В. ЛАПКИН (первый зам. главного редактора)
Организационная поддержка:	Е.В. РЫЖОВА
Компьютерная верстка:	И.М. СИТДИКОВ

International Editorial Council

Oksana GAMAN-GOLUTVINA (chairman), Dr. Sci. (Pol. Sci.), Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Prof., Head of Comparative Political Science Department, Moscow State Institute of International Relations (University), Russian Ministry of Foreign Affairs, President of the Russian Political Science Association (Russia)
Archie BROWN, Emeritus Prof., Oxford University (Great Britain)
Timothy COLTON, Prof., Head of the Department of Government, Harvard University (USA)
Piotr DUTKIEWICZ, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Professor, Carleton University, Ottawa (Canada)
Aleksandr GALKIN, Dr. Sci. (Hist.), Prof., honorary Dr. of Institute of Sociology, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Russia)
Mikhail GORSHKOV, Dr. Sci. (Philos.), Academician, Director, Institute of Sociology, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Russia)
Vladimir GUTOROV, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Head of Department for Theory and Philosophy of Political Science, Saint Petersburg State University (Russia)
Takashi INOUCHI, President, Niigata Prefecture University (Japan)
Boris KAPUSTIN, Dr. Sci. (Philos.), Senior Lecturer, Yale University (USA)
Stein Ugelvik LARSEN, Emeritus Prof., University of Bergen (Norway)
Marie MENDRAS, Prof., Sciences Po University's School of International Affairs, Paris (France)
Aleksandr NIKITIN, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., Director, Center for Euro-Atlantic Security, Moscow State Institute of International Relations (University), Russian Ministry of Foreign Affairs (Russia)
Igor PANTIN, Dr. Sci. (Philos.), Principal Researcher, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences (Russia)
Yuriy PIVOVAROV, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Full Member of the Russian Academy of Sciences, Academic Supervisor, Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Sciences (Russia)
Richard SAKWA, Prof., University of Kent (Great Britain)
Philippe C. SCHMITTER, Emeritus Prof., European University Institute, Florence (Italy)
Nobuo SHIMOTOMAI, Prof., Hosei University, Tokyo (Japan)
Anne de TINGUY, Prof., Sciences Po Institute, Paris (France)
Björn WITTROCK, Emeritus Prof., Uppsala University (Sweden)

Editorial Board

Tatyana ALEKSEYEVA, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Head of Political Theory Department, Moscow State Institute of International Relations (University), Russian Ministry of Foreign Affairs, Moscow, Russia
Sergey CHUGROV, Dr. Sci. (Soc.), Prof., International Journalism Department, Moscow State Institute of International Relations (University), Russian Ministry of Foreign Affairs, Moscow, Russia
Andrey DEGTYAREV, Cand. Sci. (Philos.), Assoc. Prof., Faculty of Political Science, Moscow State Institute of International Relations (University), Russian Ministry of Foreign Affairs, Moscow, Russia
Vladimir GELMAN, Cand. Sci. (Pol. Sci.), Prof., Faculty of Political Sciences and Sociology, European University at St. Petersburg, St. Petersburg, Russia
Mikhail ILYIN, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Professor in Ordinary of National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
Polina KOZYREVA, Dr. Sci. (Soc.), First Deputy Director of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, Head of the Center for Longitudinal Studies at the Institute for Social Policy of the National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
Vladimir LAPKIN, Cand. Sci. (Chem.), Leading Researcher, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences, First Deputy Editor-in-Chief, Polis. Political Studies, Moscow, Russia
Marina LEBEDEVA, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., Head of World Political Processes Department, Moscow State Institute of International Relations (University), Russian Ministry of Foreign Affairs, Moscow, Russia
Olga MALINOVA, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Prof., National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
Andrey MELVILLE, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Dean, Faculty of Social Sciences, National Research University Higher School of Economics, Honored Scientist of Russia, Moscow, Russia
Boris MEZHUEV, Cand. Sci. (Philos.), Assoc. Prof., Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Vladimir PASTUKHOV, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., St. Antony's College, Oxford, Great Britain
Sergey PATRUSHEV, Cand. Sci. (Hist.), Head of Comparative Political Studies Department, Institute of Sociology, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Vladimir PETUKHOV, Cand. Sci. (Philos.), Head of the Center of the Comprehensive Social Studies, Institute of Sociology, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Yakov PLEIS, Dr. Sci. (Hist., Pol. Sci.), Prof., Prof. of Political Science Department, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
Irina SEMENENKO, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Deputy Director, Head of the Center for Comparative Socio-Economic and Political Studies, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Viktor SERGEEV, Dr. Sci. (Hist.), Prof., Director, Center for Global Problems, Institute of International Studies, Moscow State Institute of International Relations (University), Russian Ministry of Foreign Affairs, Moscow, Russia
Yelena SHESTOPAL, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Head the Chair of Sociology and Psychology of Politics, Department of Political Science, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Leonid SMORGUNOV, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Head of Political Governance Department, Faculty of Political Science, Saint Petersburg State University, St. Petersburg, Russia
Aleksandr SOLOVYOV, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., Head of Political Analysis Department, Faculty of Public Administration, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Editor-in-Chief:	S.V. CHUGROV
Academic Adviser:	I.K. PANTIN
Editorial Staff:	A.L. BARDIN, A.N. KOKAREVA, L.N. KUZNETSOVA, V.V. LAPKIN (First Deputy Editor-in-Chief)
Organizational Support:	E.V. RYZHOVA
Computer Layout:	I.M. SITDIKOV

ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР

Тему этого номера мы обозначили, привнеся толику интриги: **“Вглядываясь в контуры грядущего миропорядка”**. Полагаем, она никого не оставит равнодушным, ведь речь идет о новых политических условиях существования человечества. Тема эта перекликается с содержательными акцентами главного для наших коллег события конца весны и начала лета — научно-экспертного форума **“Примаковские чтения”**, проведенного Национальным исследовательским Институтом мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН и группой **“Интерфакс”** при поддержке Фонда Горчакова. В соответствии с **“коммуникативным стилем”** эпохи, форум прошел в онлайн-режиме, придавшем этому событию неожиданный, на мой взгляд, шарм **“одомашнивания”**.

Первая и вторая сессии (**“Россия и постковидный мир”** и **“Китай — США: есть ли угроза трансформации возникающей биполярности в холодную войну 2.0?”**) стали образцом захватывающего мозгового штурма, в ходе которого проблемы нового миропорядка обсуждали ведущие исследователи России. Мне запомнились, в частности, слова ректора МГИМО **Анатолия Торкунова** о том, что в настоящий момент Китай **“ни материально, ни интеллектуально еще не готов играть ту роль, которую играл некогда Советский Союз в рамках двухполюсного мира”**. А вместе с тем, **“в американском подходе к КНР произошел качественный, необратимый сдвиг от сдерживания Китая к его системному неприятию”**. Мир, таким образом, оказывается **“скособоченным”**, разбалансированным. В следующем номере **“Полиса”** мы планируем дать развернутый анализ этих проблем в статье академика **А.В. Торкунова** и его соавторов, посвященной повороту России на Восток. Статья должна стать камертоном сентябрьского выпуска.

Редакция **“Полиса”** старается, чтобы в каждой новой книжке журнала был некий **“гвоздь номера”**, статья, которая заинтересует разные категории читателей. Представляемый Вам, дорогой читатель, номер был предметом особой тревоги за его содержание и форму: это первый выпуск, который на всех стадиях цикла — от планирования до макетирования — готовился в дистанционном режиме. Результат показал, как я думаю, что удаленность, при всех досадных барьерах в общении, не стала препятствием для создания вполне качественного продукта. Обычно чувство неудовлетворенности выпускаемым номером, которое не раз охватывало меня — от ощущения недоговоренности, недоконцептуальности, недовложенности души — на этот раз даже не проклюнулось: буквально, что ни статья — то **“гвоздь”**.

Анализ контуров грядущего миропорядка в статье **“Какой правовой порядок нужен Большой Евразии”** проводит команда, возглавляемая виднейшим юристом-международником, профессором Пенсильванского университета **Уильямом Батлером** (в соавторах — **Марк Энтин, Екатерина Энтина и Екатерина Торкунова**). Авторы оптимистично смотрят на проект Большой Евразии: **“...у него есть совместное советское правовое наследие, которое уже устанавливает общий правовой язык и сходную терминологию — а это те факторы, которые, к примеру, сдерживали усилия по интеграции ЕС”**.

Подходы к анализу мирового порядка с позиций теории международных отношений рассматривает **Марина Лебедева** (**“Новый мировой порядок: параметры и возможные контуры”**). В новом полицентричном мире центрами

влияния могут стать, в соответствии с ее выводами, не только ведущие сегодня, но и другие государства, а также негосударственные акторы, действующие на многосторонней и многоуровневой основе в рамках разветвленной сетевой коммуникации. Интересен авторский анализ сценариев становления нового мирового порядка.

Еще один “гвоздь номера”, статья **Алексея Арбатова “Китай и ограничение вооружений: не утопия, а возможность”**, перекликается с его выступлением на первой сессии Примаковских чтений. Автор представил непредвзятый и не всегда лицеприятный анализ возможностей расширения форматов контроля над ядерным оружием в ситуации, когда Китай отклоняет приглашение США присоединиться к переговорам по ракетам средней дальности, продлению ДСНВ-3 и по следующему стратегическому соглашению. Основой авторских выводов выступает анализ соотношения сил и интересов России, Китая и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ключевые симптомы глобальной социально-политической дестабилизации, связанные с растущей неэффективностью многих международных институтов и с усилением дисфункций “униполярной” модели мирового порядка, анализируют в статье **“Глобальная политико-институциональная динамика в условиях дестабилизации миропорядка”** Владимир Лапкин и Владимир Пантин. Авторы прогнозируют вступление стран ЕС и России в 2020-2030 годы в период глубокой и критически важной институциональной адаптации к ожидаемым кардинальным изменениям базовых принципов мироустройства.

“Полис” поздравил академика **В.В. Наумкина** с замечательным юбилеем в конце мая. А подарком редакции (и для редакции) стала еще одна теоретическая “изюминка” этой полисовской книжки — статья **Виталия Вячеславовича “Модель не-Запада: существует ли государство-цивилизация?”**. В ней автор рассматривает концепцию государства-цивилизации, отличного от государства-нации, что позволяет, на его взгляд, раскрыть особенности ведущих крупных государств не-Запада, в первую очередь — Китая и Индии, но также и ряда других. Присоединяясь к поздравлениям юбиляру и пожеланиям ему всяческих благ, отмечу, однако, что эта статья вовсе не юбилейная, а остро дискуссионная, я бы сказал, тонко провоцирующая коллег на академический спор.

Взыскательный читатель не преминет прочесть и статью **Валерия Коньшева “Неоклассический реализм в теории международных отношений”**, посвященную одному из любопытнейших направлений в эволюции ТМО, которое, предлагая взглянуть на международную политику сквозь призму государства как элемента системы, оказывается актуальным в эпоху глобального отката к государствоцентричной политике.

Вы хорошо знаете, что такое тектология? Вряд ли можно устоять перед искушением познакомиться с интереснейшим историческим примером методологии изучения МО, который представляет нам **Марина Стрежнева** в статье **“Системный подход в международных исследованиях: об актуальности теоретического наследия Александра Богданова”**.

С замиранием сердца я читал статью **Генри Сардаряна и Татьяны Алексеевой “Секуляризация и религиозность в оптике конструктивизма”**, развенчивающую

ходячий тезис о том, что модернизация неизменно сопровождается утратой религиозности и распространением секуляризма.

О том, что такое “пепельная среда” и фоновая лексика, Вы сможете узнать из любопытнейшей статьи по политической лексикологии **Марины Чигашевой, Марии Елизарьевой и Татьяны Лариной “Национально-культурная специфика политического языка лидеров блока ХДС/ХСС”**.

Самое “сладкое”, интеллектуальный “десерт”, как положено, завершает обзор. Уникальная кафедра социологии и психологии политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова отмечает свой 20-летний юбилей. Наши поздравления ее создателю и бессменному руководителю, члену Редколлегии “Полиса”, нашей любимой **Елене Борисовне Шестопал**. В этом выпуске представлены статьи, подготовленные ею и талантливыми исследователями ее школы — **“Идеальные представления как фактор восприятия реального политического лидера”** и **“Место России в мире в восприятии рядовых граждан: идентификационное измерение”**. Многая лета!

Сергей Чугров

DOI: [10.17976/jpps/2020.04.02](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.02)

GREATER EURASIA: IN SEARCH OF A LEGAL ORDER

W.E. Butler^{1,2}, M.L. Entin³, E.G. Entina^{4,5}, E.A. Torkunova³

¹*Dickinson School of Law, Pennsylvania State University. Philadelphia, U.S.*

²*University College London. London, Great Britain*

³*Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University). Moscow, Russia*

⁴*National Research University Higher School of Economics. Moscow, Russia*

⁵*Institute of Europe, Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia*

BUTLER, William E., John Edward Fowler Distinguished Professor of Law, Dickinson School of Law, Pennsylvania State University; Emeritus Professor of Comparative Law, University College London, email: web15@psu.edu; **ENTIN, Mark Lvovich**, Dr. Sci. (Law), Professor, Head of Department of European Law, MGIMO University, email: entinmark@gmail.com; **ENTINA, Ekaterina Gennadyevna**, Cand. Sci. (Pol. Sci.), Associate Professor, National Research University Higher School of Economics; Senior Research Fellow, Institute of Europe, Russian Academy of Sciences, email: e.entina@hse.ru; **TORKUNOVA, Ekaterina Anatolyevna**, Cand. Sci. (Law), Associate Professor, MGIMO University, email: etorkunova@hotmail.com

Butler W.E., Entin M.L., Entina E.G., Torkunova E.A. Greater Eurasia: In Search of a Legal Order. — Polis. Political Studies. 2020. No. 4. P. 9–23. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.02>

Received: 07.03.2020. Accepted: 11.05.2020

Abstract. The correlation of national, supranational, trans-regional, and international legal systems is a concern of comparative legal (including their political science and international relations aspects) studies because it has decisive influence on how States position themselves within the family of nations, perceive themselves in the surrounding world community, and build relations with other nations, international organizations, and the international community as a whole. At the same time, the correlation has immense pragmatic significance, for it is the essential basis for determining which of the multi-level management legal systems operates and/or prevails when the rules binding on individuals, societies, businesses, civil services, international organizations, and interstate communities are formed within or outside of national jurisdictions. Study of this correlation is of particular importance in the context of the growing complexity of the international legal field and multilevel management systems, as well as in the light of current trends in the development of international economic and political processes. On the one hand, the growing international confrontation and misuse of international legal instruments are forcing States to take measures to protect their internal law systems. On the other hand, the need to build harmonious international cooperation requires them to open their legal systems to some extent. The article discusses the experience of various integration structures in this context. The authors claim that the project of the Greater Eurasia has the advantage of sharing a common Soviet legal heritage, which already establishes a common legal language and cohesive terminology – factors that have, for example, restrained EU integration efforts. Whatever the CIS may or may not have achieved, meeting expectations or otherwise, it represents nearly three decades of integration experience.

Keywords: Russia, U.S., China, Japan, European Union, Greater Eurasia, EAEU, CIS, multilevel legal systems, integration, law reform.

Classical international-legal doctrine in times past suggested at least two types of correlation between national and international legal systems: monistic or dualistic. There were and are many variants thereof, giving to one degree or another advantage

and supremacy in the exercise of regulatory functions either to international or national law [Tolstykh 2018].

Modern globalization and regional integration required the creation of supranational collective management structures and the emergence of supranational law. A system of multilevel management arose which gives a fundamentally different answer to the standard question of the correlation between national and international law; that correlation now involves correlations between national and supranational law, as well as between supranational and international law. Supranational law must become an organic, integral part of domestic law. The organic characteristics of such law are integration into the national law and legal system, supremacy, direct operation, and judicial defense [Evropeiskoe pravo 2018].

The search for a satisfactory and proper correlation between national, supranational, trans-regional, and international law is influenced by two multidirectional processes characteristic of the current state of the world economy and world politics. On one hand, the exacerbation of confrontational trends in international relations and the desire to use international legal instruments unfairly are forcing States to re-examine the eternal question of protecting internal law and order from destructive external influences. On the other hand, the new forms of globalization and regionalization require States to reasonably open their legal systems to the extent necessary for multidimensional and multilevel international cooperation, including approaches that would ensure a harmonious, consistent combination of national, supranational, trans-regional and international legal regulation.

This is an inherently comparative-legal process engaging, in part, the learning and lessons of comparative international law: investigation of the interface between and among competing and complementary legal systems and orders. The dissolution of the former Soviet Union, the emergence of fifteen independent States in its place, the imperative need for legal and institutional cooperation among them, the formation of sundry mini-regional communities ranging from the Commonwealth of Independent States (CIS) to the Eurasian Economic Union (EAEU) along with several others have led one of the present authors to refer to this region as a “laboratory of comparative law”¹.

In the case of integration, the old ideas embodied in monistic and dualistic concepts became obsolete. They are not helpful to the development of law and legal systems governing the transfer to integration communities of a part of sovereign powers from the nation-State and are no longer relevant. Perhaps even the basic concepts of constitutional law of the pre-integration era concerning the possibility and normalcy of conflict between national and international law, with the advent and expansion of supranational law, become less relevant. The intention of supranational law is to minimize, and not regulate, conflict.

¹ See [Butler 1996]. These observations were expanded in [Butler 2011]. For comparative studies of all twelve post-Soviet Independent States, excluding the Baltic jurisdictions, see M.I. Braginskii, W.E. Butler, A.A. Rubanov. *Fundamental Principles of Legislation on Investment Activity in the USSR and Republics* (1991); M.I. Braginskii, W.E. Butler, A.A. Rubanov. *The Law on Ownership in the USSR* (1991); M.I. Braginskii, W.E. Butler, A.A. Rubanov. *Foreign Investment Legislation in the Republics of the Former Soviet Union* (1993); W.E. Butler. *Constitutional Foundations of the CIS Countries* (1999); W.E. Butler. *Foreign Investment Law in the Commonwealth of Independent States* (2002); W.E. Butler. *The Law of Treaties in Russia and the Commonwealth of Independent States* (2002); W.E. Butler. *International Civil Procedure in Post-Soviet Space: The Participation of Foreigners* (2020).

The present study is based on the theoretical constructs outlined above; they explore and generalize some of the principal disagreements relating to the nature and relationship of national, supranational, and international law. The authors consider what has been done successfully by regional integration communities to identify the optimal balance between national and supranational law. It is suggested that supranational regulation supplants international law within the framework of a regional integration communities and is transformed into a kind of mediator in relations between national and international law. This, in turn, allows us to re-examine the systemic interdependence of national and international law.

With this in mind, the article proposes a modern vision of the relationship between trans-regional and other legal systems of multi-level governance and its applicability to the arrangement of international cooperation in the interests of the Comprehensive Greater Eurasian Partnership, the formation of which was initiated by the Russian Federation.

METHODOLOGY

Although the study was carried out individually, it can be considered as an outcome of activities undertaken by the MGIMO Department of European law to identify and explain characteristics of supranational law and international human rights law and their respective relationship with national law and general international law. The Department and individual personnel from the Department have published a large number of textbooks and monographs on the law of the European Union, the Eurasian Economic Union, the 1950 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and the legal framework for relations between Russia and the European Union. MGIMO became a founder of the national school of European law, which continues to develop in collaboration with colleagues from Moscow State University, St. Petersburg State University, Moscow State Law Academy, Peoples' Friendship University of Russia, Higher School of Economics, Russian research centers, and regional universities.

The authors have relied primarily on the 1993 Constitution of the Russian Federation and constitutional acts of other European States; judicial decisions of the Constitutional Court of Russia and other similar courts of Germany and a number of other European countries; the established practice of the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights; a broad range of doctrinal works of Russian and foreign jurists. Numerous conversations with colleagues and discussions of issues raised in the article at numerous international conferences, colloquiums, and round tables provided invaluable assistance. Conferences held by Russian Association of International Law, Russian Association of European Studies, International Society of European Law, and European Society of International Law were especially helpful.

When conducting the research, the comparative legal approach and methods of system analysis were used. Understanding the combination of such diverse and complex phenomena as national, supranational, trans-regional, and international law is possible only with the consistent application of the tools of comparative law [Butler 1980]. Similarly, the need to resort to systems analysis is essential because multilevel management is systemic in nature, and national, supranational, trans-regional, and international law form a single regulatory system to which the modern State is subordinate.

The study assumes that the basic concepts from which the legislators, political and business elites, and the expert community of Russia proceeded in the 1990s and 2000s when constructing the relationship between national and international law and the orientation of State-formation and law reform on existing Western samples have ceased to be effective and are out of touch with reality [Entin, Entina, Osokina 2019].

All this required careful and subtle reflection on how to adapt ideas about the correlation between national, supranational, trans-regional, and international law to the needs of today, to the changes that have occurred and are continuing. The present study is devoted to such reflection.

DISCUSSION

The importance of harmonious correlation of multilevel legal systems for the Russian Federation

The weakening of cooperation in international relations and the growth of confrontational manifestations has required Russia to be more attentive to defending its legal order. The legislator, law enforcement bodies, and expert community have advanced a new approach to legal security, understood as the ability of the national legal system to effectively regulate, manage, and stimulate the development of society and at the same time resist what Russia may consider to be destructive external influence [Entin, Entina, Torkunova 2019]. The Russian Federation has taken several measures relating to “import substitution” in the legal sphere. Work in this direction continues.

12 However, a transition in Russia from a legal system of the “open” type to a legal system of the “closed” type is unacceptable and unnecessary. Such a transition would prejudice national interests. The task of investigating, adapting when appropriate, or introducing the best foreign or best world comparative-legal experience will continue in perpetuity.

Moreover, the Russian Federation is the vanguard and engine of Eurasian integration, the core of which has become the Eurasian Economic Union (EAEU)². Increasing integration within the EAEU requires legal expansion, legal cooperation, and legal co-creation, which are possible only if national legal systems, while being reliably protected from destructive external influence, are open. The same applies to the implementation of Russia’s newest geopolitical project — the formation of a Comprehensive Greater Eurasian Partnership, further discussed below.

A proper balance between the openness of the national legal system and effective legal security in the context of deepening integration and inter-regional cooperation can be found only if national legislation, law enforcement, and the projection of national legislation across borders do not allow, prevent, and remove the contradiction between national, supranational, trans-regional, and international legal systems.

The solution to this complex, but urgent and quite achievable task, is to be found in the harmonious combination of tools, methods, and regulatory mechanisms provided by all these legal systems, building the right relationships between them.

The artificial nature of the problem of correlation between national and supranational law

Discrepancies and divergences between national and supranational law are removed if supranational law is construed by States participating in the

² See the articles in *Russian Law Journal*. 2019. Vol. 7. No. 3.

implementation of the integration project as a common national law. In essence, both technically and procedurally, supranational law becomes national. Structural conflict between them is made impossible.

Discrepancies arise at the stage of transformation or transition of supranational law into national law, and/or when participants in an integration project allow a temporary interval between the emergence of a provision of supranational law and its metamorphosis into a provision of national law, that is, the replacement of a national legal rule by that of supranational law that has an identical object of regulation.

The instruments with the help of which these purely temporary differences are eliminated or overcome are the classical qualities of supranational law, in the absence of which supranational law ceases to be such. These instruments are automatic integration into national legal systems, supremacy, direct operation, and their application and jurisdictional protection by the same courts as with respect to a national law, to which are added specific remedies for the supranational legal order as a whole.

In doctrinal literature, a specialist in European law from Voronezh State University, Galushko pointed out that special attention is paid to the fact that EU law (as well as the law of the EAEU) is applied by the authorities of the member States, and not by the structures of the integration community that replace them; on this occasion, assumptions are made about the mixed nature of integration communities [Galushko 2018: 65-67]. The misunderstanding is removed as soon as we realize that it cannot and should not be otherwise because supranational law is inherently and for the most part a national law common to all participants in the integration project.

To be sure, a certain part of supranational law is addressed to tasks other than the uniform and harmonized regulation of domestic and cross-border relations. For example, it establishes governing bodies for integration processes and delegates sovereign powers to them, regulates inter-institutional relations, determines the decision-making and execution procedures, “re-melts” participants in an integration project into a community or union of States and peoples. Moreover, there can be no conflict between this part of the supranational and national legal systems, for they have different regulatory objects. In this respect, supranational law is completing national legal systems with a set of norms that ensure their transformation into an integral part of the wider legal space created by member States and into a single community in its relations with third countries and international organizations.

13

The mediating role of supranational law in combining national and international law

But if supranational law replaces national law and becomes national, at the same time turning the States participating in the integration project into a single subject of international law and international relations, it partially replaces national legal systems in their intercourse with international law. Interacting with international law is no longer national, but supranational, law. On one hand, it acts as a mediator between national legal systems and international. On the other hand, on a non-alternative basis, it prevents them from interacting directly.

The most obvious example is the customs codes of integration communities (be it the customs codes of the EU or EAEU). They insist that goods and services do not enter the market of individual States according to the requirements of their domestic law. They enter the common market and common customs territory in

accordance with the requirements of supranational law with all the legal consequences arising therefrom.

The most consistent line is followed in this respect by the Court of Justice of the European Union (CJEU). At the dawn of European integration, the CJEU made a decisive contribution to the establishment of the EU legal system as *sui generis*, disconnected from both national and international law. The Court supported a broader understanding of the powers of the EU institutions and the EU as a whole as going beyond the letter of the founding treaties of the integration community, if and to the extent that is necessary to achieve the goals of integration [Entin 1987].

In recent years, the CJEU has brought this separation to its logical conclusion. In one of its famous judgments (known as the Cadi case), the Court substantiated the concept of the EU internal legal order as a measure of compliance or noncompliance with prescriptions of international law. Later it closed the possibility for Member States to apply to international bodies external to the EU in all cases when it comes to the interpretation and application of EU law.

At the same time, the Court came to the conclusion that the EU itself should decide how to construe the relationship between supranational and international law. It decided that issues concerning the degree to which the EU is bound by international law, the nature and methods of incorporating international law into EU internal law, and determining jurisdiction and the possibility of direct application of international law to a single territory of the integration community fall under its exclusive competence. To the extent that relevant issues are regulated by the EU law, the norms of international law should be understood and applied by all member States in the same way, as if they were united in a State, not an international entity.

Legal mechanism for overcoming contradictions between supranational and international law

At the same time, the contradictions between the supranational and the international legal systems are removed because the international legal system as qualified fixes the minimum standard for the behavior of States, and the supranational fixes a more advanced, perfect system better serving the interests of Member States, and, therefore, replacing it. For example, in the fields of environmental protection, combating climate change, or protecting biological resources, EU law imposes more stringent requirements on States in comparison with international law.

In the field of human rights, with the EU Charter of fundamental rights giving them a constitutional status within the integration community, EU law establishes a more modern understanding than the European Convention on Human Rights and the Revised European Social Charter.

In the field of competition, the EU insists on compliance with its more rigorous antitrust laws and transparency rules for doing business anywhere in the world by any banks, airlines and other economic actors, operating on its domestic market.

Inadmissibility of contradictions between provisions of national and international law

To the extent that relevant issues are not governed by supranational law, relations between national legal systems and international are built according to the traditional pattern. States make the choice in favor of one or another version of the monistic or dualistic systems of law. But whatever their choice, a single rule applies everywhere — there should be no contradictions between provisions of domestic and international

law. States sign international treaties only after or at the same time as bringing their legislation and its application in line with the requirements of these treaties.

This procedure is prescribed in detail by the Federal Law of the Russian Federation on International Treaties [Butler 2013: 33-47]. Similarly, the constituent acts of the EU provide that the integration community and its member States may become parties to international agreements only when they do not contradict primary EU law.

From this angle, some believe that Article 15(4) of the 1993 Constitution of Russia in modern conditions may be obsolete. It provides that generally-recognized principles and norms of international law and international treaties of the Russian Federation are an integral part of its legal system and prevail therein. This is based on three presumptions that some consider to be controversial and opportunistic.

The first allows a discrepancy between a norm of domestic and international law. However, this categorically should not be. Russian legislation allows ratification or accession to international agreements only after determining the constitutionality of the treaty.

The second presumption elevates the provisions of international law to an absolute: it is always more progressive than the norms of national law that differ. But if the latter is replaced by the provision of common national law of an integration community, then it is compared with that of supranational law. The whole point of supranational law is precisely to offer a more detailed, more effective, more advanced regulation that exceeds the quality of provisions of international law. In relation to it, as observed above, the rule of international law is positioned as establishing only a minimum standard, below which it is impossible to go down. To rise above is desirable and beneficial.

Nonetheless, a provision of domestic law does not necessarily have to be oriented towards the minimum standard. The essence of the normative power of the State, which Russia needs to enhance for normative expansion outside, consists in the development, adoption, and application of the rule of domestic law, which would establish a higher standard. Such rules should be more advanced, promising, and attractive to others than the corresponding provisions of all other legal systems.

An exception is that part of general international law, based on the United Nations Charter, which acts as a metasystem of law and contains peremptory rules of law – *ius cogens* and *erga omnes* provisions [Sazonova 2014; Fourth report 2019], a derogation from which is not permitted under any circumstances. Ensuring their full, consistent, and indispensable observance by all States, regardless of their status and actual power, is a major task that Russia has set for itself.

The third presumption is the opposite to that of Article 15(1) of the 1993 Constitution: “The Constitution of the Russian Federation shall have the highest legal force, direct effect, and be applied throughout the entire territory of the Russian Federation. Laws and other legal acts applicable in the Russian Federation must not be contrary to the Constitution of the Russian Federation” [Butler 2013: 6]. Article 15(4) is not only based on the assumption that the rule of domestic law, including constitutional law, can diverge from a provision of international law, but also takes the provision of international law beyond the framework of the hierarchical construction of domestic law established by Article 15(1) and offers a different hierarchy.

Thus, it seems to give rise to an unacceptable situation of uncertainty of law and complicates the protection of the constitutional order in all cases where third countries, international organizations, and international bodies insist that they have

exclusive competence in interpreting the provision of international law and offer its evolutionary, innovative, or voluntary understanding. Such an understanding may not correspond to the letter and spirit of those obligations that States initially assumed.

In reality, such situations, from a legal point of view, do not arise, and it would seem that the Article 15(4) of the Constitution in the light of Article 15(1) do not interfere with effectively protecting the constitutional order of Russia because the Constitutional Court of the Russian Federation enjoys a monopoly on the interpretation of the Constitution. Its exclusive competence in this area cannot be called into question by anyone³.

The vulnerability of this legal construct is its idealistic character. It describes how it should be. Real life is more complicated and contradictory.

There are frequent cases when preliminary work to bring national legislation into line with the requirements of an international treaty is not carried out fully, systematically, and properly. The purity of the legislative process is distorted under the pressure of lobbying interests. In the lawmaking process, influenced by opportunistic considerations, the legislator and/or the government seek to amend certain provisions of the Constitution or international treaty.

All these situations are a deviation. They are contrary to the requirements of sound and reasonable lawmaking and the creation and preservation of constitutional order. Therefore, they must be monitored continually, not be ignored. The relevant powers are entrusted to the highest judicial authorities.

However, this apparently is not enough. Perhaps establishing special civil service structures in addition to existing ones should be considered to monitor the emergence of all such situations and offer optimal solutions. Such a structure could be created within the framework of the State Duma and Soviet of the Federation. Another option would be to expand the powers of existing State structures, providing for personnel and financial support.

The importance of proper correlation between national, supranational, and international law for the emergence of trans-regional law as a tool of creating Greater Eurasia

The proposed legal construction of the correlation of national, supranational, and international law allows us to re-examine the phenomenon of trans-regional law, its differences from other dimensions of multilevel management, and how it is embedded or should be integrated into a multi-level regulatory system.

The study of this problem and the substantiation of specific recommendations are made especially relevant by the numerous conflicting geopolitical projects put forward by individual countries and groups of States to promote a world order based either on rules in general, on specific sets of rules, or on general international law, the collision of which leaves a noticeable imprint on trans-regional arrangements of Greater Eurasia.

At present, the competition between various projects to streamline and expand cooperation and interaction in Greater Eurasia, and, accordingly between projects of legalizing such cooperation and interaction, regulating the accelerating process of conjugation of Europe and Asia, Asia and Europe, is intensifying.

³ Klishas A. The Russian Constitution Takes Precedence over International Law. — *Parlamentskaya Gazeta*. 12.12.2017. URL: <https://www.pnp.ru/politics/konstituciya-rossii-imeet-prioritetpo-otnosheniyu-k-mezhdunarodnomu-pravu.html> (accessed 26.02.2020).

The first joint project between Asia and Europe, launched by Singapore and France in 1996, was seen as a platform for dialogue between ASEAN countries and the EU. That project has significantly changed its geography, incorporating most neighboring countries of Asia and Europe interested in such dialogue. However, it maintained its neutral and non-binding character. At the same time, ASEM influence on the dynamics of international relations and the development of international law has remained marginal⁴.

The situation was blown up by the Belt and Road Initiative, in the old manner and for simplicity, called the construction of the New Silk Road. China, already a major economy in the world, inaugurated the initiative in order to resolve problems of infrastructure support and diversification of transport corridors for delivering its goods to Central and Western Europe and ensure their security, stimulate internal development, and strengthen geopolitical positions. Such an ambitious project immediately raised the question of what legal code, in accordance with which set of norms, will regulate the Road.

This issue has generated gradually increasing concern on the part of the United States, the EU, and China's neighbors in the super-region and other countries. The United States and the EU considered the initiative to be a dominant existential priority. Considering that the practical implementation of the Belt and Road Initiative entailed a large-scale reformatting of the system of international relations and the economy not only in Greater Eurasia, but also on the scale of world politics and economics, they concluded that it is associated with the choice of a model of political and socio-economic development.

China was always criticized for the lack of transparency in economic decision-making and systematic violation of the rules of fair competition; for providing State-owned companies with financial, economic, and other privileges that contradict the laws of the open market and free enterprise; subsidizing of certain sectors of the economy and economic entities contrary to the rules of GATT/WTO; misappropriation of intellectual property rights, coercion to transfer know-how and technology, and actions to circumvent monopoly rights owned by Western companies.

Since the second half of 2018, the United States, EU, and their allies have changed their attitude towards China's economic expansion, the legal methods by which it is carried out, and Chinese policies [Lind 2019; Mitter 2019]. They launched sanctions against China, Chinese companies, and Chinese capital; amended domestic laws to provide greater control over mergers and acquisitions beneficial for companies with Chinese capital; started a trade and technological war in order to induce Beijing to abandon illegal practices and open its domestic market for the unhindered work of Western companies on an equal basis. In general, they have shifted to a full-fledged containment policy.

In 2016, the EU put the construction of a regional, trans-regional, and global rule-based order at the forefront of its updated foreign policy strategy. In September 2018, the support for the proliferation of a rule-based order became the core idea of its endorsed policy of connectivity between Europe and Asia⁵. The supreme value of

⁴ Asia-Europe meeting (ACEM). URL: <https://www.aseminfoboard.org> (accessed 26.02.2020).

⁵ *Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank "Connecting Europe and Asia – Building blocks for an EU Strategy"*. High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. Brussels. 19.09.2018. URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_-_connecting_europe_and_asia_-_building_blocks_for_an_eu_strategy_2018-09-19.pdf (accessed 26.02.2020).

a rule-based order was proclaimed by Brussels in a set of documents defining its policy in relation to individual countries and regions, in particular China and Central Asia, which it approved in the spring – summer of 2019⁶.

However, what is the nature of the rules, what is their scope, what requirements do they provide, the EU did not specify. This means that the EU preferred to decide unilaterally on which particular rules of behavior to embody in its internal law and order to the whole of Greater Eurasia (Broad Eurasia in EU terminology).

In both cases it is obvious why Russia and China rejected the EU claims to make the approach proclaimed by it generally accepted. They saw in it an encroachment on general international law, a desire to replace common international law with their own supranational law, and an attempt to replace the regulatory system that is agreed by the entire international community by rules that are being formed in a different way.

Japan was less ambiguous. Since 2016, Japan began to promote the concept of an open trans-regional international order, which would be built on the obligatory use of transparent and generally-accepted mechanisms for concluding contracts, implementing economic projects, selecting contractors and subcontractors, combating political and economic corruption, and so on. Japan is convinced that the suppression of economic activity bypassing and violating the principles of the WTO and fair competition would allow Japan and Japan firms to regain their competitiveness in the markets of the Asia-Pacific and Indo-Pacific regions.

The Russian Federation set out its own interpretation of the legal prescriptions on which cooperation and interactions in Greater Eurasia should be built. Since 2017, the Russian Federation has begun to advance the strategy for the formation of a Comprehensive Greater Eurasian Partnership, which should be based on the United Nations Charter and the regulatory system of modern international law that has grown on its shoulders [K Velikomu okeanu... 2019].

Thus, Russia made non-interference in internal affairs and sovereign equality of States, inadmissibility of destabilization of the constitutional order and lawfully elected authorities, and an attitude of respect for cultural traditions and civilization paramount for the formation of the Comprehensive Greater Eurasian Partnership, which makes the project attractive to most potential participants.

The fierce battle between the leading world players over the legal grounds on which order should be built in Greater Eurasia is largely due to the fact that in order to support, promote, regulate, and securitize large transport, infrastructure, investment, decentralized, innovative projects of trans-regional coverage, connecting Asia and Europe / Europe and Asia, trans-regional law is needed. It must be agreed upon by sovereign participants in these projects. However, serious problems arise with its positioning in a multi-level management system.

Trans-regional law is called upon to ensure that the differences in legal regulation prevailing in previously separate integration communities and regions do not affect the properly built relationship between national, supranational, and international legal systems and do not interfere with the efficient and most rational implementation of large infrastructural projects and the creation of multi-regional value chains.

The methods of its formation are negative (lowering barriers) and positive (joint regulation) integration, development and adoption of uniform harmonized standards,

⁶ Document 52019JC0005. Joint Communication to the European Parliament, the European Council and the Council EU-China – A strategic outlook. Join/2019/5 final. 12.03.2019. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52019JC0005> (accessed 26.02.2020).

or reaching agreements on pluralism of technical standards in those areas where this does not entail negative consequences. To some extent, this is the law serving the integration of integrations. In this sense it must not be rigid. It is important to conceive it as soft and flexible as possible, convenient for all participants.

The need for the formation of such a law at the current stage of strengthening global interdependence and regionalization trends was addressed by the Minister of Foreign Affairs, Sergei Lavrov, at the last session of the United Nations General Assembly on behalf of the Russian Federation⁷. The adoption of a framework declaration in support of trans-regional law by the countries of Greater Eurasia was seen an important step in this direction. The next obvious step is to develop an appropriate roadmap. It would help to remove multilayered contradictions that have accumulated in relations between China and the States gravitating towards it, on one hand, the EU and its Member States, on the other, and equally in relations between Russia and its partners, on one hand, and the EU and its Member States, on the other.

THE DICHOTOMY OF TASKS

In the context of confrontation, the forgotten tasks of correctly protecting the internal law and order from negative external influences, making the national legal system more stable, eliminating the previous distortions that made importing goods, services and technologies more profitable than comparing them with production, provision, development, and commercialization came to the forefront within national jurisdiction. This was demanded by the import substitution policy, designed to restore production chains violated by the sanctions war.

At the same time, the creation by Russia, together with neighboring countries, of a real customs union, and then the EAEU, moved the question of combining national, supranational, trans-regional, and international law for the Russian State apparatus from the sphere of abstract theorizing into the field of everyday practice. To one degree or another, it began to get involved in the formation and application of the law governing the progressive deepening of integration, jointly created by members of the integration bloc.

For its part, the EAEU Court has begun long-term painstaking efforts aimed at positioning EAEU law as an independent legal system with such important defining features as automatic integration into the national legal systems of member States, supremacy, direct operation, among others.

CONCLUSION

Before our eyes Greater Eurasia is turning from a political construct and a geographical name into political reality. China has already spent more than \$300 billion on infrastructural and other projects within the framework of Belt and Road Initiative and plans to allocate up to \$4-8 trillion over the next decade. New motorways, railways corridors, trunk pipelines, airports, seaports, multifunctional hubs along the East-West and North-South lines have been put into operation and are being built. The volume of container traffic from China to Central Europe by rail is growing from year to year.

In parallel with the modernization of infrastructure in Greater Eurasia and the intensification and diversification of trade and economic cooperation, the process

⁷ Speech by Russian Foreign Minister Sergei Lavrov at the UN General Assembly. — *Russia* 24. 27.09.2019. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=hTcGnvvtGls> (accessed 26.02.2020).

of building up regulatory mechanisms in continuing. This is evident on all floors of multi-level management. Serious changes necessary to support, ensure, and stimulate trans-regional cooperation are introduced into national legislation. The regulatory array is being debugged in order to ensure that the common market of integration communities, in particular the EU and the EAEU, works as clearly as the domestic market of the nation state, which will greatly facilitate the future integration of supra-national legal systems and connectivity between them.

Free trade zones of wider geographical coverage are being formed. All the world's players are working on this. The United States will join them when bilateral negotiations underway bear fruit. As far as the EU is concerned, it has entered into new generation of free trade agreements with Canada and Japan. China has created the widest free trade zone of a special type around itself. The EAEU is confidently following the same path, having signed regular agreements with Vietnam, Iran, Singapore, and Serbia.

All the above can be considered as bricks, with the help of which States continue to pursue the construction of the trans-regional legal order, which is still "in the woods" and will remain so for some time. The minimum objective is that national, supranational, and international law and competition between them do not interfere with the conjugation of the regions that make up Greater Eurasia. The maximum objective is to establish a relationship between them that would serve the purpose of forming the Comprehensive Greater Eurasian Partnership in conjunction with the Belt and Road Initiative.

20

The concept of combining national, supranational, trans-regional, and international law, explored in this article, serves these purposes. It is evident that comparative legal studies, taken individually at the level of national legal systems, supranational legal systems, trans-regional legal systems, and the international legal system, including the possibility of regional international legal systems, are an indispensable prerequisite for these processes to be properly guided and/or perceived and understood. There are at least four multilevel components to be addressed, managed, and analyzed – more perhaps than any other region of the globe at the moment. An inter-disciplinary approach may prove to be most effective: legal, political science, international relations, and economics, at a minimum.

Empirical comparative studies of the material are decidedly uncommon. Some work has been undertaken at the level of the CIS. Western doctrinal writings are few indeed on the subject⁸. The Union State between Belarus and the Russian Federation, long in progress, has attracted little attention as an integration model. Greater Eurasia has the advantage of sharing a common Soviet legal heritage, which already establishes a common legal language and cohesive terminology – factors that have, for example, restrained EU integration efforts. Whatever the CIS may or may not have achieved, meeting expectations or otherwise, it represents nearly three decades of integration experience.

Comparative legal studies, together with sister disciplines, have immense potential in facilitating the understanding of integration processes and, if the parties so desire, forwarding integration processes.

⁸ See W.E. Butler. *Russian Law* (3d ed.; 2009), Chapter 20, which is already more than a decade old.

DOI: 10.17976/jpps/2020.04.02

КАКОЙ ПРАВОВОЙ ПОРЯДОК НУЖЕН БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ

У.Э. Батлер, М.Л. Энтин, Е.Г. Энтина, Е.А. Торкунова

БАТЛЕР Уильям Эллиот, профессор (John Edward Fowler Distinguished Professor of Law, Dickinson School of Law), Пенсильванский университет, Филадельфия (США); почетный профессор сравнительного права, Университетский колледж Лондона, Лондон (Великобритания), email: web15@psu.edu; **ЭНТИН Марк Львович**, доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой европейского права, МГИМО МИД России, Москва, email: entinmark@gmail.com; **ЭНТИНА Екатерина Геннадьевна**, кандидат политических наук, доцент, Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”; старший научный сотрудник Института Европы РАН, Москва, email: e.entina@hse.ru; **ТОРКУНОВА Екатерина Анатольевна**, кандидат юридических наук, доцент кафедры европейского права, МГИМО МИД России, Москва, email: etorkunova@hotmail.com

Butler W.E., Entin M.L., Entina E.G., Torkunova E.A. Greater Eurasia: In Search of a Legal Order. — Polis. Political Studies. 2020. No. 4. P. 9–23. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.02>

Статья поступила в редакцию: 07.03.2020. Принята к публикации: 11.05.2020

Аннотация. Изучение вопросов соотношения национальных, наднациональных, трансрегиональных и международных правовых систем — предмет прежде всего сравнительных правовых исследований, не исключая и те аспекты этих вопросов, которые относятся к предметному полю политической науки и международных отношений. Данные вопросы оказывают решающее влияние на позиционирование государств в мировом сообществе, выстраивание ими отношений с другими государствами и международными организациями и крайне значимы для политической практики. Соотношение правовых систем многоуровневого управления определяет, какая из них функционирует и/или превалирует — в зависимости от того, формируются ли правила поведения индивидов, общества, бизнеса, государственных институтов и служащих в пределах либо за пределами национальной юрисдикции. Особое значение изучение этих вопросов приобретает в условиях растущей сложности международного правового поля и многоуровневых систем управления, а также актуальных трендов развития международных экономических и политических процессов. С одной стороны, рост международной конфронтации и участвовавшие случаи некорректного использования международных правовых инструментов вынуждают государства предпринимать меры по защите своих интересов. С другой стороны, потребность в выстраивании гармоничной международной кооперации требует от государств определенного открытия своих правовых систем. В статье рассматривается опыт различных интеграционных объединений в данном контексте. Авторы отмечают, что преимуществом проекта Большой Евразии выступает то, что в его основе лежит общее советское наследие, задающее единое языковое и терминологическое пространство (отсутствие которого тормозило европейскую интеграцию). Почти тридцатилетний опыт интеграции на пространстве СНГ является серьезным базисом для дальнейшей работы на этом направлении.

Ключевые слова: Россия, США, Китай, Япония, ЕС, Большая Евразия, Евразийский экономический союз, многоуровневые правовые системы, интеграция, правовая реформа.

References

- Butler W.E. 1980. *International Law in Comparative Perspective*. Springer. 324 p.
- Butler W.E. 1996. Law Reform in the CIS. — *Sudebnik*. No. 1. P. 9-32.
- Butler W.E. 2013. *Russian Public Law: The Foundations of a Rule-Of-Law State: Legislation and Documents*. 3rd UK ed. London: Wildy, Simmonds & Hill Publishing.
- Entin M.L., Entina E.G., Osokina E.B. 2019. A Balanced Approach to the Protection of National Law and Order and the European Court of Human Rights. — *The Journal of Comparative Law*. Vol. 14. No. 1. P. 275-300.
- Fourth Report on Peremptory norms of General International Law (jus cogens), prepared by Special Rapporteur Dire Tladi*. International Law Commission. Seventy-first session Geneva, April 29 – June 7 and July 8 – August 9, 2019. UN General Assembly. A/CN.4/727. URL: <https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/CN.4/727> (accessed 26.02.2020).
- Lind J. 2019. *The Rise of China and the Future of the Transatlantic Relationship*. Chatham House. The Royal Institute of International Affairs. 29.07.2019. URL: https://www.chathamhouse.org/publication/rise-china-and-future-transatlantic-relationship?utm_source=Chatham%20House&utm_medium=email&utm_campaign=10769248_CH%20Newsletter%20-%202002.08.2019&utm_content=China-Title&dm_i=1S3M,6ETLS,PGH1RS,PE95L,1 (accessed 26.02.2020).
- Mitter R. 2019. *How the One-Party State May Shape Our Future*. Chatham House. The Royal Institute of International Affairs. URL: https://www.chathamhouse.org/publications/twt/how-one-party-state-may-shape-our-future?utm_source=Chatham%20House&utm_medium=email&utm_campaign=10769248_CH%20Newsletter%20-%202002.08.2019&utm_content=TWT-Title&dm_i=1S3M,6ETLS,PGH1RS,PE95L,1 (accessed 26.02.2020).
- Butler W.E. 2011. Eurasian Economic Space – Laboratory of Comparative Law. — *Eurasian Law Journal*. No. 7. P. 6-9. (In Russ.)
- Entin M.L. 1987. *Sud evropeiskikh soobshchestv: pravovye formy obespecheniya zapadnoevropeiskoi integratsii* [Court of Justice of the European Communities: Legal Forms for Ensuring Western European Integration]. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniya. (In Russ.)
- Entin M.L., Entina E.G., Torkunova E.A. 2019. Modern Requirements for the National Legal System. — *Journal of Foreign Legislation and Comparative Law*. No. 2. P. 11-24. (In Russ.). <https://doi.org/10.12737/art.2019.2.2>
- Evropeiskoe pravo. Osnovy integratsionnogo prava Evropeiskogo soyuza i Evrazijskogo ekonomicheskogo soyuza* [European Law. Fundamentals of integration law of the European Union and the Eurasian Economic Union]. 2018. Ed. by L.M. Entin, M.L. Entin. Moscow: Norma: INFRA-M. 528 p. (In Russ.)
- Galushko D.V. 2018. *Vzaimodeistvie prava Evropeiskogo soyuza s pravom gosudarstv-chlenov i tret'ikh stran* [The Interaction of European Union Law with the Law of Member States and Third Countries]. Voronezh: Voronezh State University Publishing House. (In Russ.)
- K Velikomu okeanu: khronika povorota na Vostok. Sbornik докладов Valdaiskogo kluba* [To the Great Ocean: a Chronicle of a Turn to the East. Collection of Reports of the Valdai Club]. Moscow: BOLEN. (In Russ.)
- Sazonova K.L. 2014. Obligations *erga omnes* and Norms *jus cogens* in International Law: Conceptualization and Law Enforcement Practice. — *State and Law*. No. 11. P. 72-79. (In Russ.)
- Tolstykh V.L. 2018. *Kurs mezhdunarodnogo prava* [International Law Course]. Moscow: Prospekt. (In Russ.)

Литература на русском языке

- Батлер У.Э. 2011. Евразийское юридическое пространство – лаборатория сравнительного правоведения. — *Евразийский юридический журнал*. № 7. С. 6-9.
- Галушко Д.В. 2018. *Взаимодействие права Европейского союза с правом государств-членов и третьих стран*. Воронеж: Издательский дом ВГУ.
- Европейское право. Основы интеграционного права Европейского союза и Евразийского экономического союза*. 2018. Под ред. Л.М. Энтина, М.Л. Энтина. М.: Норма: ИНФРА-М.

К Великому океану: хроника поворота на Восток. Сборник докладов Валдайского клуба. 2019. М.: БОСЛЕН.

Сазонова К.Л. 2014. Обязательства *erga omnes* и нормы *jus cogens* в международном праве: концептуальное оформление и правоприменительная практика. — *Государство и право*. № 11. С. 72-79.

Толстых В.Л. 2018. *Курс международного права*. М.: Проспект.

Энтин М.Л. 1987. *Суд европейских сообществ: правовые формы обеспечения западноевропейской интеграции*. М.: Международные отношения.

Энтин М.Л., Энтина Е.Г., Торкунова Е.А. 2019. Современные требования к национальной правовой системе. — *Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения*. № 2. С. 11-24. <https://doi.org/10.12737/art.2019.2.2>

НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК: ПАРАМЕТРЫ И ВОЗМОЖНЫЕ КОНТУРЫ

М.М. Лебедева

ЛЕБЕДЕВА Марина Михайловна, доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой мировых политических процессов, МГИМО МИД России, Москва, email: world_politics@mgimo.ru

Лебедева М.М. Новый мировой порядок: параметры и возможные контуры. — Полис. Политические исследования. 2020. № 4. С. 24–35. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.03>

Статья поступила в редакцию: 10.02.2020. Принята к публикации: 23.04.2020

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к пониманию мирового порядка. Показано, что большинство исследователей, а также практиков исходят из того, что для преодоления процессов хаотизации современного мира необходимо формирование нового мирового порядка. При этом мировой порядок обычно понимается как конфигурация баланса сил наиболее могущественных государств. В статье приводятся аргументы в пользу того, что такое понимание мирового порядка не отвечает современным реалиям. Утверждается, что в настоящее время происходит в целом трансформация политической организации мира (Вестфальской системы, современной системы межгосударственных отношений и политических систем целого ряда государств), что и составляет суть изменения мирового порядка. Другим допущением ряда исследований является отождествление Вестфальской системы и современной системы межгосударственных (международных) отношений. В статье показывается важность различия этих двух систем, первой, как набора определенных принципов, и второй — как конфигурации межгосударственных отношений. Обсуждается вопрос о либеральном мировом порядке. Отмечается, что в целом ряде исследований либеральный мировой порядок ассоциируется с США и в целом с западными странами. Утверждается, что такое отождествление неправомерно, и показывается, что выстроенный Западом современный либеральный мировой порядок, в части, составляющей целостную совокупность ряда принципов и институтов, в настоящее время в целом принимается международным сообществом. Определены основные черты нового мирового порядка и отмечается, что в настоящее время, тем не менее, наметилась тенденция формирования полицентричного мира. Однако его центрами становятся не только ведущие, но и другие государства, а также негосударственные акторы. В то же время возникает целый ряд проблем, связанный с взаимодействием и принятием решений большого числа разнородных акторов. Автор, тем не менее, предполагает, что такое взаимодействие будет выстраиваться на многосторонней и многоуровневой основе с разветвленной сетевой коммуникацией. Обсуждаются сценарии формирования нового мирового порядка.

Ключевые слова: мировой порядок, мировая политика, Вестфальская система, система международных (межгосударственных) отношений, политическая организация мира, трансформация политической организации мира, либеральный мировой порядок.

УСИЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ХАОТИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Исторически понятие “мировой порядок” в международных исследованиях обычно связывается с работой Х. Булла, опубликованной в конце 1970-х годов [Bull 1977]. В то же время интенсивно мировой порядок стал обсуждаться в конце XX — начале XXI вв. Исследовательский вопрос в данном случае заключается

в следующем: что представляет собой современный мировой порядок и почему этот концепт стал привлекать столь пристальное внимание именно сейчас?

Что касается первой части вопроса, то большое количество публикаций по проблеме современного мирового порядка в конце XX в. обусловлено, как представляется, сломом биполярной системы и попытками осмыслить складывающуюся новую систему межгосударственных отношений. По прошествии почти 30 лет дискуссии о том, что же собой представляет новый мировой порядок, не затихают. Более того, и на уровне элит, и на уровне академического сообщества явно ощущается нарастание хаотизации современного мира. Это выражается и в несоблюдении и выходе из международных договоров государств (прежде всего США), и в развитии конфликтов, в частности, в таком сложном регионе мира как Ближний Восток, и в росте миграционных потоков, оказавших сильнейшее воздействие на Европу, и в резком расширении ЕС в начале XXI в., а затем — в его “сужении” из-за выхода Великобритании. Наконец, — в ухудшении отношений между Россией и Западом. Внес свою лепту в процесс хаотизации и COVID-19, побудивший многих исследователей и лидеров заявить о трансформации современного мира. Кризисные явления, представляющие собой процесс хаотизации, затрагивают не только политику, но и глобальную экономику, которая “столкнулась с выраженным снижением уровня кооперативности в регулировании международной торговли” [Афонцев 2019: 48], а также социальные процессы, в частности, связанные с миграцией, с социальными протестами (см., например, движение “желтых жилетов” во Франции” и др.). Лидеры крупнейших государств, в частности А. Меркель и Э. Макрон, высказывают серьезную озабоченность в связи с нарастанием процессов хаотизации в мире и необходимостью реформирования мирового порядка.

25

Очевидно, что тектонические процессы, происходящие в мире, требуют не только объяснения различных фактов и явлений по отдельности, но и выработки общего понимания того, что же все-таки происходит с политической организацией современного мира. Причем это понимание имеет самый непосредственный прикладной аспект, а именно, как можно упорядочить процессы хаотизации и ввести их в некое регулируемое русло? Самым общим ответом здесь будет — формирование нового мирового порядка. Многие с этим согласны. Однако здесь мы сталкиваемся со вторым вопросом — что представляет собой современный мировой порядок? И ответ на этот второй вопрос — неоднозначен. В настоящее время в рамках различных теоретических направлений предлагаются свои варианты понимания мирового порядка (см., например, [Пантин, Лапкин 2018]). Более того, предлагаемые подходы к пониманию мирового порядка нередко оказываются взаимоисключающими.

Для понимания того, что собой представляет мировой порядок, необходимо проанализировать тенденции и характер международно-политического развития современного мира.

ВЕСТФАЛЬСКАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Большинство исследователей, особенно российских, склонны считать, что современный мировой порядок еще не сложился, и видят его как реформативное межгосударственных отношений после окончания холодной войны. Хотя здесь есть, конечно, нюансы у разных авторов, связанные, в том числе, с появлением на международной арене новых сильных государств, обязательным признанием новых отношений другими участниками и т.п. Отчасти это объясняется тем, что именно вопрос о реформативности

межгосударственных отношений был поставлен после распада биполярной системы, а ответ на него дан не был. Например, В.Г. Барановский считает, что “в современной международно-политической системе происходит перераспределение веса различных центров влияния... Немало стран, которые... традиционно считались обладающими весомым потенциалом, сталкиваются с его потенциальным сокращением... И наряду с этим заметными становятся некоторые новые игроки из числа успешных государств Азии, Африки и Латинской Америки” [Барановский 2019: 14].

Близкой позиции придерживается А.И. Никитин, который пишет, что “в простейшем выражении “миропорядок” есть относительно устойчивое и достаточно стабильное, хотя и ограниченное в историческом времени состояние международной системы, характеризующееся господством признаваемых большинством акторов (государственных и негосударственных) правил поведения на международной арене и основанное на балансе сил и интересов ведущих мировых держав и политических сил” [Никитин 2018: 32–33].

При изучении международных отношений часто цитируют Х. Булла, отмечая, что для него важным моментом в международных отношениях является формирование “содружества государств”. Однако этот момент при анализе именно мирового порядка нередко упускается из виду. Вместе с тем, в предисловии к книге Х. Булла, Ст. Хоффманн пишет, что для Булла мировой порядок это не только войны, доминирование, сила государств, но и сотрудничество. Х. Булл идет дальше таких реалистов как К. Уолц и Р. Арон и показывает, что отношения между сильным и слабым государством зависят от “сообщества государств”. Но он недостаточно явно проводит анализ между силой (*power*) и правилами (*rules*) [Hoffmann 1977]. Отметим два важных момента: во-первых, межгосударственные отношения порождают соответствующую среду, которая становится новым и самостоятельным элементом в международных отношениях; во-вторых, мировой порядок не сводится только к силовым отношениям. Однако в большинстве исследований мирового порядка анализ осуществляется с точки зрения силовых отношений государств, а в аналитическом фокусе в первую очередь оказываются ведущие державы. Что касается правил, то обычно при рассмотрении мирового порядка приводится все больше примеров того, как правила перестают соблюдаться и даже нарушаются. Причины, по которым они не соблюдаются, обнаруживаются в поведении ведущих государств, прежде всего США. В результате исследовательское внимание часто оказывается замкнутым именно на этих державах. Вместе с тем, анализ взаимоотношений этих держав является важным (даже очень важным) звеном в мировой политике, но недостаточным для понимания перемен, происходящих в современном мировом порядке.

Если говорить о международной среде, то она за почти 50 лет со дня публикации книги Х. Булла изменилась кардинальным образом. Что касается государств, то А.-М. Слотер обратила внимание на еще один феномен, появившийся на стыке тысячелетий, который был назван ею “трансгосударственностью”. Суть его заключается в том, что государства при помощи комплекса различных межгосударственных связей образуют “межправительственные сети” (“*government networks*”) [Slaughter 2004].

В результате происходящих изменений международно-политический мир усложнился, стал взаимозависимым и пересекающимся, а также действительно полицентричным. Однако не только с точки зрения того, что многие государства (в том числе средние и малые) сегодня обретают статус центров

влияния, но с точки зрения того, что и негосударственные акторы также становятся значимой частью международно-политической среды.

О негосударственных акторах написано множество работ. В то же время они практически выпали из анализа при изучении мирового порядка. Произошло это опять-таки по причине того, что мировой порядок оказался в большинстве случаев сведен к межгосударственным отношениям. При этом во многих исследованиях мирового порядка произошло фактически *отождествление двух систем*: с одной стороны, Вестфальской системы как *системы принципов*, которые были заложены по итогам Тридцатилетней войны, где центральным стал принцип суверенитета; а с другой — *системы межгосударственных отношений* как некоей *конфигурации государств* на международной арене и *правил взаимодействия*, определенных международными договорами.

Принципы Вестфальской системы, хотя и нарушались, частично трансформировались и т.д., но продолжали в целом функционировать на протяжении почти 400 лет. В то же время господствующие системы межгосударственных (межгосударственных) отношений менялись принципиально: Европейский концерт был многополярным, Ялтинско-Потсдамская система — биполярной и т.д., не говоря уже о различных государствах, которые образовывали эти системы. Иными словами, на относительно неизменном базисе Вестфальской системы (ее принципах) выстраивались и сменяли друг друга системы межгосударственных отношений, получившие во многих работах названия систем международных отношений.

В исследованиях же часто и Вестфальская система, и системы международных (межгосударственных) отношений определяются как порядок. При этом системы международных (межгосударственных) отношений понимаются как трансформация Вестфальской системы и/или адаптация к ней. Так, согласно Г. Киссинджеру, в истории были предложены различные разновидности мирового порядка: европейская (Вестфальская система или модель), китайская (иерархическая модель с китайским центром), исламская (модель, основанная на религии). “Вестфальская система распространилась по всему миру в качестве ‘каркаса’ межгосударственного и международного порядка, охватывающего различные цивилизации и регионы...” [Киссинджер 2015: 5]. Очевидно, что здесь речь идет о принципах, которые и образовали каркас. Далее Киссинджер, рассматривая исторические процессы, неоднократно использует слово “порядок”, говоря о различных системах международных отношений и даже об отдельных государствах. Например, он замечает, что “порядок, предложенный Европе Венским конгрессом, пожалуй, был ближе всего к установлению единого правления после распада империи Карла Великого” [там же: 38]. Однако этот порядок охватывал только Европу. После окончания Первой мировой войны, а затем и Второй мировой войны формируются международные порядки с ведущим принципом Вестфальской системы (как пишет Киссинджер) баланса сил, который определяется различными конфигурациями отношений ключевых государств. А. Цыганков продолжает эту мысль Г. Киссинджера, указывая, что “любой мировой порядок предполагает наличие баланса сил среди основных участников международной системы и признание ими определенных правил поведения” [Цыганков 2019: 20].

Таким образом, Вестфальская система и система межгосударственных отношений нередко отождествляются исследователями. Причина этого, отчасти, в том, что после Тридцатилетней войны были определены, с одной стороны, принципы международного взаимодействия (что получило название “Вестфальская система”), с другой — образована некая система взаимодействия

государств того периода, которая также получила наименование Вестфальская система. И, если вторая система имела лишь историческое значение, то заложенные принципы, по крайней мере, в определенной степени, действуют и сейчас. Так, принцип суверенитета остается, хотя он неоднократно нарушался, принципом современного международного взаимодействия. Например, А. Харрелл, что примечательно, отмечает: многие авторы обращали внимание на необходимость различать *порядок как факт* (в данном случае как система. — М.Л.) и *порядок как ценность* (в данном случае как принципы. — М.Л.) [Hurrell 2007].

Признание того, что Вестфальская система (*система принципов*) и *конфигурация* межгосударственных систем (*систем международных отношений*) являются не тождественными, означает более точное понимание того, что подлежит перестройке. По крайней мере, эта перестройка или переход не может ограничиваться только изменением структуры межгосударственных связей и отношений.

КОНЕЦ ЛИБЕРАЛЬНОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА?

Наряду с проблемами, обусловленными потребностью трансформации Вестфальской системы и спецификой межгосударственных отношений XXI в., интенсивно обсуждается вопрос о конце либерального мирового порядка (см., например [Казаринова 2018]). Правда, существуют представления о том, что либерального мирового порядка вообще не было [Ferguson 2003]. Впрочем, подобные идеи о том, что либерального порядка никогда не существовало, не являются широко распространенными. Либеральный мировой порядок, очевидно, появился не сразу по заключении Вестфальского мира. Он формировался постепенно на протяжении веков путем создания международных организаций и появления новых принципов взаимодействия государств, не сводящихся к изначальным Вестфальским принципам. Согласно Дж. Наю, либеральный мировой порядок, с которым мы имеем дело сегодня, сформировался после 1945 г. [Най 2017].

Один из наиболее дискутируемых сегодня вопросов заключается в том, исчезает ли либеральный порядок, и какова в этом процессе роль США и других западных стран? Как считал И. Валлерстайн, конец либерального мирового порядка означает закат капиталистической мир-системы, а также конец доминирования Запада в мире [Wallerstein 2000].

Ряд исследователей, в том числе и ведущих американских, видят причину упадка либерального мирового порядка в ошибках, допускаемых США во внешней политике. Наиболее резко выступает Дж. Миршаймер, обвиняющий США в “либеральной гегемонии”, направленной на распространение идеи либеральной демократии. По его мнению, именно реализм и национализм, а не попытки распространения либеральной демократии по всему миру, делают государство великой державой [Mearsheimer 2018].

Несколько иную точку зрения формулирует Дж. Айкенберри. Он также изначально связывает либеральный мировой порядок с США и пишет, что нет сомнения в сдвиге центра влияния (*power*) с Запада на Восток и на Юг. Старый порядок с доминированием Соединенных Штатов и Европы уступает место порядку, в котором это влияние в глобальном мире все больше разделяется с восходящими незападными государствами. В связи с этим, отмечает Айкенберри, высказываются опасения, что новый мировой порядок, формирующийся незападными государствами, будет менее либеральным. Выдвигая возражения против таких опасений, Айкенберри указывает на

то, что новые государства не собираются менять либеральные принципы на международной арене, а лишь стремятся к получению большего влияния на мировые политические процессы. Этот вывод он обосновывает тем, что, во-первых, либеральные структуры в мире, в том числе ООН, ВТО и др., уже выстроены, и в них включены незападные государства; а во-вторых, незападным государствам для усиления своего влияния в мире важна возможность использования этих структур. При этом решающая роль (роль “ведущих за собой”) в формирующемся мировом порядке будет по-прежнему принадлежать США и европейским странам [Ikenberry 2018].

Похожая логика рассуждения у Дж. Ная. Он исходит из понимания либерального мирового порядка как, прежде всего, лидерства США в мире, однако подчеркивает, что сегодня даже такой могущественной державе как США в одиночку не справиться с мировыми проблемами. Поэтому изоляционизм США, который нередко рассматривается как конец либерального порядка, является лишь временным явлением [Най 2017].

Итак, в рассуждениях о либеральном мировом порядке переплетаются несколько вопросов. Во-первых, он связывается с западными странами, во-вторых, — с выстроенными в мире структурами и режимами по западным, либеральным меркам, в-третьих, — с некими либеральными принципами. И если ряд авторов видит связь между принципами политической системы того или иного государства и попытками строить мировой порядок на основе этих же принципов, то другие исследователи данную связь отрицают.

Прежде всего, необходимо отметить, что не следует отождествлять либеральный мировой порядок с западными странами и выстроенной современной структурой международных отношений [Кортунов 2016]. Хотя здесь следует сделать оговорку, что современная политическая организация мира, заложенная Вестфальской системой и распространившаяся затем до глобального уровня, была изначально действительно западной. И если говорить о принципах, на которых основываются структуры и нормы либерального порядка, то, согласно А. Кортунову таких принципов, на которых он выстраивается, три: рациональность (как некая обобщенная сумма различных интересов), нормативность (единые для всех участников стандарты и нормы), открытость (а не изоляционизм) [там же]. Правда, проблема здесь заключается в том, что признание принципов не означает следования им. И в последнее время это отчетливо наблюдается на мировой арене. Кроме того, есть вопросы и к такому принципу, как открытость. Причем закрываются, в определенной степени, все, в том числе и западные страны. Так, США вышли из целого ряда международных договоров. Почему это происходит — отдельный вопрос. Сейчас важно подчеркнуть, что принципы остаются принципами даже в том, случае, если кто-то перестает их соблюдать.

Кроме принципов либеральный мировой порядок предполагает и наличие многочисленных международных институтов, которые стали особенно интенсивно развиваться после окончания Второй мировой войны.

Итак, новый (современный) мировой порядок не может быть понят только исходя из рассмотрения различных существующих или возможных конфигураций балансов сил государств (однополярной, многополярной или какой-либо иной). Но также не сводится он и к доминированию Запада (или утрате им этого доминирования), которое нередко ошибочно отождествляется с либеральным мировым порядком.

ПЕРЕСТРОЙКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МИРА И НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК

Мир к XXI столетию подошел с эрозией принципов Вестфальской системы, обусловленной активностью негосударственных акторов и в целом процессами транснационализации (глобализации)¹, частью которых наряду с активностью негосударственных акторов на международной арене стали описанные А.-М. Слотер “межправительственные сети” [Slaughter 2004].

Транснационализация, во многом обусловившая эти процессы эрозии, по всей видимости, будет только набирать силу благодаря дальнейшему развитию новых технологий. Это приведет к еще большему размыванию Вестфальской системы, которая просуществовала столь долго благодаря тому, что она объединяла очень разные с точки зрения политических систем, государства. Относительная “непрозрачность” национальных границ защищала, с одной стороны, суверенитет каждого государства, с другой — Вестфальскую систему в целом. В условиях транснационализации под вопросом оказались ведущие принципы Вестфальской системы: принцип суверенитета и принцип баланса сил.

Ряд государств пытаются сохранить принцип суверенитета для своей страны, ориентируясь на изоляционизм, что довольно четко проявляется, например, во внешней политике США, которые сознательно пытаются ограничить свою открытость внешнему миру. Распространение COVID-19 в 2020 г. с особой очевидностью проявило тенденцию к изоляционизму. Однако представляется, что такая политика может носить лишь временный характер, поскольку транснационализация с ее новыми технологиями является объективным процессом, противостоять которому невозможно.

Как и любое развитие, транснационализация является нелинейным процессом, поэтому она будет чередоваться с периодами изоляционизма тех или иных государств. Тем не менее общемировой вектор на транснационализацию (глобализацию) сохранится [Лебедева 2019]. Одновременно она перестает быть исключительно западным процессом, поскольку распространяются восточные в широком смысле модели, что с особой очевидностью проявляется, например, в ресторанном бизнесе, когда популярность по всему миру получают рестораны восточной кухни.

Сохранение принципа баланса сил в основе мирового порядка — это еще одна попытка сдерживать процессы эрозии Вестфальской системы. По этому пути советует идти Г. Киссинджер. Он исходит из того, что Вестфальская система с ее принципом баланса сил хорошо зарекомендовала себя исторически. Поэтому единственно возможный вариант формирования нового мирового порядка — это использование европейского опыта великими державами и создание порядка по типу Европейского концерта. При этом препятствием реализации такой модели Киссинджер видит политику США, ориентированную на реализацию прав человека по всему миру и гуманитарную интервенцию [Киссинджер 2015]. В этом плане позиции Г. Киссинджера и Дж. Миршаймера как представителей реализма совпадают. Правда, здесь возникает несколько вопросов. Первый — связан с ролью и ограничениями силового фактора в современном мире. На этот счет имеется огромный пласт научной литературы, показывающей пределы использования силового фактора в современном мире с его взаимозависимостью и наличием ядерного оружия. Второй вопрос заключается в том, возможно ли

¹ Термин “транснационализация” используется в данном случае во избежание множественного толкования понятия “глобализация”.

вообще выстроить какую-либо систему относительно долговременных межгосударственных отношений в условиях, когда базовые принципы Вестфальской системы, размываются? По-видимому, это сделать сложно. Неслучайно в течение длительного времени, прошедшего со дня окончания холодной войны, устойчивая конфигурация межгосударственных отношений так и не сложилась.

Наконец, сегодня наблюдается не только трансформации Вестфальской системы и системы межгосударственных отношений, но и значительные “повороты” в политических системах многих государств на рубеже XX–XXI столетий: Восточная Европа, государства постсоветского пространства, государства Ближнего Востока, Латинской Америки. Причем изменения в этих государствах не обязательно происходили либо в сторону развития демократии, либо — в сторону авторитаризма, как предполагал С. Хантингтон [Huntington 1991]. Трансформация в некоторых государствах Ближнего Востока пошла, например, по пути хаотизации, а также ориентации на родоплеменные отношения [Лебедева и др. 2016].

Таким образом, трансформация в современном мире охватывает, как минимум, три уровня политической организации мира: 1) Вестфальскую систему; 2) систему межгосударственных отношений; 3) политические системы отдельных стран. В результате трансформация каждого уровня усиливает изменения, происходящие на двух других, формируя феномен “идеального шторма”. Происходит в целом *трансформация политической организации мира* [Лебедева 2016], *что и составляет суть изменения мирового порядка*. При этом особенно значимым звеном оказывается Вестфальская система как основа современной политической организации мира.

Ф. Фукуяма заметил, что индустриальная эпоха — эпоха паровоза, железных дорог, заводов — сделала возможным веберовское централизованное государство [Fukuyama 1999]. Можно с достаточной долей уверенности предположить, что четвертая промышленная революция [Шваб 2016], которую переживает мир сегодня, также приведет к кардинальной перестройке политической организации мира.

31

ВОЗМОЖНЫЕ КОНТУРЫ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА

Каким будет новый мировой порядок (новая политическая организация мира), сказать сегодня сложно. В настоящее время можно наметить лишь самые общие его черты. Хотя, по всей видимости, можно утверждать, что сложный политический мир не подлежит унификации и жесткой централизации.

Большинство авторов, анализирующих формирующийся миропорядок, исходят из идеи многополярности мира. Однако вряд ли можно согласиться с тем, что мировой порядок будет базироваться лишь на многополярной конфигурации ведущих мировых держав. Во-первых, сегодня довольно активными и влиятельными (особенно при образовании коалиций) оказываются малые и средние государства. Во-вторых, в качестве центров со все большей очевидностью начинают выступать негосударственные акторы, в том числе, ведущие НПО и ТНК. Ранее негосударственные акторы оставались лишь участниками международного взаимодействия, особо не влияя на мировые политические процессы, поэтому можно было ограничиться только анализом ведущих государств. “Теперь, — пишет Р. Хаас, — власть находится во многих руках и во многих местах” [Haas 2008]. Но в любом случае сегодня точнее говорить, наверное, *не о полюсах, а о центрах*. Кроме того, центры в отличие

от полюсов в меньшей степени предполагают конфронтацию. В целом же тенденция к формированию полицентричности мира явно намечается.

При анализе и выстраивании нового мирового порядка, по всей видимости, следует иметь в виду эволюционную составляющую политической организации мира. На это в отличие от сторонников баланса сил обращает внимание, в частности Р. Кокс, выступая с идеей гегемонии. В настоящее время, по мнению Р. Кокса, в мире гегемоном (т.е. доминирующим актором) выступает Запад, прежде всего США. Однако в дальнейшем многое будет зависеть от сопротивления других акторов, включая международные и ведущие неправительственные организации [Cox with Sinclair 1996].

Кроме идеи эволюции важным моментом для определения контуров будущего миропорядка в работе Р. Кокса, как, впрочем, и у Р. Хааса, является вовлечение в вопросы, связанные с мировым порядком, не только государств, но и других акторов. Хотя здесь не все однозначно. Дж. Най указывает, что “мировому порядку угрожает перетекание силы от правительств к негосударственным акторам” [Най 2017]. Поэтому проблемой оказывается взаимодействие государственных и негосударственных акторов, которое должно быть эффективно выстроено.

Увеличение, причем значительное, не только количества акторов на мировой арене, но их разнородности, ставит остро вопрос о принципах, на которых будут основываться их взаимодействие, а также их коммуникации и механизмы принятия решений. Проблема выбора принципов является сложной, поскольку принципы довольно тесно связаны с ценностями, и поэтому могут интерпретироваться по-разному. Неслучайно заслугу создателей Вестфальской системы Ж.-М. Геэнно видит как раз в более или менее удачной попытке исключить ценности из международных отношений, поскольку по ценностям невозможно достичь договоренностей [Guehenno 1999].

Принципы суверенитета и баланса сил, несмотря на нарушения и “перестроение”, в целом сыграли и продолжают играть положительную роль. Хотя принцип баланса сил является наиболее проблематичным. Вместе с тем в связи с трансформацией политической организации мира, а новый миропорядок затрагивает все три ее уровня (Вестфальскую систему, систему межгосударственных отношений, политические системы государств), стоит задача выработки новых принципов. По всей видимости, принципы, выработанные в рамках либерального мирового порядка, такие как рациональность и соблюдение норм, вполне могут быть использованы. Важно иметь в виду, что нормы вырабатываются в процессе взаимодействия через переговорные механизмы. В свою очередь, развитие и распространение в мире различных международных организаций способствует усвоению норм [Finnemore 1993].

Сложнейшими вопросами остаются коммуникация и принятие решений в условиях множественности и разнородности акторов. В мире все большее распространение получает сетевая коммуникация, что как тенденция отмечалось еще в начале 1990-х годов (см., например, [Governance without Government... 1992]). Очевидно, что сетевое взаимодействие будет развиваться и в дальнейшем, причем интерактивность будет важнейшим условием его развития. При этом форматы такого взаимодействия и принятия решений могут быть совершенно различными. Среди многосторонних форматов (с участием представителей разных стран) — это международные организации, клубные форматы, региональные и трансрегиональные объединения (см., например, [Лебедева, Кузнецов 2019])

и т.п. Не исключаются, разумеется, двухстороннее сетевое взаимодействие сразу по целому ряду вопросов. Наряду с многосторонними форматами взаимодействия и принятия решений перспективными будут многоуровневые форматы, где наряду с представителями государств участвуют НПО, бизнес структуры и другие негосударственные акторы. Многоуровневые форматы стали распространяться при обсуждении и решении вопросов, связанных с изменением климата, экологии, регулированием интернета (см., например, [Зиновьева 2018]).

Трансформация мирового порядка влечет за собой изменение международной повестки дня. Интенсификация коммуникаций в современном мире становится одним из важнейших факторов того, что социальные и гуманитарные вопросы все сильнее проникают в международную повестку дня. Они образуют не только сферу собственно социальных и гуманитарных вопросов, но и включаются в военно-политическую (например, информационные войны) и экономическую (например, борьба с бедностью, устранение резкой социальной поляризации) проблематику. Одновременно на первый план в международной повестке дня будут выходить вопросы повышения качества жизни, образования, здравоохранения, культуры, спорта, экологии, туризма.

Наконец, последний вопрос заключается в том, как может быть выстроен новый мировой порядок. Рассматриваются разные сценарии (см., например, [Лебедева 2016; Пантин, Лапкин 2018]). В принципе возможно два типа сценариев: 1) эволюционный, предполагающий постепенное выстраивание мирового порядка с учетом его новых параметров; и 2) революционный, предполагающий резкое и во многом катастрофическое изменение миропорядка с ломкой существующих в настоящее время структур. Очевидно, что первый сценарий предпочтительнее, однако в настоящее время сложно сказать, какой именно сценарий будет реализован. Не исключено, что окажется вариант, сочетающий в себе черты обоих сценариев, несмотря на их, казалось бы, очевидную несовместимость.

DOI: [10.17976/jpps/2020.04.03](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.03)

NEW WORLD ORDER: PARAMETERS AND POSSIBLE CONTOURS

M.M. Lebedeva¹

¹Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University). Moscow, Russia

LEBEDEVA, Marina Mikhaylovna, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Professor, Head of World Politics Department, MGIMO University, email: world_politics@mgimo.ru

Lebedeva M.M. New World Order: Parameters and Possible Contours. — Polis. Political Studies. 2020. No. 4. P. 24–35. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.03>

Received: 10.02.2020. Accepted: 23.04.2020

Abstract. The article discusses approaches to understanding the world order. Most researchers, as well as practitioners, proceed from the fact that, in order to overcome the growing chaos of the modern world, it is necessary to form a new world order. The world order is usually understood as a configuration of the balance of power between the most powerful states. The article argues that understanding the world order through this prism does not meet modern realities. It is shown, instead, that the accepted organization of global politics (the Westphalian system, the system of interstate relations, the political systems of a number of states) is currently undergoing a general transformation, which is the essence of changing the world order. Another assumption a number of studies make is the non-distinction between the Westphalian system and the system of interstate (international) relations. The article demonstrates the importance of distinguishing between these two systems. On the one hand, the Westphalian system promotes a set of certain principles; on the other, international relations can be viewed as a configuration of the balance of interstate relations. The issue of a liberal world order is also

being discussed. It is highlighted that a number of studies associate the liberal world order with the United States and, in general, with Western countries, but it is argued that such a statement is not entirely correct. The article shows that, although the West is significantly building up a modern liberal world order through many methods, the totality of a number of principles and institutions that make up this order is, nevertheless, generally accepted by the international community. The main features of the new world order are determined. It is noted that, at the present moment, there is a tendency to establish a polycentric world; however, such a world is led not just by its centers of power, but also by other states, as well as non-state actors. At the same time, a number of problems arise due to the interaction and decision-making of a large number of heterogeneous actors. Nevertheless, it is assumed that the new world order will be built on a multilateral and multilevel basis with extensive network communication. Scenarios for the formation of a new world order are discussed.

Keywords: world order, world politics, Westphalian system, system of international (interstate) relations, political organization of the world, transformation of the political organization of the world, liberal world order.

References

- Bull H. 1977. *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics*. New York, Chichester, WS: Palgrave. 329 p.
- Cox R.W., with Sinclair T.J. 1996. *Approaches to World Order*. Cambridge: Cambridge University Press. 574 p. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511607905>
- Ferguson N. 2003. *Empire: The Rise and Demise of the British World Order and the Lessons for Global Power*. New York: Basic Books. 400 p.
- Finnemore M. 1993. International Organizations as Teachers of Norms: the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization and Science Policy. — *International Organization*. Vol. 47. No. 4. P. 565-597. <https://doi.org/10.1017/S0020818300028101>
- Fukuyama F. 1999. Second Thoughts: the Last Man in a Bottle. — *The National Interest*. Summer. P. 16-33.
- Governance without Government: *Order and Change in World Politics*. 1992. Ed. by J.N. Rosenau, E.-O. Czempiel. Cambridge: Cambridge University Press. 324 p.
- Guehenno J.-M. 1999. The Post-Cold War World: Globalization and the International System. — *Journal of Democracy*. Vol. 10. No. 1. P. 22-35.
- Kortunov A. 2016. The Inevitable, Weird World. — *Russia in Global Affairs*. Vol. 14. No. 4. P. 8-19.
- Haas R.N. 2008. The Age of Nonpolarity. What Will Follow U.S. Dominance. — *Foreign Affairs*. May/June. URL: <http://acme.highpoint.edu/~msetzler/IR/IRreadingsbank/EmpireOverNonpolarHaass.FA08.x.pdf> (accessed 27.04.2020).
- Hoffmann St. 1977. Foreword: Revisiting 'The Anarchical Society'. — Bull H. *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics*. London: Macmillan Press Ltd. P. vii-xii. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-24028-9>
- Huntington S.P. 1991. Democracy's Third Wave. — *The Journal of Democracy*. Vol. 2. No. 2. P. 12-34.
- Hurrell A. 2007. *On Global Order: Power, Values, and the Constitution of International Society*. Oxford: Oxford University Press. 364 p.
- Ikenberry G.J. 2018. The End of Liberal International Order? — *International Affairs*. Vol. 94. No. 1. P. 7-23. <https://doi.org/10.1093/ia/iix241>
- Mearsheimer J.J. 2018. *Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities*. New Haven, London: Yale University Press. 328 p.
- Slaughter A.-M. 2004. *A New World Order*. Princeton: Princeton University Press. 368 p.
- Wallerstein I. 2000. Globalization or the Age of Transition? A Long-Term View of the Trajectory of the World System. — *International Sociology*. Vol. 15. No. 2. P. 251-267.
- Afontsev S. 2019. Sanctions and International Institutions: How to Reduce Sanction Risks for Russia? — *International Organisations Research Journal*. Vol. 14. No. 3. P. 46-68. (In Russ.) <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2019-03-03>
- Baranovsky V.G. 2019. New International Order: Overcoming or Transforming the Existing Pattern? — *World Economy and International Relations*. Vol. 63. No. 5. P. 7-23. (In Russ.) <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2019-63-5-7-23>
- Kazarinova D. 2018. The Crisis of Liberalism in the Assessments of Its Adherents. — *Russia in Global Affairs*. Vol. 16. No. 6. P. 226-233. (In Russ.) URL: <https://globalaffairs.ru/book/Krizis-liberalizma-v-otcenkakh-ego-adeptov-19862> (accessed 27.04.2020).
- Kissinger H. 2015. World Order. (Russ. ed.: Kissinger H. *Mirovoi porjadok*. Moscow: AST. 544 p.)
- Lebedeva M.M. 2016. System of Political Organization of the World: 'Perfect Storm'. — *MGIMO Review of International Relations*. No. 2. P. 125-133 (In Russ.) URL: <https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/518/518> (accessed 27.04.2020).

- Lebedeva M.M. 2019. Modern Megatrends of World Politics. — *World Economy and International Relations*. Vol. 63. No. 9. P. 29–37. (In Russ.) <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2019-63-9-29-37>
- Lebedeva M.M., Kuznetsov D.A. 2019. Transregional Integration as a New Phenomenon of World Politics: Nature and Prospects. — *Polis. Political Studies*. No. 5. P. 71–84. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.05.06>
- Lebedeva M.M., Kharkevich M.V., Zinovieva E.S., Koposova E.N. 2016. State Archaization: the Role of Information Technologies. — *Polis. Political Studies*. No. 6. P. 22–36. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2016.06.03>
- Nikitin A.I. 2018. Modern World Order, Its Crisis and Prospects. — *Polis. Political Studies*. No. 6. P. 32–46. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.06.03>
- Nye J.S. Jr. 2017. Will the Liberal World Order Survive? — *Russia in Global Affairs*. Vol. 15. No. 2. P. 72–82. (In Russ.) URL: <https://globalaffairs.ru/number/utceleet-li-liberalnyi-miroponyadok-1865> (accessed 27.04.2020).
- Pantin V.I., Lapkin V.V. 2018. Transforming of Political Spaces: Toward Polycentric World Order. — *Polis. Political Studies*. No. 6. P. 47–66. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.06.04>
- Schwab K. 2016. The Fourth Industrial Revolution. (Russ. ed.: Schwab K. *Chetvertaya promyshlennaya revolyutsiya*. Moscow: EKSMO. 208 p.)
- Tsygankov A.P. 2019. Half-life: from World Order to World Transition. — *Russia in Global Affairs*. Vol. 17. No. 2. P. 20–31. (In Russ.) URL: <https://globalaffairs.ru/number/Epokha-poluraspada-ot-miroponyadka-k-miroperekhodu-20029> (accessed 27.04.2020).
- Zinovieva E.S. 2018. Conceptualization of the International Cooperation in the Field of Science and Technology. — *MGIMO Review of International Relations*. No. 6. P. 242–254. (In Russ.) <https://doi.org/10.24833/2071-8160-2018-6-63-242-254>

Литература на русском языке

- Афонцев С.А. 2019. Санкции и международные институты: перспективы снижения санкционных рисков для России. — *Вестник международных организаций*. Т. 14. № 3. С. 48–68. <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2019-03-03>
- Барановский В. 2019. Новый миропорядок: преодоление старого или его трансформация? — *Мировая экономика и международные отношения*. 2019. Т. 63. № 5. С. 7–23. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2019-63-5-7-23>
- Зиновьева Е.С. 2018. Мирополитическая концептуализация международного научно-технологического сотрудничества. — *Вестник МГИМО-Университета*. № 6. С. 242–254. <https://doi.org/10.24833/2071-8160-2018-6-63-242-254>
- Казаринова Д. 2018. Кризис либерализма в оценках его адептов. — *Россия в глобальной политике*. Т. 16. № 6. С. 226–233. URL: <https://globalaffairs.ru/book/Krizis-liberalizma-v-otcenskakh-ego-adeptov-19862> (accessed 27.04.2020).
- Киссинджер Г. 2015. *Мировой порядок*. М.: АСТ. 544 с.
- Кортунов А. 2016. Необходимость странного мира. — *Российский совет по международным делам*. 15.07. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/neizbezhnost-strannogo-mira/> (accessed 27.04.2020).
- Лебедева М.М. 2016. Система политической организации мира: “Идеальный шторм”. — *Вестник МГИМО-Университета*. № 2. С. 125–133. URL: <https://vestnik.mgimo.ru/jour/article/view/518/518> (accessed 27.04.2020).
- Лебедева М.М. 2019. Современные мегатренды мировой политики. — *Мировая экономика и международные отношения*. Т. 63. № 9. С. 29–37. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2019-63-9-29-37>
- Лебедева М.М., Кузнецов Д.А. 2019. Трансрегионализм — новый феномен мировой политики. — *Полис. Политические исследования*. № 5. С. 71–84. <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.05.06>
- Лебедева М.М., Харкевич М.В., Зиновьева Е.С., Копосова Е.Н. 2016. Архаизация государства: роль современных информационных технологий. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 22–36. <https://doi.org/10.17976/jpps/2016.06.03>
- Най Дж. 2017. Уцелеет ли либеральный миропорядок? — *Россия в глобальной политике*. Т. 15. № 2. С. 72–82. URL: <https://globalaffairs.ru/number/utceleet-li-liberalnyi-miroponyadok-1865> (accessed 27.04.2020).
- Никитин А.И. 2018. Современный миропорядок: его кризис и перспективы. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 32–46. <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.06.03>
- Пантин В.И., Лапкин В.В. 2018. Трансформации политических пространств в условиях перехода к полицентричному миропорядку. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 47–66. <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.06.04>
- Цыганков А.П. 2019. Эпоха полураспада: от миропорядка к миропереходу. — *Россия в глобальной политике*. Т. 17. № 2. С. 20–31. URL: <https://globalaffairs.ru/number/Epokha-poluraspada-ot-miroponyadka-k-miroperekhodu-20029> (accessed 27.04.2020).
- Шваб К. 2016. *Четвертая промышленная революция*. М.: ЭКСМО. 208 с.

DOI: [10.17976/jpps/2020.04.04](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.04)

КИТАЙ И ОГРАНИЧЕНИЕ ВООРУЖЕНИЙ: НЕ УТОПИЯ, А ВОЗМОЖНОСТЬ

А.Г. Арбатов

АРБАТОВ Алексей Георгиевич, академик РАН, руководитель Центра международной безопасности, ИМЭМО РАН, Москва, email: arbatov@imemo.ru

Арбатов А.Г. Китай и ограничение вооружений: не утопия, а возможность. — Полис. Политические исследования. 2020. № 4. С. 36–54. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.04>

Статья поступила в редакцию: 23.03.2020. Принята к публикации: 29.04.2020

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о возможности расширения форматов контроля над ядерным оружием в ситуации, когда Китай выступает против приглашения США присоединиться к переговорам по ракетам средней дальности, продлению ДСНВ-3 и по следующему стратегическому соглашению. Анализируется соотношение сил и интересов России, Китая и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, экономическое, политическое и военное значение которого быстро растет. Особое внимание уделяется ядерному балансу сил в регионе — вооружениям, программам их развития и стратегическим концепциям применения, а также американо-китайской и российской-американской повестке дня. По мнению автора, при благоприятной политической среде возможно создание трехстороннего формата контроля над вооружениями в виде интегрированного договора СНВ/РСМД с участием России, США и КНР. Такой формат обеспечил бы КНР равный с двумя сверхдержавами стратегический статус и признание ими (пусть по умолчанию) права Китая на паритет и стабильное взаимное сдерживание, тогда как Россия и США, помимо урегулирования ряда проблем стратегической стабильности, получили бы гарантии предсказуемости и пределов наращивания китайского потенциала ядерных и обычных вооружений стратегического назначения и средней дальности. В то же время автор подчеркивает необходимость продолжения двустороннего переговорного процесса как основы для перехода к подобному многостороннему контролю над вооружениями.

Ключевые слова: международная безопасность, Китай, США, Россия, Япония, ядерное оружие, контроль над вооружениями, Азиатско-Тихоокеанский регион.

Перспектива подключения Китая к процессу ядерного разоружения — тема не новая и много лет обсуждается в контексте перехода с двустороннего российско-американского на многосторонний формат контроля над ядерным оружием [Полицентричный ядерный мир... 2017; Караганов, Суслов 2019]. Однако в последние полтора года этот вопрос вышел на передний план практического контроля над вооружениями, когда его “поставила ребром” администрация Дональда Трампа. Обвинение Китая в несоразмерном наращивании ракетных вооружений стало одним из двух¹ официальных поводов для выхода США в 2019 г. из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД от 1987 г.). Подключение КНР к ограничению вооружений теперь является условием согласия Вашингтона на новый договор по ракетам средней дальности, а также на продление российско-американского Договора об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений

¹ Вторым поводом было вменяемое России нарушение ДРСМД в связи с испытанием и развертыванием наземных крылатых ракет 9М729 “Новатор”, имевших, по оценкам Запада, дальность больше 500 км.

(ДСНВ-3 от 2010 г.) и на начало переговоров о следующем договоре по СНВ². Со своей стороны Китай категорически отвергает эти требования³.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА

Возрастающая важность Азиатско-Тихоокеанского региона в экономическом, политическом и военном миропорядке XXI в. общепризнанна, в том числе в России. С этим после 2010 г. была связана популярная в определенных кругах, но не очень внятная идея российского “поворота на Восток”, а после 2013 г. — концепция “Большой Евразии”⁴.

В отличие от Европейского континента, стратегическая обстановка в АТР не носит характер биполярного противостояния, как между НАТО и Россией. Она имеет полицентричную конфигурацию с несколькими очагами активных или “дремлющих” конфликтов: в Охотском, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, на Корейском полуострове и в Гималаях. На Тихом океане разворачивается интенсивная военная конфронтация, разделяющая, с одной стороны, КНР, Северную Корею, а с другой — США вместе с их союзниками и партнерами (Япония, Южная Корея, Тайвань, Филиппины). В последние годы нарастает военное противостояние России с американо-японским альянсом. С запада к этой военно-политической мозаике примыкает Индия, соперничающая с Пакистаном и Китаем в Индийском океане и в Гималаях. Наконец, есть скрытое (латентное) военное позиционирование между Китаем и Россией в зоне общей сухопутной границы. Огромная концентрация враждебных войск и сил сохраняется на Корейском полуострове.

Нет нужды напоминать о впечатляющем экономическом росте государств региона и огромном масштабе их торгового оборота (в котором доля России, к сожалению, лишь около 1%). Однако опыт последних лет убедительно демонстрирует, что экономические интересы отступают на задний план, когда случаются крупные политические или идеологические повороты в курсе больших держав.

В свете описанного выше переплетения стародавних и новых противоречий, конфликтов и фронтов гонки вооружений можно лишь позавидовать смелому полету фантазии приверженцев концепции “Большой Евразии” (от Лиссабона до Сингапура), которые предвкушают “...создание на гигантском континенте пространства свободной торговли, развития, мира и безопасности, условий для суверенного развития всех входящих в него стран, культур и цивилизаций” [Лукин, Новиков 2019: 10].

Глобальное бедствие COVID-19, скорее всего, еще больше поставит под сомнение мечту о “Большой Евразии”. Ясно, что в результате пандемии все три ведущих державы АТР понесут огромный экономический ущерб, а Китай и США получат еще тяжелый удар по национальной репутации. Скорее всего, после ухода коронавируса нынешние конфликты сами собой не “рассосутся” (даже если расширится международное сотрудничество в сфере биобезопас-

² U.S. Secretary of State Mike Pompeo testifies before a Senate foreign Relations Committee hearing on the State Department budget request in Washington Wednesday; Mike Pompeo wants China to join Russia in START nuclear treaty. APF-JJI, Asia Pacific/Politics. 11.04.2019.

³ Foreign Ministry Spokesperson Geng Shuang's Regular Press Conference on July 16, 2019. URL: <https://www.fmprc.gov.cn/ce/cgjed/eng/fyrth/t1681503.htm> (accessed 07.09.2019).

⁴ Караганов С. “Мы исчерпали европейскую кладовую”. О неизбежности для России “поворота на Восток”. — *Огонёк*. № 34. 10.09.2018. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3719327> (accessed 13.09.2019).

ности). Уже сейчас, когда конца пандемии еще не видно, эта беда не сплывает государства перед лицом общей опасности, а превращается в повод для взаимных обвинений и вероятных новых экономических санкций, которые наложатся на прежние политические и военные противоречия.

СООТНОШЕНИЕ СИЛ И ИНТЕРЕСОВ

Военно-морская и воздушная мощь *Соединенных Штатов* на Тихом океане обладает пока неоспоримым господством⁵. *Япония*, главный американский союзник в регионе, поддерживает изрядные силы самообороны⁶.

Россия, в отличие от положения в Восточной Европе, не обладает на Дальнем Востоке преимуществом по соотношению сил общего назначения. Боевой состав ее ВМФ в последние десятилетия быстро сокращался и технически устаревал⁷. Среди четырех российских военных округов Восточный военный округ занимает третье место в системе приоритетов (после Западного и Южного и перед Центральным). Он удален на тысячи километров от промышленного, инфраструктурного и демографического центра в европейской части страны, с которым его связывает протяженный и уязвимый железнодорожный и воздушный транспортные коридоры с низкой пропускной способностью. Вооруженные силы расположены на юге территории вдоль границы с Китаем, а военные группировки на Чукотке, Камчатке, Сахалине и Курилах географически изолированы и не могут быть быстро усилены. Военная техника в войсках устарела, а новейшие образцы вооружений и военной техники поступают лишь ограниченными партиями.

В последние годы главное внимание России в АТР вновь уделяется военному противостоянию с США и Японией⁸. Это обосновывается намерением данных стран захватить Курильские острова и установить контроль

⁵ Американские 7-й и 3-й флоты имеют в своем составе 7 авианосцев, 120 крупных боевых кораблей и 19 атомных подводных лодок, 1 000 боевых самолетов (в том числе 520 палубных). По одной дивизии США дислоцировано в Южной Корее, на Окинаве и в Калифорнии, две армейские бригады и части ВВС размещены на Аляске [China Naval... 2020: 19].

⁶ Эти силы имеют примерно 800 танков и 550 боевых самолетов, флот насчитывает 4 вертолетоносца, 46 крупных кораблей (7 строятся), 19 дизельных подводных лодок (3 строятся).

⁷ Тихоокеанский флот (ТОФ), помимо двух новых стратегических атомных подводных ракетноносцев (проектов 955) насчитывает 16 многоцелевых атомных и дизельных подводных лодок, 9 крупных и 23 малых надводных боевых корабля (около 80% которых имеет срок службы свыше 25 лет, и часть находится в долгосрочном ремонте). Также есть порядка 300 боевых самолетов старых типов Воздушно-космических сил (ВКС) и ВМФ (аэродромного базирования). Береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" действуют в прибрежной зоне (120-300 км). Государственная программа вооружений до 2027 г. в части сил общего назначения предполагает поставку на ТОФ всего 4 малых ракетных корабля и 6 дизель-электрических подводных лодок с новыми крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс". См. Храмчихин А. Новая Великая китайская стена. — *Независимое военное обозрение*. 20.10.2017. URL: http://nvo.ng.ru/forces/2017-10-20/1_970_china.html (accessed 20.05.2020).

⁸ На Чукотке планируется разместить дивизию береговой обороны и части воздушно-космических сил (ВКС). Помимо флота, на Камчатке развернуты 1 воздушно-космическая армия, 1 бригада морской пехоты, зенитные и ракетно-артиллерийские части, на Сахалине размещена мотострелковая бригада. На Южных Курилах дислоцируются 1 дивизия сухопутных войск и 1 бригада морской пехоты, части береговых противокорабельных ракет "Бал", "Бастион", зенитных ракет "Бук". Принято решение создать новую крупнейшую базу на необитаемом вулканическом острове Матуа (средняя часть Курильской гряды): разместить там части ракет "Бал" и "Бастион"; атомные и дизельные подводные лодки, боевые корабли из состава ТОФ, а также средние бомбардировщики и противолодочные самолеты морской авиации, прикрыв их истребителями ВКС и зенитными комплексами С-300 и С-400. См. Иванько А. Бастион на вулкане. — *Военно-промышленный курьер*. 27.11.2017. URL: <https://www.vpk-news.ru/articles/40137> (accessed 20.05.2020).

над Охотским морем, хотя такой мотив трудно объяснить (и в любом случае теоретически это можно сделать с острова Хоккайдо).

Китай — огромная, закрытая и малопредсказуемая военная величина на стратегическом театре. Он имеет самую большую по численности армию в мире (2,3 млн человек) и практически неограниченный мобилизационный резерв, а по военным расходам стоит на втором месте после США и в четыре раза превосходит Россию. По численности парков вооружений и техники Китай по многим статьям опережает РФ в целом (не говоря уже о восточном театре) и стоит на втором месте в мире после США, а по некоторым статьям даже на первом месте (бронетанковая техника, артиллерия, подводные лодки).

Энергично развиваются космическая группировка (на орбитах сейчас более 300 спутников, тогда как более 900 спутников у США и более 150 у России⁹, беспилотники, противоспутниковые системы наземного базирования, высокоточные противокорабельные баллистические ракеты и ракетно-планирующие гиперзвуковые системы в неядерном оснащении¹⁰, противоракетные технологии и средства кибервойны.

В настоящее время Китай отдает приоритет наращиванию Военно-морских сил (ВМС) для противостояния США, Японии, Тайваню и странам Юго-Восточной Азии. По общей численности крупных боевых единиц военного флота (но пока не по их качеству) КНР занимает второе место в мире после США. Китайская военная кораблестроительная программа — самая крупная в мире и превосходит программу США (кроме строительства авианосцев) и остальных стран НАТО вместе взятых¹¹. В ближайшие два десятилетия ставится цель оспорить американское военно-морское господство во всей западной части Тихого океана вплоть до рубежа от Алеутских островов до Папуа-Новой Гвинеи на юге, а затем и до меридиана Гавайских островов¹².

В отличие от России, которая на Дальнем Востоке сосредоточена на обороне от США и Японии, Китай не забывает военные приготовления вблизи зоны границы с Россией. По Договору о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы от 1997 г. КНР и РФ ограничили свои войска и вооружения в пределах полосы в 100 км от общей границы¹³. Однако в этой зоне из-за инфраструктурных и природных факторов находится наибольшая часть российских сухопутных войск и Воздушно-космических сил (ВКС) в Восточном военном округе, а силы Китая в основном дислоцированы непосредственно к югу от этой зоны — в пределах двухдневного марша механизированных частей.

В Северном командовании КНР (вблизи российской и монгольской границ) развернута группировка войск и сил, которая по численности личного состава,

⁹ *Number of Satellites in Orbit by Country as of March 31, 2019*. URL: <https://www.statista.com/statistics/264472/number-of-satellites-in-orbit-by-operating-country/> (accessed 04.05.2020).

¹⁰ Это системы *DF-21D*, *DF-26* и новейшая ракетно-планирующая гиперзвуковая система *DF-17*.

¹¹ Сейчас Китай имеет 10 атомных и 50 дизельных подводных лодок, 130 крупных боевых кораблей, 60 больших и средних десантных судов, 86 новых сторожевых кораблей и ракетных катеров. В стадии строительства находятся 10 многоцелевых атомных и дизельных подводных лодок, 25 крупных боевых кораблей с управляемым ракетным оружием и 1 большой десантный корабль. Есть 2 авианосца (включая “*Ляонин*” — бывший советский “*Варяг*”) и строятся еще 3 авианосца [China Naval... 2020: 22–23].

¹² Храмухин А. Китайская экспансия неизбежна. — *Военно-промышленный курьер*. 02.09.2013. URL: <https://vpk-news.ru/articles/17276/> (accessed 04.05.2020).

¹³ По этому договору силы КНР и России (вместе с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном) ограничены для каждой стороны потолком в 3 900 танков, 5 890 бронемашин, 4 540 единиц артиллерии, 290 самолетов, 430 вертолетов и 96 тактических ракет.

вооружений и военной техники существенно превосходит войска и силы России и в приоритетном порядке оснащается новейшими системами бронетехники, артиллерии, противовоздушной обороны (ПВО), боевых самолетов и вертолетов¹⁴. В этом районе проводились учения с переброской крупного войскового контингента на 1 000 км за неделю и отработкой боевых действий в условиях чрезвычайно низких температур. Ясно, что к востоку, югу и западу от китайской территории нет таких равнинных пространств или климатических зон.

Традиционное преимущество РФ над КНР в ядерном оружии (включая тактическое), Военно-воздушных силах (ВВС) и ПВО постепенно утрачивается. Нарращивание китайских межконтинентальных ракетно-ядерных средств, ядерных систем средней дальности и тактического класса в обозримом будущем нейтрализует эффект российского ядерного превосходства.

После Второй мировой войны Китай имел войны и продолжительные вооруженные конфликты со всеми соседними государствами: Южной Кореей и США (1950-1953 гг.), Тайванем (1950-е и большая часть 1960-х годов), Индией (1962 и 1967 г.), СССР (1969 г.) и Вьетнамом (1980-е годы). Однако экономическая отсталость и противодействие более сильных держав в лице США и СССР не позволили КНР добиться существенных успехов. Превратившись ныне в финансово-индустриальную сверхдержаву, Китай форсированным образом строит современные и многофункциональные вооруженные силы для поддержания экономической экспансии и растущих сырьевых потребностей КНР за рубежом, продвижения периметра безопасности все дальше от китайских границ, создания собственных многосторонних военно-политических коалиций. Зонами конфликтов с Вьетнамом, странами АСЕАН, Японией стали Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря. В официальных документах КНР прямо указывается: “Острова Южно-Китайского моря и остров Дяою являются неотъемлемой частью китайской территории. Китай осуществляет права национального суверенитета в строительстве инфраструктуры и развертывании необходимого оборонительного потенциала на островах и рифах Южно-Китайского моря и патрулировании водных пространств острова Дяою в Восточно-Китайском море” [China’s National Defense... 2019: 7]¹⁵.

Пекин не отказывается от права силового присоединения Тайваня, несмотря на тесные экономические связи с ним. Согласно официальной позиции КНР, “...решение Тайваньского вопроса и достижение полного воссоединения страны является фундаментальным национальным интересом Китая... Мы не обещаем отказаться от использования силы и оставляем за собой возможность принятия любых необходимых мер” [ibidem]. В Западном командовании КНР напротив Тайваньского пролива сосредоточен крупный контингент сухопутных войск и авиации, а также сотни баллистических и крылатых ракет в пределах досягаемости до острова. Китайский флот нара-

¹⁴ В Северном и примыкающем к нему Центральном командованиях КНР развернуты 40 бригад сухопутных войск, 30 авиаполков и 10 авиабригад — примерно 3 000 танков и до 1 500 боевых самолетов. У России в Забайкалье и Приморье есть 13 бригад сухопутных войск и 6 бригад воздушно-десантных войск и морской пехоты, всего порядка 600 танков и 330 боевых самолетов. Базы хранения тяжелой военной техники для ожидаемых войск усиления извне округа размещены недалеко от границы — в пределах досягаемости дальнобойной китайской артиллерии, не говоря уже об авиации. См. Храмчихин А. Неполноценная оборона Приморья. — *Независимое военное обозрение*. 11.10.2019. URL: http://nvo.ng.ru/nvoexpert/2019-10-11/7_1065_defence.html (accessed 19.03.2020).

¹⁵ Здесь и далее перевод автора с официальной английской версии текста китайского правительства.

щивает возможность быстро переправить войска и технику через узкий пролив. В прошлом превосходство США и Тайваня¹⁶ в авиации и ВМС исключало такие действия, но в последние десять лет наращивание ВВС, ПВО, ракетных сил и флота Китая неуклонно сводит на нет эти преимущества.

Впрочем, стратегические планы Пекина простираются далеко за рамки АТР. Помимо сухопутного маршрута в Европу через Южную и Центральную Азию, грандиозная пекинская концепция “Один пояс — один путь” предусматривает интенсивное развитие морского судоходства, сопровождать которое призван военный флот КНР. Военно-морские силы Китая постоянно развернуты в Индийском океане, а в последнее время в содружестве с Россией пришли в Средиземное и Балтийское моря. Китай строит ледоколы и проявляет живой интерес к использованию Северного морского пути через Арктику (ресурсы которой объявляет всемирным достоянием). В 2017–2019 гг. китайский военный флот провел больше дальних походов, чем за прошлые 30 лет [China Naval... 2019: 19]. Наряду со строительством автономных авианосных соединений, КНР последовательно создает систему военно-морских баз и опорных пунктов (названную по-китайски романтично — “нить жемчуга”) в Тихом и Индийском океанах для доступа в Южную Азию, на Ближний Восток, в Африку и Латинскую Америку.

Исходя из приведенного анализа, требование администрации Трампа привлечь Китай к процессу контроля над вооружениями — не политический заскок или конъюнктурный маневр. Озабоченность по поводу роста экономической и военной мощи КНР и ее внешних амбиций назревала в Вашингтоне в течение последнего десятилетия и ныне проявилась в крутом повороте американской политики как в военном строительстве, так и в контроле над вооружениями.

41

ТИХООКЕАНСКАЯ РАКЕТНО-ЯДЕРНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Предметный анализ перспектив контроля над вооружениями (в отличие от отвлеченно-теоретического¹⁷) невозможен без исследования его материальной основы: вооружений, программ их развития и стратегических концепций применения. Ядерный баланс в АТР имеет смешанный характер. Стратегические силы России, США и Китая ввиду их дальности действия являются не региональным, а глобальным военным фактором, даже если они развернуты в данном регионе. К региональному балансу больше относятся системы средней дальности (как ракеты, запрещенные в прошлом по ДРСМД). Но при размещении в Азии они имели бы для США характер оружия театра военных действий, а для России и Китая стали бы равнозначны стратегической угрозе. Аналогичные средства России и КНР имели бы стратегический потенциал с точки зрения Японии, Южной Кореи и других соседних стран. Кроме того, трехсторонний стратегический баланс в АТР имеет неоднородный характер из-за различий в военно-политических отношениях трех держав.

Стратегические отношения России и США на глобальном уровне представляют собой образец классического взаимного ядерного сдерживания на основе

¹⁶ Между США и Тайванем нет договора о взаимной безопасности, как с Японией и Южной Кореей. Однако в 1979 г. в Конгрессе США был принят “Закон об отношениях с Тайванем”, который гарантировал последнему американскую военную поддержку.

¹⁷ В качестве примера такого подхода см. [Караганов, Суслов 2019].

паритета и сравнимых потенциалов обоюдного уничтожения ответным ударом¹⁸. Вместе с тем стабильность баланса ныне расшатывается из-за распада договоров по контролю над вооружениями и развития новейших ядерных и обычных оборонительных и наступательных систем оружия и военных технологий.

Отношения США и Китая тоже имеют выраженный характер взаимного ядерного сдерживания. Но оно не равновесно по количественным и качественным параметрам — США обладают многократным превосходством на глобальном уровне при ярко выраженной региональной асимметрии сторон. К тому же баланс сил при его высокой динамике не регламентирован договорами по контролю над вооружениями.

Самая большая неопределенность — своего рода “бином Ньютона” — это отношения России и Китая. До конца 1980-х годов две державы были врагами и имели примерно такие же стратегические отношения, какие сейчас присутствуют между КНР и США, но при гораздо большем перевесе в пользу СССР. Ныне стороны постоянно объявляют друг друга стратегическими партнерами¹⁹. Однако эти отношения не сходны с альянсом США, Великобритании и Франции в НАТО, поскольку Россия и КНР не являются полновесными военными союзниками, не имеют общей военной стратегии и разделения оборонной ответственности, не отягощены обязательствами воевать за интересы друг друга (например, за Крым или Тайвань).

При том, что материальное соотношение сил по системам стратегической и средней дальности (не говоря уже о силах общего назначения) заметно меняется в пользу Китая, эти отношения нельзя определить как взаимное ядерное сдерживание в свете растущего военно-политического сотрудничества двух держав. Возможно, оно вступило в качественно новый этап осенью 2019 г. с объявлением плана российской помощи в создании китайской системы раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН)²⁰. Сотрудничество в столь деликатной и центральной сфере национальной безопасности больше характерно для союзнических отношений государств (как между США и Великобританией, Канадой и Данией²¹). В то же время наращивание китайского ядерного потенциала, по всей видимости, негласно беспокоило Россию. Недаром в ходе прошлой критики двустороннего характера ДРСМД в Москве высказывалась озабоченность по поводу ракет средней дальности третьих стран, включая КНР²².

¹⁸ Договор СНВ-3 от 2010 г. ограничивает силы каждой стороны потолком в 700 развернутых стратегических носителей и 1550 боезарядов. По состоянию на 2020 г. Россия имеет 513 развернутых носителей и 1 426 боезарядов, а США — 668 развернутых носителей и 1 374 боезаряда. Договор СНВ-3 истекает в марте 2021 г., и перспективы его продления на 5 или менее лет сейчас неясны.

¹⁹ Путин рассказал о помощи КНР в создании системы предупреждения о ракетном нападении. — *Интерфакс*. 03.10.2019. URL: <https://www.interfax.ru/world/679050> (accessed 20.05.2020).

²⁰ Там же.

²¹ США и Канада включены в Североамериканское командование противовоздушной обороны, а на территории Великобритании и Дании (в Гренландии) размещены американские радары (РЛС) СПРН.

²² Встреча со студентами Национального исследовательского ядерного университета “МИФИ”. — *Президент России. Официальный сайт*. 22.01.2014. URL: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/20098> (accessed 20.05.2020); Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. — *Президент России. Официальный сайт*. 10.02.2007. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034> (accessed 20.05.2020); Договор по РСМД не может действовать бесконечно, заявил Иванов. — *РИА Новости*. 21.06.2013. URL: <https://ria.ru/20130621/945019919.html> (accessed 20.05.2020).

В течение 1990–2020 годов при сокращении суммарного мирового ядерного потенциала²³ примерно вчетверо доля в нем России и США сократилась лишь с 98% до 91%²⁴. В ближайшее десятилетие, помимо двух сверхдержав, остальные государства не планируют наращивать свои ядерные силы (Великобритания, Франция, Израиль) или могут увеличить их весьма незначительно (Индия, Пакистан, КНДР). Неопределенность есть лишь в отношении Китая — единственной из пяти ведущих ядерных держав, которая держит свои ядерные силы и программы их развития в полной тайне и в то же время имеет финансовые и промышленно-технологические возможности существенно (в разы) повысить численность своего ядерного арсенала за следующее десятилетие.

Ввиду неопределенности российско-китайских стратегических отношений трудно представить себе переговоры между двумя государствами по контролю над вооружениями. Перспективы трехстороннего формата зависят, в первую очередь, от возможности переговоров Китая и США, а также США и России. Соединенные Штаты едва ли согласятся на ограничение своих систем стратегического класса и средней дальности на переговорах с КНР, если одновременно не будут ограничены аналогичные силы России. А достижение соглашений с Москвой ставится в Вашингтоне в зависимость от ограничения соответствующих китайских вооружений.

АМЕРИКАНО-КИТАЙСКАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

Пока Пекин категорически отвергает предложения Вашингтона присоединиться к переговорам по ракетам средней дальности, продлению ДСНВ-3 и по следующему стратегическому соглашению. Как было сказано в мае 2019 г., “не существует абсолютно никаких предпосылок и оснований для трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями, и Китай никогда не будет в них участвовать”²⁵. Что касается России, то после десяти с лишним лет агитации за переход к многостороннему формату ядерного разоружения²⁶ она безоговорочно поддержала китайский отказ со ссылкой на большое отставание КНР от двух сверхдержав по величине ядерного потенциала²⁷.

На позиции Пекина по данному вопросу, вероятно, сказывается нежелание открыть информацию о своих ядерных силах, которая, может быть, продемонстрировала бы значительно больший ядерный потенциал Поднебесной, чем обычно считают за рубежом. Открытие информации увязывают в КНР с принятием США и Россией обязательства о неприменении первыми ядер-

43

²³ В 1990 г. в “ядерный клуб” входили СССР, США, Великобритания, Франция, КНР, Израиль и ЮАР. Ныне в него входят Россия, США, Великобритания, Франция, КНР, Израиль, Индия, Пакистан и КНДР.

²⁴ Подсчитано на основе [SIPRI Yearbook... 1991: 3–54; SIPRI Yearbook... 2019: 289–247].

²⁵ Foreign Ministry Spokesperson Lu Kang’s Regular Press Conference on May 20, 2019. URL: <https://www.fmprc.gov.cn/ce/celv/eng/fyrth/t1665026.htm> (accessed 07.09.2019); Speech and the Following Discussion at the Munich Conference on Security Policy. 10.02.2007. URL: <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034> (accessed 20.05.2020); Prime Minister Vladimir Putin meets with experts in Sarov to discuss global threats to national security: strengthening Russia’s defences and enhancing the combat readiness of its armed forces. 24.02.2012. URL: <http://archive.government.ru/eng/docs/18248/> (accessed 20.05.2020).

²⁶ Пленарное заседание Восточного экономического форума. — Президент России. Официальный сайт. 05.09.2019. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/61451> (accessed 20.05.2020).

²⁷ Там же.

ного оружия, что не имеет никаких логических стратегических оснований и твердо отвергается обеими сверхдержавами²⁸.

Но дело не только в позиции Пекина. Помимо благих пожеланий никто и никогда пока не предложил ему таких вариантов соглашений, при которых улучшилось бы военно-стратегическое положение Китая, а именно — если бы в обмен на ограничение китайских сил были ограничены беспокоящие его вооружения США. Другим неперенным условием является, чтобы соглашение не стало легализацией превосходства двух сверхдержав по тем или иным параметрам стратегической мощи. Хотя Китай заявляет, что не стремится к военному паритету с США и Россией, он будет претендовать на равноправие с двумя государствами в глобальном и региональном измерениях.

Стратегическая озабоченность Китая связана с рядом факторов. Во-первых, это развитие американской системы противоракетной обороны (ПРО) на глобальном уровне и в АТР. Преобладающая часть противоракетного потенциала США, действительно, развернута в регионе, даже если его отдельные элементы имеют глобальное назначение²⁹. Эти средства оправдываются задачей защиты от ракетной угрозы КНДР, но Китай естественно проецирует потенциал американской обороны на себя. Во-вторых, КНР постоянно ощущает над собой дамоклов меч ударной мощи ядерных и высокоточных неядерных вооружений США [Acton 2013: 17-21].

Комбинация наступательных и оборонительных средств США на глобальном и региональном уровнях, с нарастающим акцентом на конфронтацию с Китаем, заставляет Пекин опасаться массированного высокоточного неядерного удара, на который он не сможет ответить, если будет следовать своему обязательству о неприменении первым ядерного оружия. А разоружающий ядерный удар, возможно, не оставит Китаю выживших средств для возмездия. Такая угроза ставит под сомнение состоятельность официальной китайской военной доктрины, согласно которой КНР “привержена принципам обороны, самообороны и ответного удара после нападения (противника)...”. Она придерживается позиции “мы не нападём, если на нас не нападут, но мы, конечно, контратакуем, если повергнемся атаке” [China’s National Defense... 2019: 8].

Что касается китайского потенциала, то по данным СИПРИ (за исключением официальной китайской информации), у КНР сейчас есть порядка 290 ядерных боезарядов, в том числе 140 единиц стратегических ядерных ракет наземного и морского базирования, а также около 100 ядерных ракет средней дальности тех видов и типов, которые были запрещены Договором РСМД [SIPRI Yearbook... 2019: 320]. Впрочем, из-за китайской скрытности зарубежные оценки разнятся в широком диапазоне. По мнению некоторых авторитетных специалистов, Китай может иметь до 1 800 ядерных боеприпасов³⁰, из которых 900 предназначены для различных носителей [Есин 2012: 27-35]. Расхождение в три раза с другими источниками обусловлено невозможностью точно оценить число бомб

²⁸ Для планирования и нацеливания первого ядерного удара используется не обмен информацией по договорам, а данные собственной военной разведки.

²⁹ Здесь размещены 3 из 5 больших РЛС ПРО/СПРН, 3 из 6 транспортируемых РЛС Х-диапазона, 44 стратегических антиракет (на Аляске и в Калифорнии), 16 из 23 кораблей с системой ПРО “Иджис”, плюс 6 японских кораблей с ПРО “Иджис”, а также на японской территории система ПРО “Пэтриот” и планируемая система “Иджис-Ашор”, плюс недавние планы размещения системы ПРО ТХААД в Южной Корее [Dvorkin, Pyriev 2013].

³⁰ Есин В. Третий после США и России. — *Военно-промышленный курьер*. 30.04.2012. URL: <http://vpk-news.ru/articles/8838> (accessed 20.05.2020).

свободного падения и авиационных ракет самолетов средней дальности и фронтовой авиации, как и оперативно-тактических систем сухопутных войск и флота.

Неопределенность связана также с гигантскими высокозащищенными туннелями, построенными инженерными частями китайских стратегических ракетных войск. Их предназначение замалчивается, но его едва ли можно объяснить иначе, нежели размещением мобильных ракет стратегической и средней дальности в качестве потенциала гарантированного, хоть и отложенного по времени ответного удара. Как ни парадоксально, эта версия является единственным стратегическим (в отличие от пропагандистского) доводом в пользу правдивости обязательства Китая о неприменении ядерного оружия первым. В ином случае эта доктрина не вызывает доверия ввиду высокой уязвимости³¹ открытых для наблюдения ядерных сил Китая и объектов информационно-управляющей системы.

Перспективы наращивания китайского ядерного потенциала являются фактором серьезной озабоченности Вашингтона. Официальный прогноз состоит в том, что “в течение следующего десятилетия Китай, вероятно, удвоит размер своего ядерного арсенала в ходе осуществления самого быстрого в китайской истории расширения и диверсификации ядерного потенциала³²”. В зависимости от оценки нынешнего количества, это может подразумевать достижение уровня в 600 – 1 800 всех видов и типов ядерных боезарядов.

Однако в ближайшей перспективе США еще больше беспокоятся о китайских высокоточных ракетах средней и меньшей дальности не только в ядерном, но и в обычном оснащении, которых в Пентагоне насчитывают до 2 000 единиц и которые способны поражать американские авианосцы и объекты в Японии, Южной Корее, на Тайване и Гуаме [Cohn et al. 2019: 5]³³. Угрозой таких китайских вооружений, в частности, оправдывался выход США из ДРСМД и их план развертывания в Азии новых ракет средней дальности.

Казалось бы, зачем США наземные системы, если у них есть огромное превосходство в морской и воздушной мощи? Как утверждают сторонники этого плана, в условиях вероятного кризиса американские гарантии безопасности азиатским союзникам (Япония, Южная Корея) и партнерам (Тайвань, Филиппины) будут поставлены под сомнение из-за уязвимости их сил передового базирования на немногочисленных аэродромах и в портах в случае массированного китайского удара с применением неядерных ракет. Такая угроза заставит США перебазировать свои самолеты и корабли за пределы досягаемости ракет КНР – на Гавайи или даже в Австралию на расстояние многих тысяч километров [ibid.: 8-9].

Главными кандидатами на развертывание ракетных сил США в Азии являются баллистические ракеты с наведением на конечном участке траектории, наземный вариант морской крылатой ракеты “Томахок”, баллистические ракеты средней дальности с корректируемой траекторией или ракетно-пла-

³¹ В СЯС Китая сейчас есть только 40 межконтинентальных наземно-мобильных ракет, тогда как остальные межконтинентальные ракеты размещены в уязвимых шахтных пусковых установках, а ракетные подводные лодки не ведут постоянного морского дежурства [SIPRI Yearbook... 2019: 320].

³² Ashley R.P.Jr. 2019. *Russian and Chinese Nuclear Modernization Trends: Remarks at the Hudson Institute*. URL: <https://www.dia.mil/News/Speeches-and-Testimonies/Article-View/Article/1859890/russian-and-chinese-nuclear-modernization-trends/> (accessed 20.05.2020).

³³ *Remarks at a UN Security Council Briefing on Threats to International Peace and Security*. 22.08.2019. URL: <https://usun.usmission.gov/remarks-at-a-un-security-council-briefing-on-threats-to-international-peace-and-security/> (accessed 20.05.2020).

нирующая гиперзвуковая система, разрабатываемая в рамках программы “Быстрого конвенционального глобального удара”³⁴.

Сторонники таких систем (и, соответственно, выхода из ДРСМД) указывают на их преимущества по сравнению с морскими или воздушными средствами. Они утверждают, что самолеты, корабли и подводные лодки намного дороже в качестве платформ для высокоточных ракетных средств. Флоту и авиации требуется время для выдвижения на рубежи пуска ракет, а системы передового наземного базирования стоят в постоянной боеготовности в пределах досягаемости до целей с коротким полетным временем для удара по системам мобильного базирования или быстрого реагирования [ibid.: 32–33].

В политическом смысле главной проблемой для США станет поиск мест базирования их новых ракет средней дальности (РСД). Теоретически их можно разместить в Японии, Южной Корее, на Тайване, Филиппинах, островах Диего-Гарсия, Алеутах, Гуаме и в Австралии. Однако по внутри- и внешнеполитическим причинам это почти везде сопряжено с большими проблемами. Кроме того, Австралия, как Диего-Гарсия и Алеуты, слишком далеко (4 500 – 5 500 км), а Тайвань и Южная Корея слишком близко (50–130 км), что может спровоцировать упреждающий удар Китая. Единственное место, не связанное с политическими и географическими трудностями, это остров Гуам – подконтрольная США территория. Но он очень мал (50 км в длину и 12 в ширину). Если США намерены сдерживать угрозу упоминаемых ими 2 000 китайских ракет средней и меньшей дальности, они едва ли смогут разместить на острове достаточные силы, не представляя заманчивую скученную цель для массированного обычного (и тем более ядерного) упреждающего удара КНР.

Исключительно жесткая реакция на действия США будет иметь место не только со стороны Китая (в виде наращивания и модернизации СЯС и ракет средней дальности), но также и России – в случае развертывания американских РСД в Японии и Южной Корее. В качестве ответных действий российские ракеты могут быть размещены против Японии и Южной Кореи на Южных Курилах и в Приморье, а против США – на Чукотке, откуда они смогут держать под ударом базы ПРО и радары СПРН, другие военные и промышленные объекты на Аляске и в Калифорнии³⁵.

Тем не менее, в Вашингтоне полагают, что стратегические преимущества от развертывания их РСД в Азии перевесят негативные последствия. Видимо, эту угрозу хотят использовать и для давления на Пекин, чтобы усадить его за стол переговоров и заставить резко сократить или вовсе ликвидировать ракеты средней дальности. Однако американское руководство, судя по всему, пока не продумало план хотя бы на несколько ходов вперед.

Говоря о китайской “угрозе” в составе 2 000 ракет, официальные представители США отмечают, что речь идет не только и не столько о ядерных, но и

³⁴ Эти системы соответственно называются соответственно *Precision Strike Missile (PrSM)* с дальностью 700 км, *Tomahawk BGM-109G* с дальностью 1 000 км, *ground-launched intermediate-range ballistic missile with trajectory shaping vehicles (TSVs)*, *boost-glide Long Range Hypersonic Weapon (LRHW)* с дальностью 4 000 – 6 800 км. Развертывание возможно в 2023–2024 гг. См. Pifer S. The Death of the INF Treaty has Given Birth to New Missile Possibilities. – *The National Interest*. 18.09.2019. URL: <https://nationalinterest.org/feature/death-inf-treaty-has-given-birth-new-missile-possibilities-81546> (accessed 20.05.2020); Кетонов С. “Локхид Мартин” обошли на гиперзвуке. – *Военно-промышленный курьер*. 10.09.2019. URL: <https://vpk-news.ru/articles/52363> (accessed 20.05.2020).

³⁵ Широкоград А.Б. Оружие Судного дня. – *Независимое военное обозрение*. 07.06.2019. URL: http://nvo.ng.ru/realty/2019-06-07/6_1047_day.html (accessed 10.03.2020).

о неядерных системах³⁶. После денонсации ДРСМД в Вашингтоне официально ведут речь о развертывании в Азии именно неядерных наземных ракет средней дальности³⁷. Это значит, что в рамках гипотетического следующего договора речь должна идти о наземных ракетах как в ядерном, так и в обычном оснащении.

По прошлому опыту переговоров по контролю над вооружениями, они могут быть успешны, если приведут к установлению равных потолков на сопоставимые системы оружия. Если такого рода равенство планировать на уровне нынешних китайских наземных ракет средней и меньшей дальности, то Китай должен будет согласиться ограничить свои существующие силы в обмен на право США и России развернуть до 2 000 будущих средств этого класса. Если ограничить ракеты на более низком уровне (вплоть до нуля), то Пекин опять-таки ничего не получит в обмен на сокращение своих развернутых сил. Понятно, что он не согласится на подобные варианты неравного размена, тем более, в свете огромного превосходства двух других держав по стратегическим вооружениям.

Если КНР пойдет на переговоры, то, скорее всего, будет настаивать на включении под общий потолок крылатых ракет не только наземного, но и морского базирования³⁸. Последних у США имеется более 5 000 единиц на всех флотах и, видимо, немало есть у России (которая, по официальным сообщениям, за последнее время увеличила их число в 30 раз³⁹). Огромную проблему верификации создал бы просто подсчет числа таких ракет. Они размещаются в универсальных пусковых установках надводных кораблей наряду с зенитными и противолодочными ракетами, а также могут запускаться из торпедных аппаратов многоцелевых подводных лодок. Ко всему, мобильность флотов не позволяет ограничить их вооружения региональными рамками (в отличие от наземных ракет средней дальности), и потому Китай будет вправе требовать глобальных потолков.

Рассмотренная возможная позиция КНР была бы вполне обоснованна с точки зрения логики контроля над вооружениями и поставила бы США в исключительно трудное положение. Китай получил бы большой политический бонус даже в случае провала переговоров по чужой вине. А в случае их успеха он обрел бы огромный стратегический выигрыш, о чем, вероятно, еще не подумали в Вашингтоне.

Что касается участия Китая в следующем договоре по СНВ, о чем также говорят в Белом доме, то проблемы двух сверхдержав могут оказаться еще серьезнее. Например, даже не претендуя на паритет, КНР могла бы потребовать договорно-правового равенства по стратегическим вооружениям на нынешнем китайском уровне (что потребовало бы сократить потолки СНВ-3 в пять раз по

³⁶ Уровень в 2 000 ракет вызывает сомнение. Вероятно, это не число ракет категории ДРСМД, т.е. с дальностью 500–5500, а количество всех китайских наземных ракет (помимо стратегических), в том числе тактических с дальностью менее 500 км. Однако США не детализировали свою оценку.

³⁷ *Under Secretary Thompson's Statement for the Record Testimony Before the Senate Committee on Foreign Relations "The Future of Arms Control Post-Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty*. 15.05.2019. URL: https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/051519_Thompson_Testimony.pdf (accessed 20.05.2020).

³⁸ Авиационные ракеты дальностью свыше 600 км размещаются на тяжелых бомбардировщиках, которые являются предметом Договора СНВ-3.

³⁹ Послание Президента Федеральному Собранию. — *Президент России. Официальный сайт*. 01.03.2018. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957> (accessed 15.03.2019).

носителям и в десять раз по боезарядам)⁴⁰. Другой возможный вариант — легализация права Китая во столько же раз нарастить свои вооружения до нынешних потолков ДСНВ-3, диктующих уровни СЯС России и США. Трудно сказать, что вызвало бы больший протест со стороны Вашингтона и России.

РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

В течение последних тридцати лет переговоры СССР/России и США по СНВ основывались на согласованной концепции стратегической стабильности”, сформулированной в июне 1990 г. в Совместном Заявлении России и Соединенных Штатов⁴¹. Эта концепция определялась как стратегические отношения, устраняющие “*стимулы для нанесения первого ядерного удара*”. Стимулы для первого ядерного удара по умолчанию понимались, во-первых, как способность нанести массированный разоружающий удар по другой стороне и отразить возмездие с помощью своей системы ПРО. Во-вторых, как упреждающий ядерный удар из страха перед разоружающим ударом оппонента.

Концепция стратегической стабильности воплотилась в Договоре СНВ-1 (1991 г.), СНВ-2 (1993 г.) и текущем Договоре СНВ-3 (от 2010 г.). В итоге этих соглашений стратегический баланс, действительно, стал намного более стабильным (по критериям, согласованным в 1990 г.), чем было на пороге 1990-х годов. Разоружающий ракетно-ядерный удар стал невозможен, в чем состоит фундамент стратегической стабильности, который необходимо сохранить при любых условиях.

Но впредь этого недостаточно, поскольку стимулом для первого ядерного удара может стать стремление с помощью ограниченного (избирательного) применения ядерного оружия избежать поражения в обычной войне, включая даже локальные конфликты. Соединенные Штаты поставили во главу угла своей ядерной стратегии концепцию и средства ограниченной ядерной войны, которые призваны сорвать аналогичные планы, вменяемые России⁴². Другой возможный новый стимул первого ядерного удара — это ответ на нападение с применением новых высокоточных средств большой дальности (свыше 500 км), способных поражать обычными боезарядами цели, которые в прошлом можно было уничтожить только с использованием ядерных боеприпасов. На смену дозвуковым крылатым ракетам средней дальности создаются межконтинентальные гиперзвуковые планирующие системы⁴³.

⁴⁰ Фактически Китай именно так ставит вопрос, обуславливая свое участие в СНВ сокращением СЯС двух сверхдержав до нынешнего китайского уровня, правда, сохраняя этот уровень в секрете.

⁴¹ См. *Soviet-United States Joint Statement on Future Negotiations on Nuclear and Space Arms and Further Enhancing Strategic Stability*. 01.06.1990. URL: <https://bush41library.tamu.edu/archives/public-papers/1938> (accessed 20.05.2020); Совместное заявление относительно будущих переговоров по ядерным и космическим вооружениям и дальнейшему укреплению стратегической стабильности. Государственный визит Президента СССР М.С. Горбачёва в Соединенные Штаты Америки, 30 мая — 4 июня 1990 года. — *Документы и материалы*. М.: Политиздат. 1990.

⁴² *Nuclear Posture Review*. Office of the Secretary of Defense. February 2018, Washington, DC. URL: <https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL-> (accessed 01.03.2018).

⁴³ В частности, такие системы испытываются в США в рамках программы “Быстрого конвенционального глобального удара”, например, ракетно-планирующая “Альтернативная система входа в атмосферу” (*ARS — Alternate Re-entry System*). Параллельно испытывается гиперзвуковая авиационная крылатая ракета Икс-51А “УэйвРайдер” (*X-51A WaveRider*) для оснащения тяжелых бомбардировщиков. Россия

Таким образом, две сверхдержавы вступают в цикл масштабной гонки вооружений. Соединенные Штаты планируют с середины 2020-х годов начать полное обновление своей стратегической триады: по одной новой системе на смену нынешним наземным и морским ракетам и тяжелым бомбардировщикам⁴⁴. Россия продолжает модернизацию своей триады тремя (или четырьмя) наземными ракетными системами (“Ярс”, “Авангард”, “Сармат” и возможно “Рубеж”), одной системой морского базирования (подводные лодки “Борей” и ракеты “Булава-30”) и двумя авиационными системами (Ту-160М и ПАК ДА).

Пределы новому циклу гонки вооружений можно поставить только путем согласования сторонами обновленной концепции стратегической стабильности и ее воплощения в последующие договоры об ограничении и сокращении вооружений. В повестке дня переговоров России и США стоит ряд серьезных задач, не обязательно подразумевающих привлечение Китая к их решению. После денонсации ДРСМД двум державам следует, как минимум, принять мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности на Европейском континенте и согласовать меры инспекций применительно к существующим системам, вызывающим взаимные обвинения в нарушении ДРСМД⁴⁵.

Одновременно необходимо продлить Договор СНВ-3 на 5 лет после 2021 г. и срочно начать диалог о следующем договоре. Его потолки не так важны, как охват следующего соглашения, которое должно регламентировать высокоточные системы обычного оружия и средства ограниченной ядерной войны. В потолки на стратегические боезаряды следующего договора СНВ следует включить любые (ядерные и обычные) ракеты воздушного базирования свыше определенной дальности и засчитывать их по реальному оснащению бомбардировщиков. Морские крылатые ракеты большой дальности можно охватить мерами доверия (уведомление о массовом выходе в море их носителей).

К проблеме ограничения ядерного оружия для избирательного использования можно подойти через ограничение ядерных авиабомб на стратегических бомбардировщиках (в том числе В-61-12). Баллистические и крылатые ракеты с боезарядами пониженной мощности будут подпадать под ограничения соответствующих следующих соглашений по СНВ и РСМД. При достижении новых договоров по разведению и сокращению вооруженных сил общего назначения (по типу ДОВСЕ) откроется возможность ограничения тактического ядерного оружия.

Параллельно следует инициировать переговоры по космическим вооружениям, начав с запрещения испытаний любых противоспутниковых систем по реальным мишеням в космосе. Также необходимо перейти к диалогу по взаимному отказу от средств и методов кибератак против стратегических информационно-управляющих систем друг друга.

опережает США по развертыванию гиперзвукового планирующего крылатого блока (ПКБ) для установки на межконтинентальных ракетах типа РС-18 (УР-100УТТХ) или по западному индексу SS-19. Об этой гиперзвуковой системе под наименованием “Авангард” рассказал президент Путин в своем Послании от 1 марта 2018 г., хотя неясно, может ли она нести высокоточный неядерный боезаряд.

⁴⁴ *Nuclear Posture Review*. Office of the Secretary of Defense, February 2018, Washington, DC. P. 23. URL: <https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL-> (accessed 01.03.2018).

⁴⁵ В первую очередь, речь идет об определении дальности российских крылатых ракет 9М729 “Новатор” в пределах 500 км и исключении размещения американских крылатых ракет типа “Томахок” в пусковых установках ПРО в Румынии и Польше.

Помимо больших политических и военно-технических препятствий на этом пути, проблема существенно усугубляется требованием США присоединить к переговорам Китай. Как было показано выше, сделать это механически невозможно. Но при наличии политической воли и профессиональном подходе всех сторон компромисс все-таки достижим с опорой на следующий договор по СНВ между Россией и США.

ТРЕХСТОРОННИЙ ФОРМАТ

При благоприятной политической среде можно было бы заключить интегрированный договор СНВ/РСМД в трехстороннем формате. Скорее всего, уровень в 2 000 ракет средней и меньшей дальности, который в США насчитали у Китая, завышен, как минимум, вдвое. По Договору СНВ-3 потолок для боезарядов России и США составляет 1 550 единиц, но с учетом реальной загрузки тяжелых бомбардировщиков крылатыми ракетами и авиабомбами реальный уровень боезарядов составляет примерно 2 100 – 2 200 единиц [Manzo 2019: 52–53].

Гипотетически новый интегрированный договор мог бы установить для трех сторон равный потолок, скажем, в 1 400 боезарядов, но в отличие от ДСНВ-3, в него нужно включить не только наземные, морские стратегические ракеты и тяжелые бомбардировщики⁴⁶, но еще авиационные ракеты бомбардировщиков, а также наземные ракеты средней и меньшей дальности (свыше 500 км). Этот договор (как ДСНВ-3 и ДРСМД) не проводил бы различия между ядерными и обычными боезарядами на ракетах и включал бы, в том числе, авиационные ракеты в обычном оснащении с дальностью более 600 км⁴⁷, а также, впервые в истории договоров ОСВ/СНВ, ядерные бомбы свободного падения.

Тогда Китай будет иметь право наращивать свои стратегические силы (ныне около 140 единиц по носителям и боезарядам), параллельно сокращая соответствующее количество ракет средней дальности, которые так беспокоят США. А две ядерные сверхдержавы могли бы по своему усмотрению развертывать ракеты средней и меньшей дальности, но за счет соответственного сокращения своих стратегических вооружений. Для предотвращения быстрого наращивания стратегических ракет в пределах потолка в 1 500 боезарядов, можно было бы установить для трех сторон подуровень, например, в 600 развернутых стратегических носителей⁴⁸. Режим верификации был бы примерно таким же, как по ДСНВ-3 и ДРСМД, а по засчету вооружения тяжелых бомбардировщиков – как в ДСНВ-1, с некоторыми дополнениями⁴⁹.

Согласно приведенным выше соображениям стратегической стабильности, новый договор охватывал бы как ядерные бомбы свободного падения, ядер-

⁴⁶ По ДСНВ-3 тяжелые бомбардировщики засчитываются как один носитель и один боезаряд.

⁴⁷ Такая дальность для КРВБ традиционно согласована для их засчета начиная с Договоров ОСВ-2 (1979 г.) и СНВ-1 (1991 г.). Это относится к американским системам *AGM-183 ARRM*, *AGM-158 JASSEM*, *X-51A WaveRider* и российским ракетам X-555, X-101 и “Кинжал” (в случае установки на самолеты, подпадающие под определение “тяжелый бомбардировщик”).

⁴⁸ Сейчас по ДСНВ-3 это потолок составляет 700 единиц на развернутые носители.

⁴⁹ По ДСНВ-1 крылатые ракеты воздушного базирования (КРВБ) на бомбардировщиках засчитывались индивидуально в потолках на боезаряды, но ядерные авиабомбы засчитывались условно как 1 боезаряд на каждом бомбардировщике, не несущем КРВБ. Бомбардировщики, несущие неядерные КРВБ и обычные авиабомбы, были переоборудованы для неядерных задач и вообще не засчитывались в потолках Договора. Эти самолеты базировались на отдельных аэродромах, не ближе чем в 100 км от хранилищ ядерных бомб и КРВБ. Все эти условия контролировались путем инспекций на местах.

ные крылатые ракеты, так и неядерные авиационные ракеты, которые снижают “ядерный порог”. Это было бы логично и потому, что договор ограничивал бы как ядерные, так и обычные наземные ракеты средней и малой дальности.

От представленного варианта договора КНР получила бы равный с двумя сверхдержавами стратегический статус и признание ими (пусть по умолчанию) права Китая на паритет и стабильное взаимное сдерживание. Не менее важно, что КНР выиграла бы от ограничения новейших ядерных и высокоточных обычных наступательных систем стратегической и средней дальности США, создающих для Китая угрозу разоружающего удара.

Со своей стороны, Россия и США, помимо урегулирования упомянутых проблем стратегической стабильности между собой, поучили бы гарантии предсказуемости и пределов наращивания китайского потенциала ядерных и обычных вооружений стратегического назначения и средней дальности. Значительно расширилась бы транспарентность китайских сил и программ. Сюда относится и предназначение упомянутых выше тоннелей, поскольку КНР должна будет раскрыть число размещенных там мобильных ракет или доказать их отсутствие и объяснить иное предназначение этих сооружений.

В рамках нового договора признание права КНР иметь равное с США и Россией количество вооружений стратегической дальности не вызовет энтузиазма в Вашингтоне (да, наверное, и в Москве). Но и без договора Китай может сравняться с двумя сверхдержавами, если примет такое политическое решение. А в рамках договора он должен будет ради этого жертвовать большим количеством ракет средней дальности, что весьма сомнительно, учитывая его геостратегическое положение и региональные амбиции. Со своей стороны, США и Россия будут вынуждены сокращать стратегические вооружения ради развертывания наземных ракет средней дальности. Аргументы в пользу таких систем с обеих сторон невразумительны, а сопряженные опасности, как было отмечено выше, вполне предсказуемы и очень серьезны.

Отношение официального Вашингтона к рассмотренной проблеме пока на редкость сумбурно. Иллюстрация — недавний брифинг высокопоставленного представителя госдепартамента, заявившего: “Мы находимся в процессе рассмотрения возможности продления Нового СНВ (т.е. ДСНВ-3. — А.А.), принимая во внимание набор угроз, которые сегодня стоят перед нами... Мы должны быть уверены, что охватим не только то, что включено в Новый СНВ, но также ряд новейших российских систем, которые развиваются и не включены в Новый СНВ... И мы надеемся найти ответ на вызовы, которые представляют российские большие и все более разнообразные нестратегические системы... Привлечение Китая тоже критически важно. Это не только вопрос количества, хотя количество тоже все более значительно, но и вопрос дальности и разнообразия как ядерных, так и неядерных носителей”⁵⁰.

При всей невнятности позиции США объективности ради следует отметить, что и нынешний подход России к проблеме остается весьма туманным. Предложенный выше вариант нового интегрированного договора — это

⁵⁰ U.S. Department of State. Briefing with Senior State Department Official on the New START. Special Briefing. 09.03.2020. URL: <https://www.state.gov/briefing-with-senior-state-department-official-on-the-new-start/> (accessed 20.05.2020).

попытка профессионально рассортировать грудю проблем, нагроможденных Вашингтоном, и предложить схему возможного подключения Китая к процессу ядерного разоружения. Данный вариант, естественно, не свободен от недостатков⁵¹. Однако его претворение в жизнь все же могло бы улучшить положение, по сравнению с тем, которое сложится в отсутствие ДРСМД и при отказе от продления ДСНВ-3 и заключения следующего стратегического соглашения.

Главный вывод из приведенного анализа состоит в том, что расширение формата контроля над ядерным оружием — дело очень трудное, но гипотетически осуществимое. Однако, как говорится, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Приверженцам перехода к многостороннему ядерному разоружению (в прошлом в Москве, а теперь в Вашингтоне) пора уяснить себе, что он предполагает не только пересмотр нынешних позиций третьих стран. За такое переформатирование пришлось бы намного дороже заплатить двум ядерным сверхдержавам — как в военно-стратегическом, так и в политическом отношениях.

Если цена перехода к многостороннему формату покажется сегодня слишком высокой, это не причина для отказа от продолжения двустороннего процесса. Для него накопилось много неотложных задач, решение которых жизненно важно для безопасности России, США и остального мира, как и для сохранения перспективы трансферта к многостороннему контролю над вооружениями в более отдаленном будущем.

Возвращаясь к теме коронавируса, отметим, что появление новых общих опасностей не позволяет “перепрыгнуть” через насущные проблемы, хотя на время отодвигает их на задний план. Вспомним, что теракты 2001 г. породили надежды на объединение стран в борьбе с международным терроризмом, но двадцать лет спустя мир пришел к новой холодной войне и гонке вооружений. Единство рождается, если перед лицом новейших вызовов государства делают решительные шаги к урегулированию прежних противоречий. Только это способно послужить отправной точкой совместной борьбы с грядущими угрозами.

DOI: [10.17976/jpps/2020.04.04](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.04)

CHINA AND ARMS CONTROL: NOT UTOPIA, BUT A REALITY

A.G. Arbatov¹

¹Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations (IMEMO), Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia

ARBATOV, Alexei Georgievich, Full Member of RAS, Director, Center for International Security, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences, email: arbatov@imemo.ru

Arbatov A.G. China and Arms Control: Not Utopia, but a Reality. — Polis. Political Studies. 2020. No. 4. P. 36–54. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.04>

Received: 23.03.2020. Accepted: 29.04.2020

Abstract. The article discusses the possibility of expanding the formats of control over nuclear weapons in a situation where China opposes the invitation of the United States to join the talks

⁵¹ Например, он не ограничивает ракеты средней дальности морского базирования, авиационные носители средней дальности, тактическое ядерное оружие и пр.

on medium-range missiles, the extension of the START-3 and the next strategic agreement. The economic, political and military importance of Asia-Pacific region is growing rapidly. The relationship between the forces and interests of Russia, China and the United States in this region is analyzed. Particular attention is paid to the nuclear balance of forces in the region – weapons, their development programs and strategic concepts of use, as well as the agenda of US-Chinese and Russian-American relations. According to the author, in a favorable political environment, it is possible to create a trilateral format for arms control in the form of an integrated New START / INF treaty with the participation of Russia, the United States and China. Such a format would provide China with equal strategic status with the two superpowers and their recognition (even by default) of China's right to parity and stable mutual deterrence. While Russia and the United States, in addition to resolving a number of bilateral stability issues, would receive guarantees of predictability and the limits of building up Chinese strategic and medium-range nuclear and conventional weapons. At the same time, the author emphasizes the need to continue the bilateral negotiation process as the basis for the transition to multilateral arms control.

Keywords: international security, China, USA, Russia, Japan, nuclear weapons, arms control, Asia Pacific.

References

Acton J.M. 2013. *Silver Bullet? Asking the Right Questions About Conventional Prompt Global Strike*. Washington, Carnegie Endowment for International Peace. URL: <https://carnegieendowment.org/2013/09/03/silver-bullet-asking-right-questions-about-conventional-prompt-global-strike-pub-52778> (accessed 20.05.2020).

China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities – Background and Issues for Congress. 2020. Congressional Research Service. Updated March 18, 2020. CRS Report. URL: <https://fas.org/sgp/crs/row/RL33153.pdf> (accessed 19.03.2020).

China's National Defense in the New Era. 2019. The State Council Information Office of the People's Republic of China. Beijing: Foreign Languages Press Co. Ltd.

Cohn J., Walton N., Lemon A., Yoshihara T. 2019. *Leveling the Playing Field. Reintroducing U.S. Theater-Range Missiles in a Post-INF World*. Center for Strategic and Budgetary Assessments. URL: <https://csbaonline.org/research/publications/leveling-the-playing-field-reintroducing-us-theater-range-missiles-in-a-post-INF-world> (accessed 19.03.2020).

Dvorkin V., Pyriev V. 2013. The U.S./NATO Program and Strategic Stability. – *Missile Defense: Confrontation and Cooperation*. Ed. by A. Arbatov, V. Dvorkin, N. Bubnova. Moscow: Carnegie Moscow Center. P. 183-202. URL: https://carnegieendowment.org/files/Missile_Defense_book_eng_fin2013.pdf (accessed 20.05.2020).

Manzo V. 2019. *Nuclear Arms Control without a Treaty? Risks and Options after the New START*. CNA's Strategy, Policy, Plans, and Programs Division (SP3). Deterrence and Arms Control Paper No. 1. URL: https://www.cna.org/CNA_files/PDF/IRM-2019-U-019494.pdf (accessed 20.05.2020).

SIPRI Yearbook 1990: World Armaments, Disarmament and International Security. 1991. Oxford University Press.

SIPRI Yearbook 2019: Armaments, Disarmament and International Security. 2019. Oxford University Press.

Esin V. 2012. Yadernaya moshch' KNR [China's Nuclear Might]. – *Perspektivy uchastiya Kitaya v ogranichenii yadernykh vooruzhenii* [The Prospects of Chinese Involvement in Nuclear Arms Limitation]. Ed. by A.G. Arbatov, V.Z. Dvorkin, S.K. Oznobishchev. Moscow: IMEMO RAN. P. 27-35. (In Russ.)

Karaganov S., Suslov D. 2019. Deterrence in the New Era. – *Russia in Global Affairs*. No. 4. (In Russ.) URL: <https://globalaffairs.ru/number/Sderzhivanie-v-novuyu-epokhu-20174> (accessed 13.09.2019).

Lukin A., Novikov D. 2019. *Novye mezhdunarodnye otnosheniya v Bol'shoi Evrazii. Rossiiskaya strategiya v menyayushcheysya geopoliticheskoi dinamike* [New International Relations in Big Eurasia. Russian Strategy in a Changing Geopolitical Dynamics]. Moscow: Ves' Mir Publ. (In Russ.)

Policentrichnyj yadernyj mir: vyzovy i novye vozmozhnosti [Polycentric Nuclear World: Challenges and New Opportunities]. 2017. Ed. by A. Arbatov, V. Dvorkin. Moscow: Moscow Carnegie Center. Political Encyclopedia. 222 p. (In Russ.)

Литература на русском языке

Есин В.И. 2012. Ядерная мощь КНР. — *Перспективы участия Китая в ограничении ядерных вооружений*. Под ред. А.Г. Арбатова, В.З. Дворкина, С.К. Ознобищева. М.: ИМЭМО РАН. С. 27-35.

Караганов С., Суслов Д. 2019. Сдерживание в новую эпоху. — *Россия в глобальной политике*. № 4. URL: <https://globalaffairs.ru/number/Sderzhivanie-v-novuyu-epokhu-20174> (accessed 13.09.2019).

Лукин А., Новиков Д. 2019. *Новые международные отношения в Большой Евразии. Российская стратегия в меняющейся геополитической динамике*. М.: Весь Мир.

Полицентричный ядерный мир: вызовы и новые возможности. 2017. Под ред. А. Арбатова, В. Дворкина. М.: Московский Центр Карнеги. Политическая Энциклопедия. 222 с.

DOI: [10.17976/jpps/2020.04.05](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.05)

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ДИНАМИКА В УСЛОВИЯХ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ МИРОПОРЯДКА (НА ПРИМЕРЕ СТРАН ЕС И РОССИИ)

В.В. Лапкин, В.И. Пантин

ЛАПКИН Владимир Валентинович, ведущий научный сотрудник, ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, Москва, email: vvlh@politstudies.ru; **ПАНТИН Владимир Игоревич**, доктор философских наук, зав. отделом ЦСЭПИ, ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, Москва, email: v.pantin@mail.ru

Лапкин В.В., Пантин В.И. Глобальная политико-институциональная динамика в условиях дестабилизации миропорядка (на примере стран ЕС и России). — Полис. Политические исследования. 2020. № 4. С. 55–77. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.05>

Статья поступила в редакцию: 14.04.2020. Принята к публикации: 06.05.2020

Аннотация. В статье проанализированы основные проявления глобальной социально-политической дестабилизации, связанные с растущей неэффективностью многих международных институтов и с усилением дисфункций “униполярной” модели мирового порядка. На примере ЕС и РФ исследовано влияние глобальной дестабилизации на динамику политических институтов на уровне отдельных государств и на наднациональном уровне. Проанализированы некоторые общие тенденции современной политико-институциональной динамики в странах ЕС, связанные с процессами усиления социально-политической дестабилизации. К этим тенденциям, в частности, относятся: падение эффективности традиционных политических партий, растущая поляризация партийно-политических систем; подъем популизма, евроскептицизма и правого радикализма; усиление противоречий во взаимодействии центральных и региональных политических институтов, рост сепаратистских настроений; кризис и принципиальная трансформация структуры и функционала национального государства как идеального типа (nation-state). Показано, что наднациональные политические институты ЕС в целом недостаточно эффективно отвечают на новые вызовы, связанные с инокультурной миграцией, политической поляризацией внутри европейских обществ, кризисом социального государства, глобальной эпидемией COVID-19. Проанализированы причины этой неэффективности. В России, где национальное государство западноевропейского типа по ряду причин не сформировалось, политические институты, имплантированные в 1990-е годы, претерпевают интенсивные изменения, адаптируясь к условиям глобальной дестабилизации в русле иных, нежели модель nation-state, институциональных треков, с элементами имперской социально-политической организации. Итак, первая часть исследования посвящена анализу общих проблем и симптоматики нарастающей глобальной дестабилизации с выходом на исследовательскую задачу описания в трех последующих частях в сравнительной перспективе трех кейсов институциональной динамики (ЕС как система наднациональных институтов, ЕС на уровне национальных государств и РФ как особое в институциональном плане государство, национальное по форме, но эволюционирующее в ином направлении). В заключительной части обсуждаются результаты и основные выводы исследования. Прогнозируется вступление стран ЕС и России в 2020–2030 годы в период глубоких и критически важных институциональных трансформаций и сложной адаптации к ожидаемым кардинальным изменениям миропорядка.

Ключевые слова: политические институты, политико-институциональная динамика, глобальная дестабилизация, мировой порядок, наднациональные институты, политические партии, популизм, национальное государство, Европейский союз, Россия.

Вопреки провозглашенным уже несколько десятилетий назад всеобщим целям устойчивого развития (*sustainable development*) [см. Grober 2007; Blewitt 2015], о консенсусном наборе которых можно судить по единогласно принятой в 2015 г. членами ООН “Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года”¹, реальность современного мира характеризуется скорее ярко выраженной социальной и политической дестабилизацией. Эта дестабилизация, охватывающая прежде всего институциональную сферу на всех уровнях современного глобализованного взаимодействия (национальном, суб-, супра-, транснациональном и пр.), имеет фундаментальные причины и многообразные проявления [Piketty 2014; Гринин и др. 2015; Малков, Билюга 2015; Backer, Huth 2016; Коротаев и др. 2017; Малков, Максимов 2018; Korotayev, Meshcherina, Shishkina 2018]. Но в упомянутой выше “повестке дня” ООН этот вызов глобальной дестабилизации отчасти соотносится лишь с шестнадцатой в общем списке целью “Мир, справедливость и сильные институты”. Не слишком хорошо обстоят дела и в части интереса исследовательского сообщества к этой проблематике².

В ряду факторов такой дестабилизации фигурируют (по-видимому, в зависимости от меняющейся научной моды, дисциплинарной специализации и концептуальных предпочтений исследователя) различные рискогенные тренды современного мира: популяционные дисбалансы [Merritt 1995], катастрофический рост числа беженцев в мире [Lischer 2017], неустойчивость политического режима [Slinko et al. 2017], рост безработицы [Коротаев, Хохлова, Цирель 2018], экспансия капиталистических инноваций [Witt 2019] и т.д. Предлагаются различные варианты концептуализации дихотомии устойчивость/дестабилизация (*Sustainability vs Destabilization*), в частности на путях поиска продуктивных вариантов достижения устойчивости через институциональные неудачи и падения [Newig, Derwort, Jager 2019].

В хронологической перспективе последних десятилетий глобальный финансовый и экономический кризис 2008–2009 гг. резко интенсифицировал процессы дестабилизации, породив целый ряд долговременных социально-политических последствий. Этот кризис стал важной вехой и переломным моментом в динамике глобальной дестабилизации, окончательно обозначив завершение длительного, более чем полувекового тренда упрочения миропорядка, основанного на глобальном геополитическом и геоэкономическом господстве Запада. Вскоре после этого кризиса в 2011 г. началась Арабская весна. Спровоцированная целым рядом факторов (в первую очередь, ростом мировых цен на продовольствие, ударившим по беднейшим слоям населения, а также прямым и косвенным, посредством новейших информационных технологий, вмешательством из-за

¹ *Sustainable Development Goals. Knowledge Platform*. 2017. United Nations Department of Public Information. URL: <https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300> (accessed 02.04.2020).

² Среди относительно немногочисленных исследовательских групп, систематически сконцентрировавшихся на проблемах глобальной социально-политической дестабилизации, выделяются исследователи НИУ ВШЭ под руководством А.В. Коротаева и Л.Е. Гринина, особенно пристально изучающие под этим углом зрения данные всемирной статистики и эффекты Арабской весны конца 2010 – начала 2011 гг.

рубежа), она открыла для мировых и региональных держав уникальные возможности геополитической “перекройки” Ближнего Востока.

Последствия Арабской весны привели к резкому подъему международного терроризма, бурному росту числа беженцев, кровопролитным и затяжным гражданским войнам в Ливии, Сирии, Йемене. Они стали дополнительным триггером глобальной дестабилизации: массовая миграция из неблагополучных стран Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии, Африки породила миграционный кризис в Европейском союзе, активизацию международного терроризма и, в качестве ответной реакции, — подъем популизма и правого радикализма в странах ЕС [Brubaker 2017; Rydgren 2017; Вайнштейн 2017]. Параллельно приход Д. Трампа к власти в США и осуществляемая им политика, направленная на преодоление социальных и экономических последствий глобального кризиса, дополнительно дестабилизировали ситуацию во всем мире, вызвав раскол элит “глобального гегемона” на “глобалистов” и “националистов”. Эта “война элит”, начавшаяся в США и других западных странах, инициировала новые глубокие политические размежевания и расколы [Яковлев 2017; Пантин 2019].

Важной вехой глобальной дестабилизации стал также государственный переворот февраля 2014 г. в Украине. Активизация практического интереса США и стран Запада к Украине в период серьезной мировой рецессии (последствия кризиса 2008–2009 гг.) была обусловлена растущей проблемой ограниченности рынков сбыта, обострения глобальной конкуренции США с Китаем и геополитической конкуренции США с Россией на постсоветском пространстве. Западу было необходимо переориентировать на себя вектор геостратегических приоритетов Украины (второго по экономическому потенциалу постсоветского государства, ключевого геополитического “медиатора” в Восточной Европе), ослабить ее включенность в евразийское пространство, потенциал ее интеграции с Россией и КНР. За этим переворотом последовали события (вхождение Крыма в состав России, вооруженный конфликт на территории Донбасса, экономические санкции западных государств против России и российские контрсанкции), резко осложнившие отношения России и Запада и за считанные годы приведшие к практически полному разрыву экономических и геостратегических связей Украины на евразийском направлении. Усилившиеся на этом фоне информационные войны, кибервойны, дипломатические и шпионские скандалы, а также торговая война между США и Китаем способствовали еще большей социально-политической дестабилизации. Да и в дальнейшем ситуация лишь усугублялась: затяжная процедура Брекзита, серия террористических актов в странах ЕС на фоне миграционного кризиса, новый виток войны элит в США (попытки импичмента Д. Трампа), выход США из Договора по РСМД, и, наконец, глобальная эпидемия коронавируса COVID-19 и новый глобальный экономический кризис. В то же время следует напомнить, что два последних тесно связанных между собой события, инициированные еще в конце 2019 г., скорее обнажили многочисленные дисфункции мировой системы (см., например, [Лапкин 2019]) и усилили уже существовавшую социально-политическую и экономическую нестабильность, чем стали их глубинной причиной.

Итак, в последнее десятилетие очевидными и недвусмысленными проявлениями социально-политической дестабилизации стали раскол элит и нарастание политического размежевания общества в США, кризис проекта евроинтеграции и либеральной демократии, Брекзит, подъем популизма и правого

национализма в западных странах. К этому следует добавить распространение и агрессивные действия международного терроризма, рост этнополитической конфликтности внутри целого ряда стран и международной конфликтности в мире, усиление сепаратизма, гражданские войны на территории Украины, в Ливии, Сирии, Йемене, странах Тропической Африки. Факторами, дополнительно усиливающими дестабилизацию отдельных стран, регионов и мира в целом, являются климатические и другие природные изменения, пандемия COVID-19 и обусловленные реакцией на нее экономические и социально-политические потрясения в ведущих и прежде наиболее эффективных государствах, в том числе — недальновидной эгоистической политикой целого ряда правительств. Добавим к этому перечню и резкие колебания мировых цен на нефть, продолжающуюся и даже нарастающую борьбу за передел глобальных рынков, за глобальное финансовое и технологическое доминирование. Эти и многие другие факторы стимулируют затяжной характер кризисных явлений в экономике и социальной сфере, маркируя неспособность международного сообщества выработать приемлемое с точки зрения мирового развития решение стоящих перед этим сообществом стратегических задач.

Актуализация исследования политико-институциональной динамики нынешней эпохи глобальной дестабилизации обусловлена рядом причин. *Во-первых*, существует взаимозависимость между характером и эффективностью функционирования политических институтов, с одной стороны, и уровнем социально-политической стабильности (нестабильности), с другой. Эта взаимозависимость нуждается в исследовании для теоретического понимания ее нелинейной динамики и в целом современных механизмов изменения политико-государственных систем [см. Панов 2006; Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 426-434; Hale 2015; Джессоп 2019: 351-459].

Во-вторых, в условиях современной глобализации и регионализации кризис и падение эффективности политических институтов затрагивают не только модернизирующиеся незападные страны, в которых институциональная система, как правило, еще не вполне выстроена и “совершенна”, не в полной мере соответствует канонам либеральной демократии и при этом резко диссонирует с политической культурой данной страны. В последние годы глубокий институциональный кризис стал важной составляющей политической жизни развитых западных стран [Ferguson 2014], а также охватил всю международную политико-институциональную систему [Клаус 2016; Коротаев и др. 2016; Ikenberry 2018b; Witt 2019]. Иными словами, к концу второго десятилетия XXI в. весь глобализованный мир, испытывающий колоссальное давление масштабных технологических, социокультурных и геополитических перемен, оказался на пороге очередной, а вполне возможно и беспрецедентной по масштабам, кардинальной политико-институциональной трансформации, которая в перспективе изменит образ жизни и характер социальных взаимодействий во всем мире. Необходимость и закономерность такой трансформации в период 2017-2021 гг. и, шире, в период 2017-2029 гг. обоснована в рамках теории эволюционных циклов мировой системы. В рамках очередного эволюционного цикла она воплощает собою *переход к фазе революции мирового рынка, критически важный начальный период этой геополитической и геоэкономической революции* [Пантин, Лапкин 2014: 248-272, 280-288].

Наконец, *в-третьих*, в практически-политическом плане существует объективная необходимость своевременно адаптировать политические институты

(как государственные, так и международные) к условиям нестабильности и новой кризисной или посткризисной реальности. В противном случае, как показывает исторический опыт (например, опыт мировых войн, равно как и коллизии модели национально-территориального государства в XX в., см. [Лапкин 2019: 130-134]), неизбежно резкое, порою катастрофическое падение эффективности институтов и их вырождение вплоть до распада целых государств и деградации всей международной политико-институциональной системы.

Ресурсный, адаптационный и мобилизационный потенциал политических институтов, а также их способность к изменению и наращиванию своей сложности в существенной степени определяется их принадлежностью к тому или иному уровню политической организации: национальному (внутригосударственному), субнациональному, транснациональному, супранациональному или глобальному [Bruszt 2005; Giumelli 2013; Leibfried et al. 2015]. Условия глобальной социально-политической дестабилизации существенно модифицируют функционирование, возможности и направление трансформации институтов разного уровня. Так, сегодня, в ситуации нестабильности наибольший динамизм и изменчивость обретают некоторые (далеко не все) региональные и межрегиональные экономические и политические институты (такие как АСЕАН, ШОС, G20, БРИКС и целый ряд других, находящихся еще на стадии формирования, подобных “Квад 2.0”). Не менее динамично меняются также государственные институты некоторых обладающих значительным потенциалом мобилизации и адаптации стран, таких как США, Китай (КНР), Южная Корея, отчасти Япония и Россия. В то же время многие международные (глобальные) институты (например, ООН, МВФ, ВТО, ВОЗ), выполняющие не только функции поддержания глобальной безопасности в гуманитарной, финансово-экономической или медико-эпидемиологической сферах, но и функции обеспечения реального межгосударственного политического диалога, — демонстрируют довольно низкую способность к изменению и адаптации к новым условиям глобальной нестабильности, низкую эффективность в поддержании межгосударственной кооперации и противостоянии новым глобальным вызовам.

Более того, прежний мировой порядок и его институциональное обеспечение переживают кризис и глубокую трансформацию [Acharya 2014; Ikenberry 2018b]. Во многом это связано с многочисленными и все возрастающими дисфункциями моноцентричной (униполярной) модели миропорядка и системы международных отношений, которая сформировалась в 1990-е годы [Layne 2012; Reich, Lebow 2014; Duncombe, Dunne 2018]. В эту модель не вписываются ни динамичное развитие Китая, Индии и ряда других незападных стран, ни постепенное ослабление ресурсного потенциала США и углубление раскола внутри американского общества и американских элит, ни ослабление позиций “коллективного Запада” в мире и характерной для него прежде “солидарности”, ни многоплановые последствия глобализации и регионализации. Реальным выходом из этого кризиса является переход к новому, полицентричному миропорядку, но мировой лидер — США изо всех сил противится такому переходу, стремясь во что бы то ни стало сохранить свою гегемонию и моноцентричную модель мироустройства, непрерывно порождающую разнообразие кризисы и конфликты [Monteiro 2012; Kai He 2012; Россия... 2015; Ikenberry 2018a; Stokes 2018]. В итоге весь мир находится сейчас в переходном состоянии, чреватом различными потрясениями и кризисами, в своего рода фазе “интерлюдии” [см. Лапкин 2019], когда прежняя модель мирового по-

рядка и его институты функционируют все менее эффективно, а мотивации и импульсы к активному формированию новой модели и новых институтов еще не “вызрели”, не сформировались, не стали для политических сообществ императивом выживания в новых условиях.

Структура настоящей статьи определена исследовательской задачей анализа конкретных примеров процессов политико-институциональной трансформации. В данной статье в этом качестве выбраны страны ЕС и Россия. Выбор именно этих кейсов определялся тем, что, несмотря на географическую близость, страны ЕС и Российская Федерация демонстрируют разные политико-институциональные модели и траектории их изменения. ЕС представляет собой наднациональное экономическое и политическое образование, в котором существуют и взаимодействуют (в том числе в рамках модели так называемого многоуровневого управления, *Multi-Level Governance* (см., например, [Bruszt 2005; Bache, Bartle, Flinders 2016]) наднациональные (супранациональные), национальные и субнациональные политические институты, а в основе интеграции и институционального развития лежит неолиберальная идеология и практика. Россия представляет собой централизованное государство с элементами федерализма и очевидными проблемами, в том числе и институционального характера, во взаимоотношениях федерального центра и регионов (см., например, [Ильченко, Фадеичева 2007]). Причем заимствованные по настоянию западных стран в 1990-е годы политические институты и практики с самого начала претерпевали и продолжают претерпевать значительные изменения, связанные с иной, чем на Западе, социальной средой, другими традициями и ценностями, другой политической культурой³.

60

В то же время и страны ЕС, и Российская Федерация имеют некоторые общие исторические и культурные корни, а также опыт длительного взаимодействия друг с другом. Кроме того, они вынуждены отвечать на общие региональные и глобальные вызовы, вызванные социально-политической дестабилизацией, будь то массовая инокультурная миграция, международный терроризм, технологические и геополитические вызовы со стороны США и Китая, глобальные эпидемии и др. Поэтому, несмотря на все различия в моделях и траекториях политико-институционального развития стран ЕС и России, существуют основания для сравнительного политического анализа этих моделей, который предпринят в данной статье.

В заключительной части статьи обсуждаются предварительные результаты исследования, формулируются выводы и осторожные прогнозы.

ДИНАМИКА НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ ЕС И ПРОБЛЕМЫ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Как известно, наднациональные институты в Западной и Центральной Европе начали формироваться еще с 1950-х годов, но первоначально это были в основном институты, призванные обеспечить экономическую интеграцию. Ситуация начала радикально меняться с середины 1980-х годов, параллельно с разрастанием усугубленного реформами кризиса в СССР. В 1985 г. были подписаны Шенгенские соглашения о свободном передвижении товаров, капиталов и граждан, а в 1986 г. был принят Единый европейский

³ В конце 1990-х годов в исследовательском сообществе существовал заметный интерес к сравнительному анализу институтов ЕС и СНГ, в том числе в культурном и региональном аспектах (см., например, [Стрежнева 1999; Strezhneva 1999]). Но со временем он спал, возможно, ввиду нарастающих расхождений эволюционных треков институциональных трансформаций ЕС и РФ.

акт — первое существенное изменение учредительных договоров тогда еще Европейского экономического сообщества (ЕЭС). Тем временем произошли роспуск Варшавского блока, “бархатные революции” в странах Восточной Европы, наконец, распад Советского Союза в конце 1991 г. и образование на постсоветском пространстве 15 независимых государств. В 1992 г. был заключен Маастрихтский договор о создании Европейского союза. ЕС стал не только экономическим, но и политическим объединением со своими наднациональными политическими институтами. Среди этих политических институтов ведущую роль играют Европейский совет — высший политический орган ЕС, Европейская комиссия — высший орган исполнительной власти ЕС, Европейский парламент, Совет Европейского союза и Суд Европейского союза.

Попытки принять Конституцию ЕС оказались безуспешными, но, несмотря на это, роль такой конституции *de facto* играет продавленный наднациональными и транснациональными элитами Лиссабонский договор, заключенный в 2007 г. В этом договоре были по-новому сформулированы принципы и цели ЕС, введены институциональные изменения наднациональных органов ЕС, впервые были определены, хотя и в самом общем виде, условия выхода стран из ЕС. Значение Лиссабонского договора для наднациональных и транснациональных европейских элит состоит в том, что в нем зафиксированы основные правовые и институциональные принципы функционирования ЕС как единого политического и экономического образования⁴. Более того, Лиссабонский договор фактически легитимизировал функционирование наднациональной бюрократии, во многом неподконтрольной не только рядовым гражданам стран ЕС, но и отдельным национальным государствам.

Новый импульс развитию наднациональных политических институтов ЕС придали обострившиеся в начале 2000-х годов проблемы безопасности в различных сферах общественной жизни, связанные с распространением международного терроризма, увеличением глобальной миграции, массовыми кибератаками, проблемами в информационной сфере, пропагандистскими, информационными и торговыми войнами. Так, в 2002 г. возникло агентство Евроюст (*Eurojust*), задачей которого является координация и сотрудничество между судебными органами стран ЕС. В 2004 г. было создано Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности (*ENISA*), играющее ключевую роль в координации усилий стран ЕС по обеспечению кибербезопасности и информационной безопасности; кроме того в 2016 г. был принят общий регламент ЕС о защите данных (*General Data Protection Regulation, GDPR*), призванный оградить персональные и корпоративные данные от их использования другими странами, в том числе США [Господарик, Пашковская 2016; Кардава 2019]. В 2007 г. в ЕС появилось Агентство по правам человека (*European Union Agency for Fundamental Rights, FRA*), а в 2010 г. — Европейский совет по системным рискам (*European Systemic Risk Board, ESRB*).

Таким образом, можно констатировать появление новых и изменение функций уже существующих наднациональных институтов ЕС в связи с возникновением новых вызовов и с обострением проблем безопасности в различных сферах жизни общества. Эти перемены стали свидетельством определенного динамизма наднациональной политико-институциональной системы

⁴ О новых перспективах интеграции, открытых Лиссабонским договором, см., например, [Арбатова 2014].

ЕС, ее способности функционировать, адаптируясь к условиям растущей социально-политической нестабильности.

В то же время наднациональные институты ЕС по мере усиления кризиса и растущей глобальной дестабилизации нередко демонстрируют низкую эффективность из-за сложной процедуры многочисленных согласований между государствами ЕС, замедленной реакции на новые вызовы и угрозы, а также из-за отрыва интересов правящих европейских элит, европейской бюрократии от интересов большинства граждан европейских стран. К тому же они проявляют склонность к взаимной конфликтности и рассогласованности решений и действий в острых кризисных ситуациях (см., например, [Herranz-Surrallés 2014]), многочисленные примеры чему можно было наблюдать как в ходе острой фазы миграционного кризиса (осень 2015 г. — середина 2016 г.), так и на пике эпидемии COVID-19.

Несмотря на большое и всевозрастающее число наднациональных институтов и бурную деятельность евробюрократии, на производство огромного количества различных документов, актов, регламентов, законов и правил, многие ключевые проблемы, возникающие перед странами ЕС в настоящий период, либо решаются слишком медленно, либо поиск решения подменяется его имитацией, с результатом, далеким от реального ответа на брошенный Сообществу вызов. В итоге в странах ЕС по-прежнему остро стоят по существу “отложенные на будущее” проблемы миграции и интеграции инокультурных иммигрантов в принимающие европейские общества, проблемы терроризма и этнополитической конфликтности, сепаратизма, евроскептицизма и т.д. Усиливается кризис социального государства и долговой кризис, углубляется раскол общества и раскол элит.

Яркими примерами обострения этих проблем являются затяжная и, фактически, незавершенная до сих пор процедура Брекзит, а также связанные с этим институциональные коррекции в сферах политики, экономики и миграции Евросоюза. Продолжается подъем правого популизма, сохраняется нестабильная (хотя и притушенная на время жесткими мерами по борьбе с эпидемией) политическая ситуация во Франции, Бельгии, Италии, Испании, Греции, Румынии. Еще одним примером является низкая эффективность в вопросах урегулирования миграционного и эпидемиологического кризисов в Европе (соответственно, 2015 и 2020 гг.), стремление наднациональных органов ЕС переложить основную тяжесть порождаемых кризисами проблем на внутригосударственные институты стран ЕС.

Как бы то ни было, наднациональные институты уже стали неотъемлемой частью политического, социального, экономического и культурного ландшафта ЕС. Но эти институты из инструмента управления в интересах государств, вступивших в процесс интеграции и отчуждающих в распоряжение этих институтов часть своих полномочий и суверенитета, претерпели закономерное, в логике институциональной интеграции, превращение. Довольно быстро они стали проявлять себя в качестве самостоятельных политических субъектов (или псевдосубъектов), диктующих свои правила, нормы, ценности всем государствам и гражданам стран ЕС, определяющих им перспективы развития⁵.

Но эта объективная логика интеграции столкнулась с инерцией политико-государственных машин крупнейших держав Европы (предельный на

⁵ Анализируя этот процесс, протекающий на наших глазах, можно наблюдать проявление описанной М. Вебером тенденции всеобщей бюрократизации [Weber 1946; Зверев 1992], в данном случае тенденции бюрократизации на наднациональном европейском уровне.

сегодняшний день вариант развития такого рода конфликта демонстрирует Брекзит) и социокультурного бэкграунда соответствующих сообществ. Это столкновение высвечивает острую проблему продвижения социокультурных институтов евроинтеграции, призванных обеспечить структурное единство европейского сообщества. Конструирование единой и целостной ценностно-нормативной основы такого сообщества неизбежно порождает конфликт и ревизует прежние, различающиеся у разных государств-членов ЕС, ценностные ориентации и поведенческие нормы. Институты евроинтеграции последовательно понуждают граждан этих государств к освоению новых единых шаблонов общественного поведения в сфере экономики, идеологии и политики (электорального поведения, поведения в чрезвычайных ситуациях и т.п.). Но эффективность этих институтов, как показывает практика, зачастую оказывается невысока, сохраняется и даже обостряется проблема гражданской лояльности и легитимации новых институтов и санкционируемых в их рамках (или в особых случаях даже выходящих за эти рамки) властных решений. И как отчетливо показал кризис весны 2020 г., надежное институциональное решение вопросов перераспределения ресурсов жизнеобеспечения и властного контроля между Евросоюзом как целым и его структурными единицами — отдельными странами-членами ЕС — так и не было найдено.

Итак, интеграционный потенциал наднациональных институтов ЕС очевидно недостаточен для полноценного “перехвата” функциональной нагрузки политических институтов отдельных национальных государств ЕС. Между первыми и вторыми существуют и совершенствуются многообразные формы взаимодействия и взаимовлияния, включающие в том числе различные частичные интеграционные структуры над- и субнационального уровня. В этих условиях реализация стратегии социально-политической интеграции Европы ведет к систематическому росту социально-политической напряженности и конфликтности, выявляя недостаточную ресурсную обеспеченность и сохраняющуюся глубокую функциональную неэффективность этих наднациональных интеграционных институтов в вопросах формирования согласованного и консолидированного взаимодействия разных уровней европейской политической системы.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА ЕС: ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

Как уже отмечалось выше, одним из важных политико-институциональных трендов на уровне национальных государств ЕС стали появление и рост популярности новых лево- и правопопулистских политических партий и движений. В Италии такими партиями и движениями являются левопопулистское “Движение пяти звезд” и правопопулистская политическая партия “Лига” (бывшая “Лига Севера”), в ФРГ — праворадикальная популистская партия “Альтернатива для Германии” (АдГ), во Франции — праворадикальная партия “Национальное объединение” (*Rassemblement national*, RN, до 1 июня 2018 г. “Национальный фронт”, FN) и радикально-оппозиционное движение “желтых жилетов”, в Австрии — правопопулистская “Австрийская партия свободы” (АПС), в Нидерландах — также правопопулистская “Партия свободы” Г. Вилдерса, в Дании — популистская “Датская народная партия” (ДНП), в Финляндии — правопопулистская партия “Истинные финны”, в Польше —

праворадикальная националистическая партия “Право и справедливость” (ПиС), в Венгрии — партия “Фидес”, в Чехии — правопопулистская и анти-иммиграционная партия “Свобода и прямая демократия”. Важно отметить, что в ряде стран ЕС (в Италии, Польше, Венгрии) эти популистские партии и движения уже находятся у власти или входят в правительственные коалиции, а в других странах (например, в Нидерландах и ФРГ) они являются влиятельными оппозиционными партиями и в определенной мере участвуют в формировании политической повестки [Реструктуризация политического ландшафта... 2017; Вайнштейн 2018].

Для популистских политических партий и движений в странах ЕС характерны некоторые общие признаки. Во-первых, это радикальная критика всех традиционных, “системных” партий и отказ от всякой преемственности в отношениях с прежними политическими партиями, будь они левые, правые или центристские, попытки представить себя в качестве альтернативы всей прежней партийно-политической системе и прежней политике европейских государств. Во-вторых, это активное использование *Twitter* и других современных сетевых средств коммуникации и мобилизации граждан, громкие популистские заявления и броские лозунги, рассчитанные на молодежь и среднее поколение. В-третьих, это более или менее выраженный евроскептицизм, критика евробюрократии, наднациональных органов ЕС. Наконец, в-четвертых, для современного европейского популизма характерно критическое, негативное отношение к глобализации, стремление ограничить миграцию и в какой-то мере восстановить суверенитет национального государства и доминирующее положение его институтов в политике.

Появление и рост влияния популистских партий и движений во многих странах ЕС стали следствием кризиса прежних “системных” политических партий, “санкционировавших” передачу целого ряда важных политических полномочий на наднациональный уровень институтов ЕС. Но эти последние оказались слишком “дистанцированы” от конкретных проблем локальных сообществ и слишком увлечены технократизмом и формализованной рациональностью в своих решениях и директивах. “Системные” партии европейских стран слишком долго и слишком безапелляционно поддерживали идею “денационализации” политики и государства⁶, следуя курсом евроинтеграции и поддержки наднационального институционального строительства. Но этот своего рода демонтаж национальных институтов (точнее, движение к превращению их в символические структуры, лишённые полномочий и общественной поддержки) не компенсировался в полной мере обретением подлинного суверенитета институтами ЕС, его законодательными и исполнительными органами. Да и с их демократической легитимацией сохранялись проблемы (см., например, [Громогласова 2009; Giumelli 2013; Арбатова 2017; Новосад 2019]).

Евроинтеграция стала серьезным вызовом для институционального и политико-культурного единства традиционных национальных государств, но не смогла обеспечить последовательное движение к единому общеевропейскому государству с характерными для него институциональными атрибутами и процедурами выработки легитимированных гражданами решений. Частный, но

⁶ О тенденции денационализации государственности и соответствующих контртенденциях, а также о разноразличных процессах разгосударствления политической системы см., например, [Джессоп 2019: 372-383; см. также: Sassen 2003].

показательный пример — коллизии вокруг создания общеевропейской армии, или же то, сколь несоразмерно скромное место занимает внешняя политика ЕС в сравнении со статусными позициями внешнеполитических ведомств ключевых государств-членов ЕС. Сегодня, перед угрозой глобальной пандемии, Европа разрывается между стремлением экстренно нарастить возможности единого общеевропейского управления и столь же ярко выраженным стремлением восстановить суверенные властные полномочия составляющих ее национальных государств.

Закономерно, что последовательная поддержка евроинтеграционного курса “системными” политическими партиями европейских стран вела к размыванию их массовой базы. Эти партии все чаще оказывались неспособными адаптироваться к новым условиям и вызовам, уступая инициативу популистам разного рода (правым, левым, “зеленым”, “аполитичным”), выводя тренд популизма на позиции политического мейнстрима (как это произошло в Италии, Франции, Соединенном Королевстве, Венгрии, Польше...)⁷.

Другой значимой тенденцией политико-институционального развития стран ЕС стало усиление роли и влияния местных и региональных органов власти в ущерб влиянию общенациональных политических институтов, рост автономистских и сепаратистских настроений и выступлений, заметно влияющих на политическую динамику. Наиболее яркими примерами такого рода являются Каталония и Страна Басков в Испании, область Венето и Ломбардия в Италии, Корсика во Франции, процессы деволюции в Соединенном Королевстве и попытки Шотландии отделиться от него путем референдума. С одной стороны, рост сепаратистских настроений нацелен на перераспределение власти и полномочий между центральными и региональными (местными) институтами, которое является объективным следствием процессов регионализации в странах ЕС. С другой, — налицо расхождение интересов и борьба за ресурсы между центральными и региональными элитами [Семененко 2016]. При этом прослеживается тенденция, связанная со стремлением ряда относительно богатых и благополучных регионов выйти из состава национальных государств, но остаться в ЕС, что прямо создает угрозу сепаратизма и/или сецессии. Попытки купировать эту угрозу, в том числе в рамках развития подходов *Multi-Level Governance* (уже упоминавшихся выше), до сих пор не приносят ощутимых результатов.

В плане угроз общеевропейскому единству следует также обратить особое внимание на множественные примеры “самобытных”, прямо противоречащих брюссельским директивам инициатив, реализуемых в сферах внутренней политики и евроинтеграционной стратегии новыми членами ЕС, прежде всего вошедшими в его состав по итогам распада СССР и “Восточного блока”. Эти новые государства в меньшей степени, нежели государства-учредители ЕЭС, ощущали конфликт общеевропейских и своих национальных институтов, сконструированных во многом с прицелом на скорое вхождение в ЕС.

⁷ Не будем забывать и то, что немалую роль в возникновении и распространении популизма в странах ЕС играет глубокий разрыв между интересами европейских транснациональных элит и интересами массовых групп населения. Как бы то ни было, но многие влиятельные в первые десятилетия после Второй мировой войны политические партии сегодня или уже окончательно сошли с политической арены, или же претерпевают глубокий кризис и в перспективе вынуждены будут пойти на глубочайшую реорганизацию и отказ от прежних фундаментальных идеологических и организационных принципов.

Серьезнее были противоречия на социокультурном, поведенческом и ценностно-нормативном уровнях. Но главные проблемы оказались связаны с поведением национальных политических элит в этих новых государствах. Эти элиты рассматривали вхождение в ЕС как возможность обеспечить свои страны на длительный период дополнительными ресурсами развития, предоставляемыми Брюсселем за счет средств Сообщества в целом. До поры эта поддержка окупала все издержки, связанные с продвижением в этих странах институциональных реформ и ценностно-поведенческих новаций. Но после кризиса 2008 г. и в условиях затяжной рецессии, лишь усилившейся после 2014 г. и начала “санкционной войны”, готовность элит этих стран к безоговорочному следованию брюссельским директивам стала снижаться, а стремление заявить о своих национальных интересах — возрастать. Наконец, в условиях усиливающегося с весны 2020 г. глобального кризиса этот тренд становится значимой угрозой процессу евроинтеграции.

Еще одной важной тенденцией является частичная деградация институтов представительной демократии в странах ЕС и формирование неформальных элитных институтов, многочисленных “мозговых центров” (*think tanks*) и информационно-пропагандистских структур, работающих в интересах правящих элит. Их прямое участие в процессах выработки политических решений и управленческих инициатив, в той мере, в которой сведения об этом становятся достоянием общественности, лишь усиливают недовольство активных групп населения проводимой социальной политикой, ведут к росту массовых протестных движений. Важным инструментом сдерживания массового протеста становятся современные манипулятивные практики (воплощенные в феномене *Fake News*), масштабное использование агрессивной пропаганды, провокаций и скандалов. В условиях глобальной дестабилизации традиционные властные элиты и финансовая олигархия стремятся любой ценой не допустить прихода во власть на волне протестных настроений неудобных оппозиционных партий и оппозиционных лидеров. Примерами такого рода в контексте европейской политики могут служить скандалы с претендовавшими на пост президента Франции Д. Стросс-Каном в 2011 г. и в 2017 г. — Ф. Фийоном. Напомним также и о намеренно устроенной провокации, направленной против лидера “Австрийской партии свободы” и бывшего вице-канцлера Х.-К. Штрахе, что привело к развалу правящей коалиции и к внеочередным выборам в Австрии в 2019 г.

Безусловно, в странах ЕС происходят важные и далеко еще не завершенные процессы изменения политического ландшафта и институционального дизайна, фрагментации политических систем и трансформации политических институтов [Арбатова 2017; Вайнштейн 2017]. Результаты подобных трансформаций не предreshены и могут быть совершенно различными — от превращения ЕС в некую “сверхдержаву” с еще большей ролью наднациональных институтов до глубокого кризиса и деградации Союза и его политических институтов. Решающую роль при этом будет играть не только то, насколько своевременными и адекватными в ближайшие годы и десятилетия будут ответы государств ЕС и его наднациональных институтов на вызовы, связанные с резким усилением глобальной и внутренней социально-политической нестабильности, но и то, насколько глубокими окажутся сотрясающие мир кризисные трансформации.

ДИНАМИКА ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ТРЕНДЫ

Прежде чем перейти к анализу динамики политических институтов в Российской Федерации, сделаем одно необходимое предварительное замечание. В отечественной политологической литературе к началу XXI в. сложилось устойчивое мнение о том, что в новой России в соответствии с ее исторической традицией сформировались преимущественно “декоративные”, “имитационные”, “неправильные”, “государствоцентричные” институты и политические практики (см., например, [Ворожейкина 2002; Пивоваров 2006; 2015]). Однако в основе такого подхода лежит неоправданная абсолютизация “универсальности” политических институтов, сложившихся в странах Запада (см., например, [Бляхер 2003]). При этом игнорируется цивилизационная, политическая и социокультурная специфика, которая порождает в различных регионах мира разные типы развития и функционирования институтов. Более того, эта безальтернативность институциональной формы демократического национально-территориального государства как идеального образца для любых сообществ пролонгируется на обозримую историческую перспективу. Но, заметим, во-первых, современное государство как политико-институциональная форма интенсивно эволюционирует и диверсифицируется [Лапкин 2019: 130-136]. Во-вторых, возможности несовершенных с точки зрения “нормативной теории” режимов, особенно в ситуации фундаментального кризиса, явно недооцениваются, а они — немалые, как, например, показывает опыт КНР или же институциональный анализ посткоммунистических автократий [Мельвиль, Стукал, Миронюк 2013]. Наконец, в-третьих, стоит обратить внимание на неиспользуемый пока, хотя и теоретически выявленный, серьезный и во многом, быть может, спасительный для человечества в условиях глобального кризиса, потенциал “обширных, ‘имперского’ размера сетей для обеспечения общих интересов в сфере экономики, безопасности и коммуникаций” [цит. по: Коломер 2008: 43; см. также Colomer 2007]. При условии, разумеется, что мир успеет их создать и институционально оформить (на ум сразу приходит китайский “Один пояс — один путь”).

Как показывает развитие многих незападных стран (таких как Китай, Индия, Южная Корея, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Вьетнам), их политические институты, практики и ценности существенно отличаются от институтов, практик и ценностей западных стран (см., например, [Grinin 2013; Hale 2015; Voskressenski 2017; Ефимова, Хохлова 2020]). Несмотря на это, многие незападные страны демонстрируют динамичное экономическое, социальное и политическое развитие, так как институты и практики в них соответствуют традициям и ценностям общества. Следовательно, дело заключается не только и не столько в успешном перенесении на почву других, незападных стран “образцовых” западных политических институтов, сколько в эффективном решении проблемы органичного соединения традиционных (специфичных для каждой страны) и современных институтов и практик, соответствующих доминирующим в данном обществе ценностям и политической культуре. Следует также отметить, что в России, как и в ряде других незападных стран, неформальные политические институты и практики играют гораздо большую роль, чем в западных странах [Гельман 2003; Наумкин 2013; Hale 2015; Виноградов, Рябов 2019].

Как известно, российские реформаторы 1990-х годов, как, впрочем, и их единомышленники во многих других постсоветских государствах, стремились радикально трансформировать институциональную структуру государства⁸. При этом они активно культивировали и насаждали в стране политические институты и практики, имитирующие те, что в западных странах формировались в течение многих веков, вбирая в себя специфический политико-культурный и правовой опыт их исторической эволюции. Среди этих политических институтов были институты всеобщих конкурентных выборов и многопартийности, президентства и парламентаризма, Конституционный суд и ряд других. Но вскоре выяснилось то, что можно было предсказать и заранее: новые политические институты в России функционируют не вполне так, как ожидалось, по-другому, чем в странах Запада. Ведущий российский исследователь в области институциональной политологии С.В. Патрушев так сформулировал ключевую проблему того периода: “После преобразований начала 1990-х годов российский социум оказался перед выбором: либо подстраиваться под новые правила, либо ‘перестраивать’ их под себя” [Патрушев 2019: 130]. Иная историческая традиции, иные политическая культура и ценности российского общества “обживались” в чуждой им институциональной рамке, наполняя формальные правила и процедуры содержанием, соответствующим, прежде всего, главной задаче, стоящей перед российским социумом и его политическими элитами того периода. России, во что бы то ни стало, необходимо было выйти из изоляции и наладить полноценное и эффективное взаимодействие с окружающим миром на основе рыночной экономики и норм капиталистического мироустройства. Но одновременно эти процессы сопровождались формированием множественных неэффективных, но устойчивых институтов, так называемых институциональных ловушек. Их закрепление в обществе в качестве новых норм происходило “благодаря эффекту обучения, совершенствования их исполнения, эффекту сопряжения норм и культурной инерции. Эффекты координации, обучения, сопряжения, культурная инерция и лоббирование ответственны за возникновение институциональных блокировок, распространяющихся по всему социальному и политическому полю. Институциональные изменения в 1990–2000-е годы сформировали новую ‘тропу зависимости’ — современную институциональную ловушку российской политики” [там же]. Стоит, впрочем, обратить внимание на одно немаловажное обстоятельство: причина этих институциональных дисфункций не сводима лишь к грузу “наследия прошлого”; в значительной степени она — в том предельно неорганичном, насильственном по отношению к обществу и ускоренном варианте институциональных преобразований, который избрали российские реформаторы и их “просвещенные” наставники.

К концу 1990-х — началу 2000-х годов выяснилось, что новые политические институты в России, как и во многих других незападных странах, стали не

⁸ На этом пути уже к 1993 г. в России фактически возникло двоевластие: с одной стороны, президент, а с другой — Съезд народных депутатов РФ, который формально обладал огромными полномочиями, но практически не отвечал за принимаемые им решения. Этот злокачественный для государства оборот событий был разрешен в ходе трагических столкновений октября 1993 г. А в декабре 1993 г. была принята новая Конституция, вручившая президенту огромные полномочия и резко ограничившая возможности нового двухпалатного парламента (Государственной Думы и Совета Федерации) контролировать президента и влиять на исполнительную власть. В результате при сохранении многопартийности в России со временем сложился особый, интегрированный в “президентскую вертикаль” институт “партии власти”, своеобразный посредник между президентом и парламентом, на длительный период исключивший угрозу “двоевластия” в стране.

столько аналогами западных институтов, сколько продолжением и развитием, адаптацией к новым условиям прежних, традиционных институтов⁹.

Разумеется, институт президентства существенно отличается от института самодержавного государя или генерального секретаря, а парламент РФ — от Верховного Совета. Высшие политические институты в России сегодня избираются путем всенародного голосования и на относительно конкурентной основе. Тем не менее, связь новых политических институтов с прежними очевидна. В их основе и сегодня лежат государственный патернализм, недоверие большинства населения к политическим партиям и местному чиновничеству, сохраняющиеся у значительной части российских граждан опасения радикальных политических изменений.

Пройденный Россией за последние почти уже тридцать лет путь институционального строительства позволяет с большой долей уверенности утверждать, что, в отличие от западноевропейских стран и США, в России не сформировалось и вряд ли сформируется в будущем национальное государство. Это связано не только с имперским прошлым России, но прежде всего с полиэтничностью, поликультурностью и поликонфессиональностью ее населения, при всем этом многообразии дорожащего сформировавшимся за долгие столетия единством (единством не национальным, а, скорее, культурно-цивилизационным; поэтому общество так болезненно воспринимает до сих пор распад СССР). А также — с ее огромной территорией и наличием разных по своему характеру и политико-правовому статусу (области, республики, края и др.) региональных образований. Появление столь структурно сложной территориальной организации во многом обусловлено стремлением к компромиссу между институциональной формой, имитирующей западноевропейские образцы, и по-имперски сформированным социумом.

Процесс такого “неклассического” (по западноевропейским меркам) институционального строительства протекает весьма динамично. Политические институты в России вряд ли можно признать стабильными и неизменными, анализ политической практики опровергает подобные умозрения (см., например, [Nale 2015; Виноградов, Рябов 2019]). В условиях глобализации и регионализации, растущей внутренней и глобальной нестабильности политические институты в России вынуждены адаптироваться к новым реалиям и постепенно трансформироваться. Их изменения носят подчас разнонаправленный и иногда противоречивый характер. Так, после 2014 г. в связи с событиями на территории Украины, вызвавшими общее обострение отношений России с США и другими западными странами, возросли роль и полномочия силовых структур, ослабло влияние политиков либерального, прозападного толка, стали меняться латентные “правила игры” в элитной среде. Усилились процессы “превентивной адаптации” формальных и неформальных политических институтов к новым условиям глобальной нестабильности. Эти перемены повлияли на характер функционирования Общественной палаты и Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, инициировали по-

⁹ В случае России в их числе стоит, например, упомянуть институт самодержавной власти, институт “партии власти”, “вертикали власти”, институциональные особенности федеративных отношений, ориентированных на сохранение социокультурного и этнонационального разнообразия регионов и отодвигающих “на периферию внутренней политики” вопросы формирования единой российской нации.

явление новых политических партий и движений (например, “Партии роста”, “За правду” и др.). В том же ряду стоят, несомненно, и формирование институтов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и смена правительства в начале 2020 г., а также внесение в Конституцию предложенных Президентом РФ в январе 2020 г. поправок. Эти поправки, уже получившие одобрение всех полномочных политико-правовых инстанций, направлены на определенное увеличение полномочий Государственной Думы, Совета Федерации, Конституционного суда и Государственного совета и выработку более надежного баланса между ними. Параллельно с этим в условиях общей дестабилизации происходит интенсивное, хотя и латентное изменение соотношения сил между различными группировками российской элиты.

Очевидно, что в начале 2020-х годов России, как и многим другим странам, предстоит столкнуться с принципиально новыми вызовами и рисками, вызванными глобальной нестабильностью, масштабными технологическими, социальными, культурными и геополитическими сдвигами, биологическими и экологическими угрозами безопасности, а также процессами изменения мирового порядка. С этими глобальными вызовами и рисками тесно переплетаются внутренние вызовы, связанные с низкой эффективностью многих политических и экономических институтов, с многочисленными размежеваниями и расколами в российском обществе, с незавершенностью политической, экономической и социальной трансформации России, с непоследовательной и противоречивой политикой государства в различных сферах общественной жизни. Ее политическое руководство по-прежнему разрывается между, с одной стороны, политикой зависимости и даже подчинения навязываемым глобальным гегемоном правилам и нормам финансово-экономического взаимодействия, и, с другой, — стремлением к суверенной политике защиты интересов государства и наращивания экономического и культурного потенциала российского общества. Столь длительное время сохраняющееся противоречие в политике противостояния внешним (глобальным) и внутренним вызовам может, как это уже не раз было в российской истории, привести к глубоким кризисным потрясениям вплоть до реальной угрозы распада государства и фактической деградации общества.

В этой сложной ситуации России вынуждена будет в очередной раз искать проход “между Сциллой и Харибдой” — между потребностью сохранения внутривнутриполитической, социальной стабильности и острой необходимостью серьезных политико-институциональных преобразований. Основная опасность здесь — риск запоздать с необходимыми и уже назревшими политико-институциональными изменениями.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ

Несмотря на отмеченные выше глубокие, подчас принципиальные различия политических институтов в странах ЕС и в России, в обоих рассматриваемых случаях налицо начавшиеся глубокие политико-институциональные трансформации, вызванные как резким усилением глобальной нестабильности, так и внутренними процессами, внутриэлитными расколами, ростом противоречий между интересами элит и массовых групп. Формы и направления этих трансформаций в странах ЕС и в России существенно различаются, но при этом и зрелые политические институты в европейских странах, и незрелые, формирующиеся, сочетающие в себе противоречивые начала институты в России переживают переходный кризисный период.

В условиях меняющегося миропорядка интеграционная модель, олицетворяемая ЕС, постепенно утрачивает свою эффективность. Но одновременно кризисные трансформации претерпевает и институт национального государства, испытывающий возрастающее конкурентное институциональное давление со стороны разнообразных региональных экономических и политических союзов (ЕС, НАФТА, ЕАЭС, АТС, АСЕАН, “Квад 2.0” и др.). В России, в отличие от ЕС, проблема совершенствования институтов национального государства фактически снята, и актуализируется, напротив, задача совершенствования институтов централизованного управления, *de facto* неоимперской природы, более соответствующих потребностям быстрого реагирования на многочисленные новые внешние и внутренние вызовы и угрозы. Но с другой стороны, избыточная (особенно с учетом произошедших в российском обществе изменений политической и хозяйственно-правовой культуры) политическая централизация делает российскую политико-институциональную систему весьма уязвимой, подверженной различным рискам. Эти риски тем более возрастают ввиду слабой связи между высшей властью и основной массой населения, сохраняющихся в обществе социокультурных и политических расколов, огромных различий в уровне и качестве жизни между российскими регионами, а также ввиду отсутствия современных институтов партийно-политического представительства, как на федеральном, так и, особенно, на местном уровнях. Задачи сохранения стабильности и управляемости страны при условии наращивания динамики преобразований требуют формирования новых политических институтов и практик, новых норм и процедур взаимодействия между высшей властью и обществом, между Центром и регионами, а также ответственного перед избирателями и эффективного местного самоуправления.

Можно прогнозировать, что в ближайшие годы и десятилетия динамизм институциональных трансформаций в странах ЕС и в России будет возрастать в связи с усилением глобальной и региональной социально-политической и экономической нестабильности. Особенно глубокие и критически важные для политических институтов стран ЕС и России изменения вероятнее всего произойдут в ближайшее десятилетие, так как именно в этот переходный и переломный период будут происходить масштабные технологические, социальные и геополитические сдвиги в мире, изменение базовых принципов миропорядка. Международная система национально-территориальных государств претерпит значительные изменения, возрастет роль качественно обновленных региональных и межрегиональных союзов, формирующих основы новой архитектуры миропорядка. Однако и это будет лишь началом последующих политико-институциональных сдвигов и изменения всего внутривнутриполитического и геополитического ландшафта привычного нам мира.

Как показывает анализ структуры циклов эволюции мировой системы [Пантин, Лапкин 2014: 280-281, 284-288, 404-416], на ближайшие два десятилетия можно прогнозировать прохождение ею целого ряда кризисных, поворотных точек развития (наиболее значимыми станут 2020-2021 гг., 2024-2025 гг., 2029-2030 гг., 2033-2034 гг., 2041-2042 гг.). В каждой из них в той или иной степени будет наблюдаться новое усиление нестабильности на глобальном и национально-государственном уровнях, связанное с процессами переформатирования миропорядка и его институционального обеспечения. В эти переломные годы перед ведущими государствами (в том числе перед США,

Китаем, странами ЕС, Россией) будут возникать разнообразные альтернативы развития. Однако на глобальном уровне важнейшей на протяжении всего этого периода будет оставаться альтернатива: сохранение униполярной vs строительство полицентричной модели мироустройства. Первая будет тянуть за собою цепь разрушительных региональных конфликтов. Вторая — даст шанс нащупать иные, более гибкие институциональные формы миропорядка, более восприимчивые к культурному и социально-политическому многообразию современного мира, которое и является залогом его эволюционного и динамичного развития. В первый из этих кризисных, поворотных периодов мир уже вступил, со всею остротой ощутив “неожиданный” вызов, обусловленный стремительным ростом в последние десятилетия “тотальности” современного национального государства (причем этот рост был тем стремительнее, чем “современнее” представлялся его институциональный дизайн). Государство последовательно брало под свой контроль все те сферы жизни, которые прежде считались общественными и приватными (образование, здравоохранение, заботу о стариках и детях, — вплоть до вмешательства в дела семьи). Сегодняшний кризис выявил (если брать его социально-экономическую, но не эпидемиологическую составляющую) серьезные издержки этой экспансии капиталистического государства в сферу общественных интересов (причем наибольший удар кризиса принимают сегодня на себя именно общества, сформировавшиеся в “развитых” государствах). Быть может, кризис побудит общество к пересмотру своей прежде потребительской позиции, к более активной борьбе за возвращение себе контроля над рынками, за подчинение, — словами К. Поланьи — глобального развития требованиям человеческой природы. Быть может...

DOI: [10.17976/jpps/2020.04.05](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.05)

GLOBAL DYNAMICS OF POLITICAL INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF THE DESTABILIZING WORLD ORDER (CASES OF THE EU AND RUSSIA)

V.V. Lapkin¹, V.I. Pantin¹

¹*Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations (IMEMO), Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia*

LAPKIN, Vladimir Valentinovich, Leading Researcher, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences, email: vvlh@politstudies.ru; **PANTIN, Vladimir Igorevich**, Dr. Sci. (Philos.), Head of Department, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences, email: v.pantin@mail.ru

Lapkin V.V., Pantin V.I. Global Dynamics of Political Institutions in the Context of the Destabilizing World Order (cases of the EU and Russia). — Polis. Political Studies. 2020. No. 4. P. 55-77. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.05>

Received: 14.04.2020. Accepted: 06.05.2020

Abstract. The article analyzes how global socio-political destabilization manifests itself, and how this is associated with the growing inefficiency of many international institutions due to an increasingly dysfunctional “unipolar” world order model. By focusing on the examples of the EU and the Russian Federation, this article studies the influence of global destabilization on the dynamics of political institutions both on the level of individual states and on the supranational level. Some general characteristics defining the modern political and institutional dynamics across EU countries are analyzed; these are associated with processes for strengthening socio-political destabilization. These trends, in particular, include: the decline in the effectiveness of traditional political parties, the growing polarization of party-political systems; the rise of populism,

euro-scepticism and right-wing radicalism; intensified contradictions in interactions between central and regional political institutions, amidst the growth of separatist sentiments; and the collapse and fundamental transformation of the structure and functions of the national state (nation-state) as an “ideal”. It is shown that the supranational political institutions of the EU as a whole are not effective enough in responding to the new challenges of external cultural migration, political polarization within European societies, the crisis of the social state, and the global COVID-19 epidemic. The reasons for this inefficiency are analyzed. In Russia, which is yet to fully take the form of a Western European-type nation-state, the political institutions introduced in the 1990s are undergoing intensive changes, adapting to this global destabilization in accordance with the model of institutional tracks that is different from the model of the national state. This involves applying elements of an imperial socio-political organization. Therefore, the first part of the study is devoted to the analysis of the problems and symptoms of increasing global destabilization and the formulation of the research problem; this is then solved in the next three parts. In a comparative perspective, three cases of institutional dynamics were studied: the EU as a whole, the EU at the level of national states, and the Russian Federation as a paradoxical state (national in form, but evolving in a different direction). The final part discusses the results and main findings of the study. From 2020 to 2030, as the EU and Russia are entering a period of deep and critical institutional, it is predicted that they must transform and adapt to the upcoming dramatic remodeling of the world order.

Keywords: political institutions, political and institutional dynamics, global destabilization, world order, supranational institutions, political parties, populism, nation state, European Union, Russia.

References

- Acharya A. 2014. *The End of American World Order*. Cambridge: Polity Press. 150 p.
- Bache I., Bartle I., Flinders M. 2016. Multi-Level Governance. — *Handbook on Theories of Governance*. Ed. by C. Ansell, J. Torfing. Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar Publishing. P. 486-498.
- Backer D.A., Huth P.K. 2016. The Peace and Conflict Instability Ledger: Ranking States on Future Risks. — *Peace and Conflict*. New York: Routledge. P. 128-143.
- Blewitt J. 2015. *Understanding Sustainable Development*. London: Routledge. 406 p.
- Brubaker R. 2017. Between Nationalism and Civilizationism: The European Populist Moment in Comparative Perspective. — *Ethnic and Racial Studies*. No. 8. P. 1191-1226. <https://doi.org/10.1080/01419870.2017.1294700>
- Bruszt L. 2005. *Governing Sub-National/Regional Institutional Change: Evolution of Regional (Sub-National) Development Regimes-Challenges for Institution Building in the CEE Countries and Sub-National Institutional Experimentation*. Budapest: Central European University.
- Colomer J.M. 2007. *Great Empires, Small Nations: The Uncertain Future of the Sovereign State*. London; New York: Routledge. 114 p.
- Duncombe C., Dunne T. 2018. After Liberal World Order. — *International Affairs*. Vol. 94. No. 1. P. 25-42. <https://doi.org/10.1093/ia/iix234>
- Ferguson N. 2014. *The Great Degeneration: How Institutions Decay and Economies Die*. London: Penguin Books. 192 p.
- Giumelli F. 2013. Beyond Intergovernmentalism: The Europeanization of Restrictive Measures? — *Journal of Contemporary European Research*. Vol. 9. No. 3. P. 390-405.
- Grinin L.E. 2013. The Tiger and Dragon. Development Models and Perspectives of India and China. — *Journal of Globalization Studies*. Vol. 4. No. 1. P. 5-31.
- Grober U. 2007. *Deep Roots — a Conceptual History of “Sustainable Development” (Nachhaltigkeit)*. Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. URL: <https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2007/p07-002.pdf> (accessed 19.05.2020).
- Hale H.E. 2015. *Patronal Politics: Eurasian Regimes Dynamics in Comparative Prospective*. New York: Cambridge University Press. 542 p.
- Herranz-Surrallés A. 2014. The EU’s Multilevel Parliamentary (Battle) Field: Inter-Parliamentary Cooperation and Conflict in Foreign and Security Policy. — *West European Politics*. Vol. 37. No. 5. P. 957-975. <https://doi.org/10.1080/01402382.2014.884755>
- Ikenberry G.J. 2018a. Reflections on After Victory. — *The British Journal of Politics and International Relations*. Vol. 21. No. 1. 5-19. <https://doi.org/10.1177/1369148118791402>
- Ikenberry G.J. 2018b. The End of Liberal International Order? — *International Affairs*. Vol. 94. No. 1. P. 7-23. <https://doi.org/10.1093/ia/iix241>
- Kai He. 2012. Undermining Adversaries: Unipolarity, Threat Perception, and Negative Balancing Strategies after the Cold War. — *Security Studies*. Vol. 21. No. 2. P. 154-191. <https://doi.org/10.1080/09636412.2012.679201>

- Korotayev A., Meshcherina K., Shishkina A. 2018. A Wave of Global Sociopolitical Destabilization of the 2010s: A Quantitative Analysis. — *Democracy and Security*. Vol. 14. No. 4. P. 331-357. <https://doi.org/10.1080/17419166.2018.1517337>
- Layne Ch. 2012. This Time Its Real: The End of Unipolarity and the Pax Americana. — *International Studies Quarterly*. Vol. 56. No. 1. P. 203-213. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2011.00704.x>
- Leibfried S., Huber E., Lange M., Levy J. D., Nullmeier F., Stephens J.D. 2015. *The Oxford Handbook of Transformations of the State*. Oxford: Oxford University Press. xxviii, 898 p.
- Lischer S.K. 2017. The Global Refugee Crisis: Regional Destabilization & Humanitarian Protection. — *Daedalus*. Vol. 146. No. 4. P. 85-97. https://doi.org/10.1162/DAED_a_00461
- Merritt R.L. 1995. Population Imbalance and Political Destabilization. — *International Political Science Review / Revue internationale de science politique*. Vol. 16. No. 4. P. 405-425. <https://doi.org/10.1177/019251219501600406>
- Monteiro N.P. 2012. Unrest Assured: Why Unipolarity Is Not Peaceful. — *Quarterly Journal: International Security*. Vol. 36. No. 3. P. 9-40. https://doi.org/10.1162/ISEC_a_00064
- New J., Derwort P., Jager N.W. 2019. Sustainability Through Institutional Failure and Decline? Archetypes of Productive Pathways. — *Ecology and Society*. Vol. 24. No. 1. <https://doi.org/10.5751/ES-10700-240118>
- Piketty T. 2014. *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge, Mass.; London: The Belknap Press of Harvard University Press. 685 p.
- Reich S., Lebow R.N. 2014. *Good-Bye Hegemony! Power an Influence in the Global System*. Princeton: Princeton University Press. 208 p.
- Rydgren J. 2017. Radical Right-Wing Parties in Europe. What's Populism Got to Do with It? — *Journal of Language and Politics*. No. 4. P. 485-496. <https://doi.org/10.1075/jlp.17024.ryd>
- Sassen S. 2003. Globalization or denationalization? — *Review of International Political Economy*. Vol. 10. No. 1. P. 1-22. <https://doi.org/10.1080/0969229032000048853>
- Slinko E., Bilyuga S., Zinkina J., Korotayev A. 2017. Regime Type and Political Destabilization in Cross-National Perspective: A Re-Analysis. — *Cross-Cultural Research*. Vol. 51. No. 1. P. 26-50. <https://doi.org/10.1177/1069397116676485>
- Stokes D. 2018. Trump, American Hegemony and the Future of the Liberal International Order. — *International Affairs*. Vol. 94. No. 1. P. 133-150. <https://doi.org/10.1093/ia/iix238>
- Strezhneva M.V. 1999. *Social Culture and Regional Governance: Comparison of the European Union and Post-Soviet Experiences*. New York: Nova Science Publishers. 273 p.
- Voskressenski A.D. 2017. Chapter 16: General Rules and National Specifics in Non-Western Democracy. — *Is Non-Western Democracy Possible? A Russian Perspective*. Ed. by A.D. Voskressenski. Singapore: World Scientific. P. 595-666. https://doi.org/10.1142/9789813147386_0017
- Weber M. 1946. *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: Oxford University Press. 448 p.
- Witt U. 2019. *Innovative Expansion of Capitalism and Global Institutional Destabilization*. URL: <https://sase.confex.com/sase/2019/meetingapp.cgi/Paper/11255> (accessed 11.05.2020).
- Arbatova N. 2017. Future of European Integration in the Context of Internal and External Crises. — *World Economy and International Relations*. Vol. 61. No. 10. P. 57-65. (In Russ.) <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2017-61-10-57-65>
- Arbatova N.K. 2014. Krizis kak katalizator evropeiskoi integratsii [The Crisis as a Catalyst for European Integration]. — *Globalnaya perestroika* [Global Perestroika]. Ed. by A.A. Dynkin, N.I. Ivanova. Moscow: Ves' Mir Publ. P. 341-362. (In Russ.)
- Blyakher L.Ye. 2003. Power Games in a Crisis-Stricken Socium: Transformation of the Russian Institutional Structure. — *Polis. Political Studies*. No. 1. P. 63-73. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2003.01.06>
- Colomer J.M. 2008. Great Empires, Small Nations: The Uncertain Future of the Sovereign State. (Russ. ed.: Colomer J.M. Velikie imperii, malye natsii: neyasnoe budushchee suverennogo gosudarstva. Abstract. — *Political Science (RU)*. No. 4. P. 42-61).
- Efimova L., Khokhlova N. 2020. Conceptualisation of "Asian Values" in Malaysia and Singapore. — *World Economy and International Relations*. Vol. 64. No. 1. P. 91-98. (In Russ.) <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2020-64-1-91-98>
- Gelman V.Ya. 2003. Institutional Construction and Informal Institutions in Modern Russian Politics. — *Polis. Political Studies*. No. 4. P. 6-25. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2003.04.02>
- Gospodarik Yu.P., Pashkovskaya M.V. 2016. *Mezhdunarodnaya ekonomicheskaya bezopasnost'* [International Economic Security]. Moscow: Universitet "Sinergiya". 416 p. (In Russ.)
- Grinin L.E., Korotaev A.V., Isaev L.M., Shishkina A.R. 2015. Reconfiguration of the World System and Increased Risks of Political Instability. — *Sistemnyi monitoring global'nykh i regional'nykh riskov*. Vol. 6. P. 4-19. (In Russ.)

- Gromoglasova E.S. 2009. *Teoriya i praktika politicheskogo upravleniya v Evropeiskom Soyuze* [Theory and Practice of Political Governance in the European Union]. Moscow: IMEMO RAS. 116 p. (In Russ.)
- Il'chenko M.S., Fadeicheva M.A. 2007. Rossiiskii federalizm: formal'nye deklaratsii i neformal'nye praktiki [Russian Federalism: Formal Declarations and Informal Practices]. — *Federalizm i tsentralizatsiya* [Federalism and Centralization]. Ekaterinburg: Ural'skoe otdelenie Rossiiskoi akademii nauk. P. 43-58. (In Russ.)
- Jessop B. The State: Past, Present, Future. (Russ. ed.: Jessop B. *Gosudarstvo: proshloe, nastoyashchee i budushchee*. Moscow: Izdatel'skii dom "Delo").
- Kardava N.V. 2019. Cybersecurity Policy in the European Union: National and Supranational Levels. — *The Caspian Region: Politics, Economics, Culture*. No. 3. P. 73-78. (In Russ.) <https://doi.org/10.21672/1818-510X-2019-60-3-073-078>
- Klaus V. 2016. The Future of International Development Institutions: Can Their Failures Be Even Greater? — *Mir peremen*. No. 1. P. 8-10. (In Russ.)
- Korotaev A.V., Grinin L.E., Isaev L.M., Bilyuga S.E., Vas'kin I.A., Slin'ko E.V., Shishkina A.R., Meshcherina K.V. 2017. *Destabilizatsiya: global'nye, natsional'nye, prirodnye faktory i mekhanizmy* [Destabilization: Global, National, Natural Factors and Mechanisms]. Moscow: Moskovskaya redaktsiya izdatel'stva "Uchitel". 344 p. (In Russ.)
- Korotayev A., Khokhlova A., Tsirel S. 2018. Unemployment as a Predictor of Socio-Political Destabilization in Western and Eastern Europe. — *Ekonomicheskaya sotsiologiya = Journal of Economic Sociology*. Vol. 19. No. 2. P. 118-166. <https://doi.org/10.17323/1726-3247-2018-2-117-166>
- Korotayev A.V., Slin'ko E.V., Shul'gin S.G., Bilyuga S.E. 2016. Intermediate Types of Political Regimes and Socio-Political Instability: Quantitative Cross-National Analysis. — *Politeia*. No. 3(82). P. 31-52. (In Russ.) <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2016-82-3-31-51>
- Lapkin V.V. 2019. Global Interlude: from Unipolar Dysfunction to a New World Order. — *Polis. Political Studies*. No. 6. P. 128-144. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.10>
- Malkov S.Yu., Bilyuga S.E. 2015. The Model of Sustainability / Destabilization of Political Systems. — *Informatsionnye voyny*. Vol. 33. No. 1. P. 7-18. (In Russ.)
- Malkov S.Yu., Maksimov A.A. 2018. The Contours of the Coming World Order. — *Istoriya i sovremennost'*. No. 4. P. 3-29. (In Russ.) <https://doi.org/10.30884/iis/2018.04.01>
- Melville A.Yu., Stukal D.K., Mironyuk M.G. 2013. "King of the Hill", or Why Bad Institutions in Post-Communist Autocracies. — *Polis. Political Studies*. No. 2. P. 125-143. (In Russ.)
- Naumkin V.V. 2013. *Arabskii mir, islam i Rossiya: proshloe i nastoyashchee* [Arab World, Islam and Russia: Past and Present]. Moscow: Institut vostokovedeniya RAN. 526 p. (In Russ.)
- North D., Wallis J., Weingast B. Violence and Social Orders. (Russ. ed.: North D., Wallis J., Weingast B. *Nasilie i sotsial'nye poryadki*. Moscow: Gaidar Institute Press. 2011. 479 p.)
- Novosad T. 2019. EU Decision-Making Mechanisms: Current Trends. — *Contemporary Europe*. No. 3. P. 190-196. (In Russ.) <http://dx.doi.org/10.15211/soveurope32019190196>
- Panov P.V. 2006. Institutsional'nye transformatsii [Institutional Transformations]. — *Institutsional'naya politologiya: sovremennyi institutsionalizm i politicheskaya transformatsiya Rossii* [Institutional Political Science: Modern Institutionalism and the Political Transformation of Russia]. Ed. by S.V. Patrushev. Moscow: ISP RAS. P. 64-74. (In Russ.)
- Pantin V.I. 2019. Political Cleavages and Splits in Modern Societies. — *South-Russian Journal of Social Sciences*. Vol. 20. No. 3. P. 28-40. (In Russ.) <https://doi.org/10.31429/26190567-20-3-28-40>
- Pantin V.I., Lapkin V.V. 2014. *Istoricheskoe prognozirovanie v XXI veke: Tsikly Kondrat'eva, evolyutsionnye tsikly i perspektivy mirovogo razvitiya* [Historical Forecasting in the 21st Century: Kondratieff's Cycles, Evolutionary Cycles and Prospects for World Development]. Dubna: Phoenix-plus. 456 p. (In Russ.)
- Patrushev S.V. 2019. Institutsionalizm i neoinstitutsionalizm [Institutionalism and Neoinstitutionalism]. — *Sovremennaya politicheskaya nauka: Metodologiya: Nauchnoe izdanie* [Contemporary Political Science: Methodology: Scientific Publication]. Ed. by O.V. Gaman-Golutvina, A.I. Nikitin. Moscow: Aspect Press. P. 101-137.
- Pivovarov Yu.S. 2006. *Russkaya politika v ee istoricheskoi i kul'turnoi otoslozheniyakh* [Russian Politics in Its Historical and Cultural Relations]. Moscow: ROSSPEN. 168 p. (In Russ.)
- Pivovarov Yu.S. 2014. *Russkoe nastoyashchee i sovet'skoe proshloe* [Russian Present and Soviet Past]. Moscow — St. Petersburg: Center for Humanitarian Initiatives, University Book. 336 p. (In Russ.)
- Restrukturizatsiya politicheskogo landshafta evropeiskikh gosudarstv* [Restructuring of the Political Landscape of European States]. 2017. Ed. by V.G. Baranovskii, I.Ya. Kobrinskaya. Moscow: IMEMO RAS. 69 p. (In Russ.)
- Rossiia v global'noi politike. Novye pravila igry bez pravil* [Russia in Global Politics. New Rules of the Game Without Rules]. 2015. Ed. by F. Luk'yanov. Moscow: EKSMO. 384 p. (In Russ.)
- Semenenko I.S. 2016. Identity Politics and Identities in Politics: Interethnic Perspectives in a European Context. — *Polis. Political Studies*. No. 4. P. 8-28. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2016.04.03>

- Strezhneva M.V. 1999. *Evropeiskii soyuz i SNG: sravnitel'nyi analiz institutov* [European Union and CIS: Institutional Benchmarking]. Moscow: MONF. 265 p. (In Russ.)
- Vainshtein G. 2018. European Populism in the Late 2010s. — *World Economy and International Relations*. Vol. 62. No. 3. P. 29-38. (In Russ.) <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2018-62-3-29-38>
- Vainshtein G.I. 2017. Modern Populism as a Subject of Political Science. — *Polis. Political Studies*. No. 4. P. 69-89. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.04.06>
- Vinogradov A.V., Ryabov A.V. 2019. Political Systems of Post-Soviet States and China in the Process of Inter-System Transformation. — *Polis. Political Studies*. No. 3. P. 69-86. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.03.05>
- Vorozheykina T.Ye. 2002. State and Society in Russia: the State-Centric Development Mould Exhausted. — *Polis. Political Studies*. No. 4. P. 60-65. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2002.04.04>
- Yakovlev P. 2017. "The Trump Factor" and the Changing Face of Globalization. — *World Economy and International Relations*. Vol. 61. No. 7. P. 5-14. (In Russ.) <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2017-61-7-5-14>
- Zverev A.F. 1992. The Theory of Bureaucracy from M. Weber to L. von Mises. — *Gosudarstvo i pravo*. No. 1. P. 89-95. (In Russ.)

Литература на русском языке

- Арбатова Н.К. 2014. Кризис как катализатор европейской интеграции. — *Глобальная перестройка*. Под ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой. М.: Весь мир. С. 341-362.
- Арбатова Н. 2017. Будущее европейской интеграции в контексте внутренних и внешних кризисов. — *Мировая экономика и международные отношения*. Т. 61. № 10. С. 57-65. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2017-61-10-57-65>
- Бляхер Л.Е. 2003. Властные игры в кризисном социуме: преобразования российской институциональной структуры. — *Полис. Политические исследования*. № 1. С. 63-73. <https://doi.org/10.17976/jpps/2003.01.06>
- Вайнштейн Г. 2017. Современный популизм как объект политологического анализа. — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 69-89. <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.04.06>
- Вайнштейн Г. 2018. Европейский популизм в конце 2010-х. — *Мировая экономика и международные отношения*. Т. 62. № 3. С. 29-38. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2018-62-3-29-38>
- Виноградов А.В., Рябов А.В. 2019. Политические системы постсоветских стран и Китая в процессе межсистемной трансформации. — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 69-86. <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.03.05>
- Ворожейкина Т.Е. 2002. Государство и общество в России: исчерпание государственноцентричной матрицы развития. — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 60-65. <https://doi.org/10.17976/jpps/2002.04.04>
- Гельман В.Я. 2003. Институциональное строительство и неформальные институты в современной российской политике. — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 6-25. <https://doi.org/10.17976/jpps/2003.04.02>
- Господарик Ю.П., Пашковская М.В. 2016. *Международная экономическая безопасность*. М.: Университет "Синергия". 416 с.
- Гринин Л.Е., Коротаев А.В., Исаев Л.М., Шишкина А.Р. 2015. Реконфигурация Мир-Системы и усиление рисков политической нестабильности. — *Системный мониторинг глобальных и региональных рисков*. Т. 6. С. 4-19.
- Громогласова Е.С. 2009. *Теория и практика политического управления в Европейском союзе*. М: ИМЭМО РАН. 116 с.
- Джессоп Б. 2019. *Государство: прошлое, настоящее и будущее*. М.: Издательский дом "Дело". 504 с.
- Ефимова Л., Хохлова Н. 2020. Концептуализация "азиатских ценностей" в Малайзии и Сингапуре. — *Мировая экономика и международные отношения*. Т. 64. № 1. С. 91-98. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2020-64-1-91-98>
- Зверев А.Ф. 1992. Теория бюрократии от М. Вебера к Л. фон Мизесу. — *Государство и право*. № 1. С. 89-95.
- Ильченко М.С., Фадеичева М.А. 2007. Российский федерализм: формальные декларации и неформальные практики. — *Федерализм и централизация*. Екатеринбург: УрО РАН. С. 43-58.
- Кардава Н.В. 2019. Политика обеспечения кибербезопасности в Европейском союзе: национальный и наднациональный уровни. — *Каспийский регион: политика, экономика, культура*. № 3. С. 73-78. <https://doi.org/10.21672/1818-510X-2019-60-3-073-078>

Коротаев А.В., Гринин Л.Е., Исаев Л.М., Билюга С.Э., Васькин И.А., Слинко Е.В., Шишкина А.Р., Мещерина К.В. 2017. *Дестабилизация: глобальные, национальные, природные факторы и механизмы*. М.: Московская редакция издательства “Учитель”. 344 с.

Коротаев А.В., Слинко Е.В., Шульгин С.Г., Билюга С.Э. 2016. Промежуточные типы политических режимов и социально-политическая нестабильность. Опыт количественного кросс-национального анализа. — *Полития: Анализ. Хроника. Прогноз*. № 3. С. 31-52. <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2016-82-3-31-51>

Коротаев А.В., Хохлова А.А., Цирель С.В. 2018. Безработица как предиктор социально-политической дестабилизации в странах Западной и Восточной Европы. — *Экономическая социология*. Т. 19. № 2. С. 118-166. <https://doi.org/10.17323/1726-3247-2018-2-117-166>

Клаус В. 2016. Будущее международных институтов развития: могут ли их неудачи быть еще большими? — *Мир перемен*. № 1. С. 8-10.

Коломер Ж. 2008. Великие империи, малые нации: неясное будущее суверенного государства (реферат). — *Политическая наука*. № 4. С. 42-61.

Лапкин В.В. 2019. Глобальная интерлюдия: от униполярной дисфункции к новому миропорядку. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 128-143. <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.10>

Малков С.Ю., Билюга С.Э. 2015. Модель устойчивости / дестабилизации политических систем. — *Информационные войны*. Т. 33. № 1. С. 7-18.

Малков С.Ю., Максимов А.А. 2018. Контуры грядущего миропорядка. — *История и современность*. № 4. С. 3-29. <https://doi.org/10.30884/iis/2018.04.01>

Мельвил А.Ю., Стукал Д.К., Мироноук М.Г. 2013. “Царь горы”, или почему в посткоммунистических автократиях плохие институты. — *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 125-143.

Наумкин В.В. 2013. *Арабский мир, ислам и Россия: прошлое и настоящее*. М.: Институт востоковедения РАН. 526 с.

Новосад Т. 2019. Механизмы принятий решений в ЕС: современные тенденции. — *Современная Европа*. № 3. С. 190-196. <http://dx.doi.org/10.15211/soveurope32019190196>

Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. 2011. *Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества*. М.: Изд. Института Гайдара. 480 с.

Панов П.В. 2006. Институциональные трансформации. — *Институциональная политология: современный институционализм и политическая трансформация России*. Под ред. С.В. Патрушева. М.: ИСП РАН. С. 64-74.

Пантин В.И. 2019. Политические размежевания и расколы в современных обществах. — *Южно-российский журнал социальных наук*. Т. 20. № 3. С. 28-40. <https://doi.org/10.31429/26190567-20-3-28-40>

Пантин В.И., Лапкин В.В. 2014. *Историческое прогнозирование в XXI веке: Циклы Кондратьева, эволюционные циклы и перспективы мирового развития*. Дубна: Феникс+. 456 с.

Патрушев С.В. 2019. Институционализм и неинституционализм. — *Современная политическая наука: Методология*. Отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, А.И. Никитин. М.: Аспект Пресс. С. 101-137.

Пивоваров Ю.С. 2006. *Русская политика в ее историческом и культурном отношении*. М.: РОССПЭН. 168 с.

Пивоваров Ю.С. 2015. *Русское настоящее и советское прошлое*. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, Университетская книга. 336 с.

Реструктуризация политического ландшафта европейских государств. 2017. Под ред. В.Г. Барановского, И.Я. Кобринской. М.: ИМЭМО РАН. 69 с.

Россия в глобальной политике. Новые правила игры без правил. Под ред. Ф. Лукьянова. 2015. М.: ЭКСМО. 384 с.

Семененко И.С. 2016. Политика идентичности и идентичность в политике: этнонациональные ресурсы, европейский контекст. — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 8-28. <https://doi.org/10.17976/jpps/2016.04.03>

Стрежнева М.В. 1999. *Европейский союз и СНГ: сравнительный анализ институтов*. М.: МОНФ. 265 с.

Яковлев П. 2017. “Фактор Трампа” и меняющийся облик глобализации. — *Мировая экономика и международные отношения*. Т. 61. № 7. С. 5-14. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2017-61-7-5-14>

МОДЕЛЬ НЕ-ЗАПАДА: СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ГОСУДАРСТВО-ЦИВИЛИЗАЦИЯ?

В.В. Наумкин

НАУМКИН Виталий Вячеславович, доктор исторических наук, профессор, академик РАН, научный руководитель, Институт востоковедения РАН; зав. кафедрой, факультет мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, email: director@ivran.ru

Наумкин В.В. Модель не-Запада: существует ли государство-цивилизация? — Полис. Политические исследования. 2020. № 4. С. 78–93. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.06>

Статья поступила в редакцию: 17.04.2020. Принята к публикации: 07.05.2020

Аннотация. В статье анализируются некоторые аспекты цивилизационизма как тренда в самопозиционировании ряда отдельных стран Востока, в первую очередь — Китая и Индии, но также и ряда других. Подробно рассматривается концепция государства-цивилизации (ГЦ), отличного от государства-нации (ГН), позволяющая раскрыть особенности ведущих крупных государств не-Запада. В первую очередь, эти особенности обусловлены протяженностью их истории, глубокой укорененностью традиционных культурных кодов в сознании их народов и правящих элит, неприятием универсализма и любых попыток навязать им стратегию заимствования тех или иных чуждых им ценностных норм. Делается вывод о соответствии России параметрам категории ГЦ (в форме, сопрягающей воедино этот тип государства с типом ГН). Показано, что отдельные государства в этой системе координат занимают промежуточное положение, обладая лишь некоторыми предпосылками для включения в число государств-цивилизаций. Этот вывод иллюстрируется примерами ряда государств Арабского Востока. Выявлены две различные интерпретации понятия цивилизационизма в описании характера рассматриваемых государств и их политических практик. Авторы, представляющие интересы политических элит самих ГЦ, акцентируют моральное и культурное превосходство ГЦ в ответ на эксклюзивистские притязания Запада на глобальное лидерство, а также продвигают тезис об “ответственном” подходе ГЦ к управлению обществом и решению глобальных проблем. В то же время для их противников цивилизационизм — синоним авторитаризма, несоблюдения прав меньшинств, политической архаики и национального эгоизма. Автор рассматривает концепцию ГЦ не только как орудие идейно-политической борьбы, но и как полезный инструмент выявления реально существующих отличий данных государств от идеальных моделей, основанных на принципах неолиберальной демократии и универсализма.

Ключевые слова: государство-цивилизация, Китай, гуаньси, Индия, дхарма, евразийство, идентичность, государство-нация, арабский национализм, религия.

Некоторое время назад в понятийный аппарат гуманитарной науки вошла бинарная конструкция: *государство-цивилизация vs государство-нация* (ГЦ vs ГН). Она стала все чаще появляться в теоретическом лексиконе отдельных зарубежных историков и политологов¹. Цель этой статьи — выяснить, что стоит за сопряжением таких двух существенно различающихся понятий, как государство и цивилизация, каковы черты “государства-цивилизации” согласно взглядам основных апологетов этого понятия, какие государства можно отнести к данной категории и действительно ли они так сильно отличаются от “государств-наций”,

¹ Среди них, например, адъюнкт-исследователь Сингапурского университета Джеймс Дорси (James Dorsey).

что образуют с ними содержащую антагонизм дихотомию. В русле этого подхода рассматриваются вопросы государственности на современном Востоке.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИОНИЗМ

Для решения этой задачи необходимо сначала кратко коснуться понятия “цивилизация”. В академическом и публицистическом дискурсе трудно найти термин, который бы использовался чаще и разнообразнее, чем этот. Присущие этому понятию многоплановость, универсальность, некоторая размытость и фактическое отсутствие четкого единого определения делают возможным его широкое и многозначное использование в теоретическом дискурсе различных научных дисциплин. В их числе, прежде всего, гуманитарные науки: история, социология, этнология, политология, философия, право, востоковедение, конфликтология, международные отношения. Но также и ряд естественных наук. При этом понятие цивилизации сопрягается, в частности, с такими понятиями как варварство (как антипод цивилизации, предшествовавший ей этап развития человечества), а также культура, нация, этнос, окружающая среда, общество, развитее, война, мир, коммуникации, технологии, государство.

В этой статье я не ставлю задачу дать подробный анализ уже существующих определений цивилизации или предложить еще одно, новое. Но коль скоро этот термин здесь все же используется, стоит привести в качестве поучительного примера мнение о нем авторитетных российских авторов энциклопедического словаря. Они считают, что цивилизация есть существующая в определенное время и на определенной территории система, “в рамках которой действует социокультурная историческая общность с присущей ей совокупностью политико-экономических, культурных, духовных, в том числе конфессиональных, характеристик” [Российская цивилизация... 2001: 3].

Нет также необходимости приводить в качестве примера идеи кого-либо из сонма ученых прошлого, в трудах которых занимало важнейшее место выше-названное понятие, интерпретируемое всеми по-разному, хотя о “человеческой цивилизации”, так или иначе, говорили многие гуманитарии. Некоторые ученые, специализирующиеся по цивилизационной тематике, создали целые научные направления, школы. Достаточно назвать известного русского социолога, одного из идеологов панславизма Николая Данилевского (1822-1885), считавшего носителями исторической жизни некие самобытные общности людей, которые он называл “культурно-историческими типами”, общим числом десять. О восьми великих культурах (в качестве девятой он выделил пробуждавшуюся русско-сибирскую) говорил немецкий историк и философ, автор вышедшего в свет в 1918 г. знаменитого, не лишнего духа апокалиптической мрачности труда “Закат Европы” Освальд Шпенглер (1880-1936). Не менее известный британский историк и культуролог Арнольд Тойнби (1889-1975) в серии трудов, в первую очередь — в 12-томном “Исследовании истории”, продолжил линию Шпенглера, рассматривая историю человечества сквозь призму теории локальных цивилизаций, каждая из которых проходит определенный жизненный путь от возникновения до разложения, причем религия является основой ее самобытной системы ценностей. Продолжателями цивилизационистского подхода к истории в России в XX в. стали евразийцы. Стоит напомнить, что знаменитый лингвист и философ Николай Трубецкой (1890-1938), которого принято считать первым теоретиком евразийства, уже в своей ранней работе “Европа и человечество” подверг критике претензии агрессивной романо-германской формы

цивилизации на превосходство, а Россия—Евразия виделась ему как двигатель всеобщей борьбы против ее универсализма [цит. по: Логинов 2013].

Продолжив этот краткий исторический экскурс, перенесемся в более близкое к нам время. Еще в 1920–1930-е годы между отечественными историками и востоковедами в русле безраздельно правившей тогда марксистской методологии развернулась дискуссия об “азиатском способе производства”, которая потом была свернута по распоряжению “сверху”. В середине 1960-х годов дискуссия возобновилась, вылившись в более широкие споры между сторонниками формационного и цивилизационного подходов. В немалой мере робкие еще размышления цивилизационистов были если не завуалированным протестом, то своего рода фрондой, вызванной аллергией на сковывавшую мысль марксистскую формулу. Рассуждать, к примеру, о том, были ли древние восточные государства рабовладельческими или нет, таким историкам и востоковедам было уже неинтересно. Но им приходилось соблюдать осторожность, чтобы не быть обвиненными в отступлении от марксизма. Впрочем, по несколько язвительному замечанию М.А. Бойцова, “‘Теория цивилизаций’ появилась когда-то на нашей почве как раз как один из результатов усилий по приданию большей гибкости официальному марксизму, наряду с другими изобретениями того же плана... Цивилизационный подход должен был сыграть роль второго ‘азиатского способа производства’...” [Бойцов 1999: 36]. Так или иначе, с конца 1980-х годов табу на ревизию формационной теории было полностью снято (некоторые воодушевленные цивилизационисты даже видели в этом отказ от нее). Среди востоковедов, исследовавших Восток именно в русле марксистской теории общественно-экономических формаций, также были ученые, выражавшие несогласие с применением классической марксовой “пятичленки” к странам Востока. Так, сотрудник Института востоковедения Василий Илюшечкин считал, что, применительно к истории Китая, вместо рабовладельческой и феодальной формаций следует говорить о единой сословно-классовой, в основе которой лежал рентный способ производства [см. Илюшечкин 1986].

Большой вклад в разработку теории восточных цивилизаций внес еще один коллега автора этой статьи по Институту востоковедения Борис Ерасов (1932–2001). В рамках своих цивилизационистских концепций он обосновывал самостоятельный категориальный статус социальной культурологии, подчеркивая противоречивую сущность глобализации, которая наряду с распространением универсальных общечеловеческих ценностей деструктивно влияет на самобытные культуры, порождая их сопротивление через фундаментализм и национализм [Ерасов 1990; 2002].

Среди наиболее заметных теоретических построений последних десятилетий в духе цивилизационизма можно отметить концепцию американского политолога и международника Сэмюэла Хантингтона, изложенную в его носящем междисциплинарный характер труде “Столкновение цивилизаций”, ставшем сразу одним из лидеров мировой цитируемости. Элементы цивилизационного подхода характерны также для трудов американского ученого палестинского происхождения Эдварда Саида.

А в XXI в. ученые и политики разных стран и школ стали увлеченно обсуждать конфликт между Западом (иногда США) и исламским миром, в том числе сквозь призму цивилизационистского подхода. В этой дихотомии в качестве антиподов выступали не вполне гомогенные и равнозначные субъекты. Среди работающих в рамках цивилизационной школы современных российских “неотойнбианцев” (к тому же воодушевленных успехом Хантингтона) — по-

литологов, этнологов, историков, экономистов, философов, востоковедов — можно назвать, в частности, Юрия Яковца, Александра Яковлева, Андрея Логинова, равно как и немалое число других авторов.

В мировой политике под влиянием представлений и концепций, выработанных учеными-цивилизационистами, в эти годы развиваются различного рода практические международные инициативы. В их русле можно рассматривать выдвинутую в 2002 г. Мохаммадом Хатами (в то время — президентом Исламской Республики Иран) концепцию “Диалога цивилизаций” или проект в то время главы испанского правительства Хосе Луиса Родригеса Сапатеро и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана “Альянс цивилизаций”, который до сих пор поддерживается ООН на средства некоторых государств-спонсоров. В рамках последнего проекта в 2005 г. ООН была создана так называемая Группа высокого уровня из двадцати представителей общественно-политических и академических кругов различных государств (в их числе был и автор данной статьи), через два года представившая генеральному секретарю ООН концептуальный доклад, который лег в основу реализации проекта².

Между пишущими о проблеме цивилизации современными авторами ведется дискуссия об иерархии ее маркеров, в особенности — религии. Разброс суждений довольно велик. По мнению известных ученых-востоковедов Александра Акимова и Александра Яковлева, высказанному в их весьма интересной работе о цивилизациях XXI в., цивилизация есть “стабильная этнодемографическая и социально-культурная общность, населяющая определенную территорию и обладающая в течение многих веков духовными (религиозными и моральными) идеалами и ценностями, непреходящими во времени основами бытовой и художественной культуры, особым мировосприятием и нормами поведения” [Яковлев, Акимов 2019: 478]. Впрочем, в это определение с трудом укладывается предлагаемая авторами довольно асимметричная и основанная в одном случае на религиозной, в другом — на этнической, в третьей — на географической составляющей категоризация мировых цивилизаций, включающая в себя европейскую, православную, китайскую, японскую, индийскую, исламскую, африканскую и латиноамериканскую [там же: 479]. Этот не совсем релевантный приведенному авторами определению список вызывает целый ряд вопросов.

В частности, можно ли считать конфессию главным маркером цивилизации? Заметим, что с подобным заключением был не согласен ряд широко известных ученых нашего времени, в частности, Александр Панарин (1940–2003). Говоря о Евразии, он отмечал возрастающую в обществе отстраненность от религиозных контекстов культуры и считал, что основой консолидации должна быть выработка особых евразийских культурных универсалий, преобразующих энергию религиозных импульсов в специфической цивилизационной форме [Панарин 1995: 17–18]. Можем ли мы говорить о неких общих цивилизационных основах обществ, входящих, к примеру, в категорию православной (то есть базирующуюся на религиозной общности) цивилизации? В плане чисто религиозных ценностей такие основы, скорее всего, есть, но даже в этой сфере решительно вмешивающаяся в нее политика оттесняет духовное родство православных народов, что проявилось в ходе не столь давних, хорошо известных печальных событий, связанных с расколом среди православных церквей. С исламским сообществом, лишенным церковной иерархии, дело обстоит еще сложнее: там разобщение носит гораздо

² Альянс цивилизаций. Доклад Группы высокого уровня 13 ноября 2006 г. — Организация Объединенных Наций. 2006. 58 с. URL: https://www.unaoc.org/repository/HLG_report_RU.pdf (accessed 08.05.2020).

более глубокий характер (достаточно привести обострившееся в последние годы шиитско-суннитское противостояние, не говоря уж о жестокой борьбе джихадистов из известных террористических организаций, таких как запрещенные в России ДАИШ/ИГИЛ или Хай'ат Тахрир аш-Шам/Джабхат ан-Нусра, со всем не согласным с ними мусульманским сообществом), укорененный в различных интерпретациях самого вероучения. При этом ислам традиционно гораздо больше связан с политикой, нежели другие религии.

И дело не только в разобщении по религиозной линии, но, в первую очередь, в преобладающем влиянии на религиозные институты интересов и политики национальных государств, а также интересов различных этнических групп. Вроде бы близкая к России по всем параметрам Украина уже вряд ли может считаться сегодня по конфессиональному признаку цивилизационным партнером России. А православная Болгария, которая была обязана Российской империи освобождением от турецкого ига в XIX в., во время двух мировых войн XX в. была союзницей врагов России/СССР. При этом не следует забывать, что Россия во время первой и второй балканских войн поддерживала противников Болгарии, а в начале Первой мировой болгары объявляли войну лишь Сербии, а не России, но вслед за этим Санкт-Петербург первым объявил войну "болгарским братьям". Примеров можно привести много. Иран, где подавляющая часть населения принадлежит к шиитскому толку ислама, и Ирак, где шииты составляют около двух третей его народа, в 1980-1988 гг. прошли через кровопролитную войну. В ней людские потери составили, оценочно, убитыми 180 000 военнослужащих со стороны Ирака и 500 000 — со стороны Ирана, а также 20 000 мирных жителей с обеих сторон, были ранено около полутора миллиона человек из числа военнослужащих и мирных жителей с обеих сторон. И это между странами, принадлежащими к одной цивилизации? Почему бы и нет, скажет убежденный поклонник вышеназванного подхода, ведь внутри одной цивилизации ведется порой весьма ожесточенная борьба между ее различными ответвлениями и всякого рода группами. Полагаю, вряд ли можно спорить с тем, что внутри одной цивилизации могут существовать глубокие противоречия, порой приводящие к насильственным конфликтам и даже войнам.

ГОСУДАРСТВО-ЦИВИЛИЗАЦИЯ VS ГОСУДАРСТВО-НАЦИЯ?

Термин "государство-цивилизация" (ГЦ) одним из первых ввел в широкий оборот британский исследователь Китая и известный журналист, работавший гостем-профессором в ряде китайских университетов, Мартин Жак (*Martin Jacques*). В своем вышедшем в свет в 2009 г. бестселлере под названием "Когда Китай правит миром" (*When China Rules the World*) он подчеркивал, что история Китая как государства-нации насчитывает всего лишь 120-150 лет, а как цивилизация он существует тысячелетия. Обычно в концептуализации "государств-цивилизаций" делают акцент на их цивилизационной особости, приверженности унаследованным от многих поколений предков и глубоко укорененным в их самоидентификации культурным кодам. Так, Жак называет фундаментальные черты Китая, развивавшиеся на всех этапах его более чем двухтысячелетней истории и предопределяющие его идентичность. Это: "отношение между государством и обществом, очень специфическое понимание семьи, культ предков, конфуцианские ценности, сеть межличностных отношений, которую называют *гуаньси* (*guanxi*), китайская еда и окружающие ее традиции и, естественно, китайский язык с его необычным соотношением письменной и разговорной форм" [Jacques 2012: 244].

Когда китайцы, утверждает Жак, употребляют термин “Китай”, они относят его не к стране или к нации, а к китайской цивилизации — “ее истории, династиям, Конфуцию, способам мысли, роли правительства, отношениям и обычаям, сети личных связей (*гуаньси*), семье, сыновней почтительности, культу предков, ценностям, самобытной философии — всему тому, что задолго предшествовало истории Китая как государства-нации”. И далее еще определеннее: “Китайская идентичность является преимущественно продуктом своей цивилизационной истории” [ibidem]. С данными рассуждениями о китайской идентичности перекликаются интересные размышления В.В. Лапкина. Уместно упомянуть в этом контексте, в частности, вывод российского ученого о “вызове унифицированного универсализма” Запада, а также о том, что не-Запад пытается компенсировать “недоформированность” НГ мобилизацией своих культурно-цивилизационных ресурсов [см. Лапкин 2012: 35-38; 2017: 94-97].

М. Жак отмечает две важные характеристики китайского государства-цивилизации. Во-первых, это исключительная продолжительность его существования. Во-вторых, это то, что сам его масштаб — как географический, так и демографический — означает огромное разнообразие. Цивилизаций в истории было много, есть и государства-цивилизации, вроде Индии, но таких, как Китай, не было и нет, как считает Жак. Только в этой стране сливаются воедино “цивилизация” и “государство” (за исключением западного Китая), именно поэтому есть все основания называть именно его в полной мере “государством-цивилизацией”, в то время как у других есть лишь его элементы. В какой-то мере это можно сказать о США, но их цивилизация не более чем “европейское наследие”, к тому же существующее в лучшем случае около 400 лет.

При этом, по Жаку, КНР как ГЦ в течение более двух тысячелетий позиционирует себя скорее как цивилизацию, нежели как нацию. Если и считать это суждение несколько преувеличенным, мысль о большой, по самой скромной оценке, роли цивилизационной преемственности в самоидентификации китайцев (что, кстати, характерно и для россиян), представляется безошибочной.

И в связи с этим отметим одно важное (хотя, возможно, и спорное) заключение Жака: вопреки западному представлению о Китае как о сильно централизованном государстве, это совсем не так. Почему же? Потому что эффективно управлять такой страной якобы было невозможно в династийный период, невозможно и сейчас: “она просто слишком велика”. Опять возникает ассоциация с Россией. Не будем забывать, что федеративное устройство нашей страны как раз и отражает ее масштабы и разнообразие, обеспечивая эффективность управления.

Даже если исходить из тезиса о противопоставленности двух вышеназванных типов государства, своего рода антиподов, можно допустить, что одно и то же государство может быть одновременно и цивилизацией, и нацией. При такой интерпретации в одной группе стран окажутся те, которые представляют собой лишь государства-нации, а в другой — те, что являются одновременно и нациями, и цивилизациями. Как образно высказался о Китае ведущий американский китаевед (ныне покойный), политолог Лусиан Пай: “Китай есть цивилизация, претендующая на то, чтобы быть нацией-государством” [Pye 1992: 235]. Впрочем, согласно другому толкованию, государства-цивилизации могут и вовсе не позиционировать себя как нации.

Еще в одной известной работе — “Китайская волна: подъем цивилизационного государства” (*The China Wave: Rise of a Civilizational State*) популярный

в Китае, да и в некоторой мере за его пределами, автор из Фуданьского университета и Женевской школы дипломатии и международных отношений Жан Вейвей (*Zhang Weiwei*) утверждает, что Китай добился успеха, отвернувшись от западных политических идей, следуя вместо них модели, укорененной в конфуцианской культуре и основанной на “системе экзаменов” (*exam-based*) и меритократической традиции [Weiwei 2012: 61]. Опираясь на это заключение, некоторые западные авторы рассуждают о неизменной для китайской цивилизации роли уже упоминавшейся выше концепции *гуаньси*, имеющей будто бы аналоги и в некоторых (в первую очередь, общинных) традициях российского общества, несмотря на то, что русская культура весьма далека от конфуцианства. Впрочем, неприятие норм неолиберальной демократии характерно и для государств, не входящих в категорию государств-цивилизаций.

Непримиримый критик концепции государств-цивилизаций Джеймс Дорси считает этнонационализм неотъемлемой чертой их политики. Он обвиняет “цивилизационистские” власти КНР в якобы имеющем место нарушении прав человека и особенно этноконфессиональных меньшинств в стране³. С ним не согласен Вейвей: “Верно, что китайское общество на протяжении всей своей истории было больше секулярным, чем религиозным, но верно и то, что китайская культура, находящаяся под влиянием конфуцианства, моралистична и гуманистична и что эти моральность и гуманизм вплетены в эту китайскую культуру” [ibid.: 59].

В работе Вейвея, при всей четкости его тезисов, не совсем понятен один из них, несколько туманный и провисающий в плане аргументации, — о различии между “цивилизационным государством” (*civilizational state*) и “государством-цивилизацией” (*civilization-state*) [ibid.: 53]: если первое представляет собой “сплав старой цивилизации и современного государства-нации”, то второе часто отражает “напряженность” между двумя этими понятиями. Но главное не в этом, а в том, что, являясь “цивилизационным государством”, — а именно в пользу этого понятия делает выбор автор, — Китай одновременно и стар, и молод, и традиционен, и современен, и “китаистичен”, и интернационален. Его суть определяют выкристаллизовывающиеся из этого цивилизационного государства восемь характеристик: четыре “огромности” (*supers*) и четыре уникальности (*uniques*). Это, во-первых, огромное население, огромная территория, сверхдолгие традиции и сверхбогатая культура и, во-вторых, уникальный язык, уникальная политика, уникальное общество и уникальная экономика. В такой классификации заложена некая примитивизация, однако она сама характерна, как мне представляется, именно для традиционного китайского подхода к пониманию общества. Говоря об уникальности китайского языка в его классической и современной формах, Вейвей характеризует его как продукт имеющих протяженный характер истории и культуры Китая. И здесь его мысль перекликается с рассуждениями М. Жака [ibid.: 58].

Несколько противоречия самому себе, Вейвей выражает несогласие с тезисом Жака о “напряженности” в отношениях между двумя типами государств (ГЦ и ГН), что будто бы может повести Китай и Запад по разным траекториям. Согласно Жаку, в Китае возможно возрождение определенной формы древней даннической системы, характерной для его отношений со слабыми соседями,

³ “Деэмпатизация цивилизационистами прав человека, прав женщин и меньшинств означает снижение вероятности того, что инциденты радикализации, этнических и религиозных конфликтов могут быть предотвращены” [Dorsey 2019].

а будто бы свойственное Китаю чувство расового превосходства может стать вызовом существующему мировому порядку⁴. Этим Жак, который критикует европоцентристский подход к Китаю, демонстрирует, что он не вполне свободен от свойственной большинству западных исследователей неколебимой уверенности в непреодолимом расхождении между государствами-цивилизациями и государствами-нациями. При этом для Жака характерны в целом антизападные настроения, уверенность в том, что будущее принадлежит государствам-цивилизациям, а главная проблема Европы в отношении Китая — непонимание его европейцами. Мир вступает в эпоху, когда Европа будет все больше маргинализироваться, Америку ожидает неминуемый упадок, растущие нации станут главными международными акторами, а Китай заменит США в качестве ведущей мировой державы. Феноменальный экономический рост КНР в течение более чем 30 лет и бурный рост ее международного престижа тому порука. А пандемия коронавируса 2020 г., хотя и нанесла сильный удар по китайской экономике, быстрый успех КНР в борьбе с эпидемией продемонстрировал мощь этой страны.

Естественно, эти тезисы легко оспорить, к тому же их критики могут объяснить успехи государств с авторитарными системами их политическими, а не цивилизационными особенностями. В частности, эти системы обеспечивают эффективность социально-политической мобилизации, концентрации усилий и ресурсов на наиболее важных направлениях развития.

Заметим также, что одна из ключевых проблем, разделяющих ученых, использующих термин “государство-цивилизация”, связана с составом населения таких государств. По упомянутому выше мнению М. Жака, для них характерно этноконфессиональное разнообразие, которое, однако, редуцируется самой политикой “цивилизационизма”. Согласно другой точке зрения, население этих государств, напротив, в целом гомогенно, в них наблюдается значительное преобладание основной группы населения (ханьцев в Китае 92%, что больше, чем русских в России, которых примерно 80%).

Знакомство с литературой дает возможность увидеть три интерпретации взаимоотношений между двумя моделями государств. Первая: есть такие две модели (ГЦ и ГН) и они находятся в непримиримом противоречии, прежде всего в силу несовпадающих систем ценностей, идеалов и норм жизни. Вторая: эти две модели существуют по отдельности, но они не вполне антагонистичны друг другу, просто живут каждое своей жизнью. Наконец, третья: обе модели могут в определенных случаях сливаться воедино в процессе своего рода конвергенции или синтеза.

Можно добавить к этому еще одну, четвертую модель — государств, располагающихся по шкале “цивилизация — нация” где-то между ее полюсами и проявляющих некоторые из качеств и той, и другой. Этот переходный тип государственности можно назвать “неопределившимися государствами”.

ИНДИЯ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Индия — наиболее подходящий кандидат для включения в категорию полноценных государств-цивилизаций наряду с Китаем, но она, утверждает М. Жак, “сравнительно недавнее творение британского радж, и ее предшествующая этому периоду история намного более разнородна, нежели китай-

⁴ Выражая несогласие с противопоставлением НГ и ГЦ, Вейвей допускает возможность синтеза, полагая, что уже сегодня Китай объединяет в своем лице оба типа государства. Более того, Китай, по его мнению, ни в коем случае не намерен возрождать данническую систему и проявлять расизм [Weiwei 2012: 52].

ская” [Jacques 2012: 245]. Несмотря на сомнения Жака и некоторых других авторов в возможности причисления Индии (из-за “разнородности” ее истории) к ГЦ, значительная часть пишущих об этой стране аналитиков все же склонны считать ее таковым. В то же время немалое число западных политологов и международных, употребляющих понятие “государство-цивилизация” применительно к Китаю, Индии, России и некоторым другим странам, акцентируют внимание на неприятии ими неких якобы универсальных ценностей западного мира [см. Dorsey 2019], при этом, правда, продолжая (все с более существенными оговорками) считать Индию “самой большой демократией Азии”. Правящие в Дели сегодня политические элиты рассматривают приверженность традиционным устоям общества и его культурной самобытности как противовес угрозе, которую представляют для индийских цивилизационных ценностей агрессивный универсализм и насаждение либеральной демократии.

В этом контексте часто цитируются высказывания лидеров правящей в этой стране “Бхаратия джаната парти” (БДП), свидетельствующие об их “цивилизационистском” подходе, в котором ведущим элементом является роль религии. Аналитики, как правило, прибегают в этом вопросе к рассуждениям о связанной с индуизмом концепции *дхарма* (*dharma*) как важнейшем концептуальном понятии для БДП в ее дрейфе от демократии к национализму и возрождению архаичных, не совместимых с идеалами либеральной демократии ценностей. Авторы, высказывающих подобные суждения, сегодня на Западе и в самой Индии так много, а их дискурс стал настолько привычным, что нет необходимости приводить примеры. Замечу лишь, что для иллюстрации приверженности индийских властей архаике в ходе антикоронавирусной кампании в новостных телепрограммах на Западе не случайно часто демонстрировали, как индийские полицейские ударами палок немилосердно загоняли по домам нарушающих предписания властей жителей и еще заставляли их приседать и отжиматься.

Профессор Кембриджского университета Джайдит Прабху (*Jawaharlal Nehru Professor of Business and Enterprise*), кафедра которого в Кембридже поддерживается специальным эндаументом правительства Индии, считает, что индийские “не англицированные националисты выдвигают концепцию государства-цивилизации как альтернативу западной идее государства-нации” [Prabhu 2014]. В его интерпретации это два взаимоисключающих понятия. Ему не нравится, что адвокаты цивилизационистского этатизма якобы выступают за создание в Индии государства индуистов, но он признает, что европейские теории национализма, основанные на языке, религии и этничности, не адекватны индийской реальности, ведь Индия, по его мнению, это “метанация”. К сожалению, данный интересный тезис не получает, насколько мне известно, развития в последующих трудах автора.

В узком смысле слова понятие “дхарма”, критически важное для индуистов, трактуется как своего рода “моральный и религиозный долг” и “жизненные правила”, имеющие ярко выраженный ценностно, этически и религиозно окрашенный характер. Как пишет Прабху, “Вопреки народному толкованию, дхарма — не религия; это более широкий свод социальных практик и обычаев, которые правили жизнью в Южной и Юго-Восточной Азии. В то время как дхарма может не отвечать юридическим стандартам дефиниции, она является таковой по дизайну. Но государство есть юридически определенное образование — тогда как же помирить с ним аморфную ‘цивилизацию’? И что еще важнее... означает

ли это, что Индия обладает правом иметь территориальные притязания к другим государствам Южной и Юго-Восточной Азии, которые также являются частью этой самой дхармической культуры?” [ibidem].

Начавшаяся в марте 2020 г. кампания по борьбе с пандемией коронавируса, захватившей и Индию, дает немало примеров апелляции к данному инструменту для обоснования определенных действий властей. В частности, правительство Нарендры Моды, принимая решение о введении в стране режима карантина и самоизоляции, действовало в соответствии со своей дхармой — долгом защитить население, но из-за плохой проработки реализации этого решения в стране возникли беспорядки на улицах, а полиция проявила излишнюю жесткость. Конечно, и правоохранители имели свою дхарму, состоявшую в выполнении своими методами все той же задачи “долга защиты населения”, в том числе религиозных меньшинств и бедняков. Но, применяя насилие в отношении протестующих и тех, кто, несмотря на настойчивые призывы премьер-министра, нарушал введенный ограничительный режим, они закрывали глаза на погромы мусульман в Дели⁵, которых обвиняли в распространении заразы. Это вызывало негативную реакцию в мусульманском мире, особенно острую на фоне реализации недавно принятого дискриминационного иммиграционного закона, фактически лишившего мусульман, в отличие от представителей других конфессий, права въезда в страну.

Итак, Китай и Индия, по признанию большинства аналитиков, пишущих в русле концепции государства-цивилизации, являются классическими образцами такового. Относят западные авторы к этой категории также и Россию, иногда Турцию. Гидеон Рэчман, утверждавший, что XXI век будет “столетием государств-цивилизаций”, полагает (вслед за Вейсеем), что к данному типу государства приближаются США⁶. Но что же сближает США с ГЦ согласно его концепции? Это, будто бы, политика президента Д. Трампа в отношении иммигрантов, поскольку, как утверждает автор, ГЦ — эксклюзивно, а “меньшинства и мигранты никогда не вписываются в него, так как они не являются частью ядра цивилизации”.

С Турцией как ГЦ ситуация понятнее. Но логично отнести к этой категории и другое государство Ближнего Востока, представляющее собой яркий пример синтеза ГЦ и ГН — Иран. Это страна действительно великой цивилизации, с гораздо более протяженной историей, нежели та же турецкая. Ее нельзя назвать “разнородной” или прерывистой, собственная государственность Ирана лишь частично прерывалась на время его пребывания в составе Арабского халифата. Численность его населения составляет по данным на 2019 г. более 83 млн человек; население Ирана этнически гетерогенно, и собственно персы, те самые прямые наследники древней цивилизации, составляют лишь около половины жителей, а иранские азербайджанцы — около трети. Тем не менее, иранцы не в меньшей степени, чем китайцы или россияне, сознают свою особость, приверженность унаследованным от многих поколений предков и глубоко укоренным в их самосознании культурным кодам, а их лидеры всегда подчеркивали и подчеркивают древность и историческую

⁵ См.: Захаров А. Особенности индийского карантина. Как удержать дома 1,3 миллиарда. — *Московский Центр Карнеги*. 02.04.2020. URL: <https://carnegie.ru/commentary/81429> (accessed 08.05.2020).

⁶ Rachman G. China, India and the Rise of the ‘Civilisation State’. — *Financial Times*. 04.03.2019. URL: <https://www.ft.com/content/b6bc9ac2-3e5b-11e9-9bee-efab61506f44> (accessed 08.05.2020).

целостность территории своей страны. И при том, что исламская шиитская революция начала новый период в цивилизационном развитии Ирана, корни этой приверженности уходят вглубь истории.

Но что можно сказать об огромном арабском мире? Его территория включает земли великих ближневосточных цивилизаций древности, наследие которых впитали в себя арабы, завоевавшие эти земли в VII в. и принесшие сюда свои бедуинские идеалы. В основу складывавшейся на огромной территории новой, арабомусульманской цивилизации лег синтез ценностных систем многих народов, довольно долгое время живших в лоне различных государств, но сумевших сохранить в большей или меньшей степени и в видоизменном виде свои культурные устои. Цивилизационная история арабов не была непрерывной, здесь сменяли друг друга различные локальные государственные образования, партикуляризм постепенно стал главным трендом, а отношения между конфессиональными общинами подчас становились остроконфликтными. Османское завоевание, в результате которого основная часть арабского мира вошла в империю турок, на 400 лет лишило арабов собственной государственности, а вторжение колонизаторов нанесло по мечтам о ее возрождении еще более чувствительный удар.

В последние десятилетия существования Османской империи на фоне роста национального самосознания арабов интеллектуалы арабских провинций (вилайетов) стали вынашивать различные политические проекты, одна группа которых предполагала автономизацию арабских провинций империи с сохранением сюзеренитета Порты, а другая — предоставление им полной независимости. Все карты спутало поражение турок в Первой мировой войне и последовавшее за ней колониальное закабаление (в рамках мандатной системы) основной части арабских провинций европейскими державами — членами Антанты. При этом некоторые арабские страны задолго до этого закабаления уже были колониями и протекторатами Англии и Франции (яркие примеры — Южный Йемен с 1839 г. и Алжир с 1830 г.). Борьба арабов за независимость разгорелась с новой силой, и на карте Ближнего Востока с 1940-х годов стали появляться новые независимые государства.

Теперь речь уже шла о путях государственного строительства. И на этом отрезке истории после Второй мировой войны также возникло два основных проекта. Первый из них — партикулярный, ориентированный на строительство государств-наций в рамках существовавших в то время границ. Вторым — панарабский, нацеленный на создание общеарабского государства. Идеологи второго проекта и основатели светских панарабских националистических движений (насеризм, баасизм, Движение арабских националистов), исходя из тезиса о единстве арабской нации, считали, что возродить славу арабов сможет только единое государство. Разобщенные, отдельные арабские государства, часть из которых была создана в границах, прочерченных колонизаторами, не имеют, полагали они, будущего, и в одиночку не могут состояться. В теоретическом дискурсе арабских националистов даже возникла дихотомия: *ватанийя* vs *кауумийя*, где первое рассматривалось как преданность арабов отдельной арабской стране (*ватан*), а второе — всему единому арабскому народу (*каум*). Лозунг *умма ‘арабийя вахида* (“единая арабская нация”) стал своего рода сакральной формулой, заклинанием для всех трех вышеупомянутых движений.

Приведем лишь единственный пример. Один из главных сирийско-иракских идеологов арабского национализма, приверженец секуляризма Саты‘ аль-Хусри (1880–1968) считал общий язык и общую историю главными фундаментальными

ми основами формирования нации, религию же к таковым не относил [Казиха 1979: 62]. Он писал: “Каждый говорящий на арабском языке народ есть арабский народ. Каждый человек, принадлежащий к одному из этих арабоязычных народов, есть араб. И если он не признает этого, если не гордится своей арабскостью, тогда мы должны посмотреть на причины, которые побудили его занять такую позицию... мы должны просветить его и привести на правильный путь... Он — араб, независимо от его желания” [Аль-Хусри 1985: 80].

Этот краткий экскурс в историю позволяет интерпретировать концепт общеарабского государства как проект создания государства-цивилизации, на поверку оказавшийся эфемерным, несмотря на некоторые попытки его частичной реализации в виде объединения нескольких государств (к примеру, Объединенная Арабская Республика, включившая в себя Египет и Сирию и просуществовавшая с 1958 по 1961 гг.). Проекты панарабистов были несводимы к такой интеграционной схеме, участниками которой могут быть совершенно разные государства, объединенные лишь общими границами, так как некоторые признаки единой цивилизации у арабов все же имеются. В первую очередь, это общие история и большая территория, один язык, одна религия большинства населения, соответствующие самосознание и самоидентификация. Хотя некоторое число первых идеологов панарабского светского национализма, основателей панарабских движений были христианами, они все равно исходили из важной, если и не определяющей роли ислама как объединяющего начала для арабов. В то же время из моих личных встреч с такими “классиками” баасизма, как ушедшие в мир иной Мишель Афляк и Шибли Айсами, отцами-основателями Движения арабских националистов ныне покойным Джорджем Хабашем и Найифом Хаватме, а также лидерами насеризма, я вынес впечатление, что в те далекие годы, когда исламисты еще были оттеснены от политической жизни во многих ведущих странах региона, даже этим убежденным секуляристам не удавалось переломить тенденцию к разобщающей их движения межрелигиозной и межконфессиональной розни, в том числе и по неконфессиональным основаниям.

Неудачи режимов, созданных светскими арабскими националистами, вызвали падение популярности их идей и выход на передовые позиции в арабских обществах исламоориентированных сил. Именно эти силы, составляя костяк сирийской оппозиции, ведут борьбу с правительством панарабистов-баасистов в Дамаске. Отвратительной мракобесной девиацией объединительного проекта, выходящего за рамки собственно арабского мира, было запрещенное в России ДАИШ/ИГИЛ, которое в извращенном виде отражало отрицание легитимности любых арабских государств-наций, возникших после освобождения арабов от колониализма. Их неудачи, зависимость от Запада, попирающего ценностные устои арабов, внутренние распри и поражения в противостоянии с Израилем, неэффективное управление, равно как и закат светского панарабского националистического движения в целом в значительной степени предопределили привлекательность суннитского исламистского джихадистского проекта в глазах определенной части населения региона.

Сегодня арабы живут в более чем двух десятках государственных образований, в некоторых из них государство-нация даже формально полностью не сложилось, что вызывает время от времени обостряющиеся, переходящие в насильственную фазу кризисы. В результате отдельные государства здесь переходят в разряд *“failed-state”*.

У ГЦ и некоторых других государств, обладающих лишь отдельными элементами ГН и еще не достигших уровня полноценного ГН, сформировалось особое отношение как к сохранению и развитию своей самобытности, так и своего суверенитета и территориальной целостности. Это в полной мере относится к ряду стран Ближнего Востока. В этом контексте можно упомянуть еще об одной паре сопряженных понятий, получившей развитие в работах ряда современных исследователей. В 1990-х и начале 2000-х годов несколько политологов и исследователей международных отношений, сфокусировав в своих работах внимание на территориальном аспекте современной государственности, разработали теоретические подходы, на основе которых ими были предложены, в частности, такие концепты, как “территориальное упорядочивание” (*right-sizing*) и “демографическое упорядочивание” (*right-peopling*). (Оценка характеристик ГН и ГЦ с позиций этих концептов подробно рассмотрена в [Наумкин 2019].) За период, истекший со времени публикации первых фундаментальных работ теоретиков “упорядочивания”, в мире произошло много дестабилизирующих регион событий. Вся система государств-наций в регионе встретила и продолжает встречаться с новыми и трансформированными старыми вызовами и подверглась серьезной коррозии. Кроме того, этот регион в марте-апреле 2020 г. стал и одной из площадок такой серьезнейшей и неожиданной угрозы глобального характера, как пандемия коронавируса. Достаточно сказать, что Иран и Турция вошли в число наиболее пострадавших от этой эпидемии государств (в отличие от них Китай, страна, откуда она началась, как уже упоминалось, продемонстрировал способность довольно быстро купировать распространение эпидемии).

Что же касается современной России, которую можно считать, наравне с Китаем, гибридом государства-цивилизации и государства-нации, взгляды некоторых радикально мыслящих современных идеологов евразийства удивительным образом перекликаются с мыслями классиков панарабизма. Так, Александр Дугин утверждает: “Сегодняшняя Россия — это государство переходное. В нынешних своих границах и с существующей политической системой она не имеет исторического будущего. Она одновременно и слишком мала, и слишком велика для того, чтобы по-настоящему состояться” [Дугин 2015: 142]. Выход автору видится в одном — в создании некоего евразийского государства “по имперской модели”. Стремление выпрыгнуть за тесные рамки государства-нации просматривается в цивилиционистских по сути построениях и других идеологов евразийства.

Замечу, что между Россией и Китаем в контексте их принадлежности к группе ГЦ есть, помимо сходства (оба государства являются одновременно ГЦ и ГН), и различия. Так, если для России важной проблемой, требующей особых подходов и поисков решений, являются огромные размеры ее территории (при небольшой плотности населения — в среднем 8,57 чел./кв. км на 2019 г.), то для Китая, так же как и для Индии, — столь же огромная численность их населения (при его плотности соответственно 144 и 405 чел./кв. км, на 2017 г.). Однако функциональная роль той и другой особенности как фактора цивилизационной самоидентификации фактически одинакова.

Споры о концепциях ГН и ГЦ приходят в голову, когда знакомишься с подчас весьма острыми дискуссиями между российскими обществоведами — этнологами, политологами, социологами — о российской нации⁷.

⁷ В рабочей группе по Конституции предложили, в частности, заменить “многонациональный народ” на “многонародную российскую нацию”. — *БИЗНЕС Online*. 27.01.2020 URL: <https://www.business-gazeta.ru/article/455166> (accessed 08.05.2020).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Понятие “государство-цивилизация”, применяемое его адептами для обозначения особой категории государств с протяженной и непрерывной историей, ярко выраженной самобытностью и готовностью их граждан и лидеров решительно отстаивать свою культурную идентичность, требует дальнейшей концептуализации, необходимой для лучшего понимания стоящей за их реальностью систем ценностей и идей.

Среди них одной из главных является цивилизационизм, рассматриваемый в качестве антипода, стирающего культурные различия универсализма. Цивилизационизм как философско-политический концепт — следствие стремления набирающего силу не-Запада отвергнуть натиск западных держав и, в первую очередь, США, движимых, как считает значительная часть элит и населения стран Востока, осознанием собственного превосходства и эксклюзивизмом, одержимых идеей повсеместного насаждения неолиберальной демократии. В противовес этому государства, настаивающие на своей культурной особости и глубокой укорененности в собственной истории, продвигают свои партикулярные идеалы и, в соответствии с ними, — важности этатизма, коллективизма, аутентичных религиозных ценностей и авторитета мощного патерналистского государства, способного, в частности, эффективнее и быстрее справиться с угрозами своей идентичности и безопасности.

Подчеркнем еще раз различия в подходах исследователей феномена государства-цивилизации и его соотношения с государством-нацией. Одна их часть полагает, что два этих феномена находятся в состоянии антагонистического конфликта друг с другом, другая — что каждый существует сам по себе, третья — что они могут рассматриваться как единое целое, что особенно характерно для таких государств как Китай, Индия и Россия. Если и делать выбор между этими тремя подходами, то, по моему мнению, концепция синтеза выглядит более убедительной, нежели две другие.

DOI: [10.17976/jpps/2020.04.06](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.06)

NON-WEST MODEL: DOES THE CIVILIZATION-STATE EXIST?

V.V. Naumkin^{1, 2}

¹*Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia*

²*M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia*

NAUMKIN, Vitaly Vyacheslavovich, Full member of RAS, Dr. Sc. (Hist. Sci.), Professor, President, Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences; Chair, Faculty of World Politics, M.V. Lomonosov Moscow State University, email: director@ivran.ru

Naumkin V.V. Non-West Model: Does the Civilization-State Exist? — Polis. Political Studies. 2020. No. 4. P. 78–93. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.06>

Received: 17.04.2020. Accepted: 07.05.2020

Abstract. The article reviews some aspects of civilizationism as a trend in self-positioning strategies as adopted by several Asian states, primarily by China and India, as well as some other nations. Close attention is paid to the concept of the civilization-state (CS), as distinct from the nation state (NS). This allows the specific characteristics of the largest non-Western nations to be unveiled; these are linked to their thousand-year history, traditional cultural codes (deeply rooted in both public and elite mindsets), and the resentment of universalism and of any attempts to impose an alien system of values upon them. It is inferred that Russia meets the civilization-state criteria in such a way that aligns it with the nation state category; within this frame of reference, certain states are shown to fall in between these two categories, as they can

demonstrate only a limited range of prerequisites to qualify their inclusion on the civilization-state list. In this context, a number of states in the Arab World are referenced as examples. Two different interpretations of the notion of “civilizationism” are revealed by examining this definition of the nature and political practices of the states. The authors, representing the interests of the mainstream political bodies of Asian civilization-states, tend to use this notion in order to emphasize their spiritual and cultural supremacy in response to the exclusive claims to the global leadership, as well as to promote the idea of their “responsible” attitude to society governance and handling of global issues. However, their adversaries treat civilizationism as synonymous with authoritarianism, disrespecting the rights of minorities, archaic political practices, and national egoism. The author views the concept of the civilization-state not only as a weapon of ideological and political struggles, but also as a useful instrument for detecting the genuine peculiarities of such states, distinguishing them from the models based on the principles of neo-liberal democracy and universalism.

Keywords: civilization-state, China, guanxi, India, dharma, Eurasionism, civilizationism, identity, nation-state, Arab nationalism, religion.

References

Dorsey J.M. 2019. Civilisationalism: Ignoring Early Warning Signs at One's Peril. — *ResearchGate. Discover the World's Research*. URL: https://www.researchgate.net/publication/333565194_Civilisationalism_Ignoring_early_warning_signs_at_one's_peril (accessed 08.05.2020).

Jacques M. 2012. *When China Rules the World*. London: Penguin Books. 848 p.

Prabhu J.A. 2014. Why the Idea of India as a 'Civilizational' State will Simply not Fly. — *Firstpost.com*. 08.12. URL: <https://www.firstpost.com/india/idea-india-civilisational-state-will-simply-fly-1839641.html> (accessed 08.05.2020).

Pye L.W. 1992. *The Spirit of Chinese Politics*. Cambridge, MA: Harvard University Press. 278 p.

Weiwei Z. 2012. *The China Wave: Rise of a Civilizational State*. Hackensack, NJ: World Century Publishing Corporation. 205 p.

Al-Khusri S. 1985. *Abkath mukhtara fi al-qaumiyya al-'arabiyya (Izbrannye trudy po arabskomu natsionalizmu)* [Al'-Khusri S. Selected Works on Arab Nationalism]. Beirut: Markaz dirasat al-wahda al-'arabiyya. 464 p. (In Arab.)

Kaziha W. 1979. Al-Qaumiyya al-'arabiyya fi Marhalat ma bain Al-Harbayn al-'alamiyyatayn [Arab Nationalism between the Two World Wars]. — *Al-Mustaqbal al-'Arabi*. No. 5. (In Arab.)

Boitsov M.A. 1999. Vpered, k Gerodotu! [Go to Herodotus!] — *Kazus. Individual'noe i unikal'noe v istorii. Al'manakh. Vyp. 2* [Case. Individual and Unique in History. Almanac. Issue 2]. Moscow: Publishing Center of the Russian State University for the Humanities. P. 17-41. (In Russ.)

Dugin A.G. 2015. Voina kontinentov. Sovremenniy mir v geopoliticheskoy sisteme koordinat [War of the Continents. The Modern World in a Geopolitical Coordinate System]. Moscow: Akademicheskii proekt. 359 p. (In Russ.)

Erasov B.S. 1990. *Kul'tura, religiya i tsivilizatsiya na Vostoke (ocherki obshchei teorii)* [Culture, Religion and Civilization in the East (Essays on the General Theory)]. Moscow: Nauka Publ. 205 p. (In Russ.)

Erasov B.S. 2002. *Tsivilizatsii. Universalii i samobytnost'* [Civilizations. Universals and Originality]. Moscow: Nauka Publ. 524 p. (In Russ.)

Ilyushechkin V.P. 1986. *Soslovno-klassovoe obshchestvo v istorii Kitaya (opyt sistemno-strukturnogo analiza)* [Estate-Class Society in the History of China (Experience of System-Structural Analysis)]. Moscow: Nauka Publ. 396 p. (In Russ.)

Lapkin V.V. 2012. Politicheskie izmeneniya v global'nom mire i dinamika identichnosti [Political Changes in the Global World and Dynamics of Identity]. — *Politicheskaya identichnost' i politika identichnosti. Tom 2. Identichnost' i sotsial'no-politicheskie izmeneniya v XXI veke*. [Political Identity and Identity Politics. Vol. 2. Identity and Socio-political Changes in the XXI Century]. Ed. by I.S. Semenenko. Moscow: ROSSPEN. P. 16-41. (In Russ.)

Lapkin V.V. 2017. Sotsial'no-politicheskie konteksty transformatsii identichnosti v XXI veke [Socio-political Contexts of Identity Transformations in the 21st Century]. — *Identichnost': Lichnost', obshchestvo, politika. Entsiklopedicheskoe izdanie* [Identity: The Individual, Society, and Politics. An Encyclopedia]. Ed. by I. Semenenko. Moscow: Ves Mir Publishers. P. 88-101. (In Russ.)

Loginov A.V. 2013. Rossiya i Evraziya. Evraziiskiy vektor: poiski rossiiskoi tsivilizatsionnoi identichnosti v XX stoletii [Russia and Eurasia. Eurasian Vector: the Search for Russian Civilizational Identity in the 20th Century]. Moscow: Great Russian Encyclopedia. 551 p. (In Russ.)

Naumkin V.V. 2019. Right-Sizing and Right-Peopling: The Middle East Challenges. — *Polis. Political Studies*. No. 6. P. 67-80. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.06>

Panarin A.S. 1995. Evraziiskii proekt v postindustrial'nyu epokhu [The Eurasian Project in the Post-Industrial Era]. — *Sotsial'naya teoriya i sovremennost'*. Vypusk XVIII. *Evraziiskii proekt modernizatsii Rossii: "za i protiv"* [Social Theory and Modernity. Issue XVIII. Eurasian Project of Modernization of Russia: "Pro and contra"]. Moscow: RANEPa Publishing House. P. 17-26. (In Russ.)

Rossiiskaya tsivilizatsiya: Etnokul'turnye i dukhovnye aspekty: Entsiklopedicheskii slovar' [Russian Civilization: Ethnocultural and Spiritual Aspects: Encyclopedic Dictionary]. 2001. Ed. by. M.P. Mchedlov. Moscow: Respublika. 544 p. (In Russ.)

Yakovlev A.I., Akimov A.V. 2019. Tsivilizatsii v XXI veke: problemy i perspektivy razvitiya [Civilizations in the XXI Century: Problems and Development Prospects]. — Yakovlev A.I. *Tsivilizatsionnyi faktor v mirovom razviti. Stat'i raznykh let* [Civilization Factor in World Development. Articles of Different Years]. Moscow: GAUGN-Press. P. 477-495. (In Russ.)

Литература на русском языке

Бойцов М.А. 1999. Вперед, к Геродоту! — Казус. *Индивидуальное и уникальное в истории*. Альманах. Вып. 2. М.: Издательство РГГУ. С. 17-41.

Дугин А.Г. 2015. *Война континентов. Современный мир в геополитической системе координат*. М.: Академический проект. 359 с.

Ерасов Б.С. 1990. *Культура, религия и цивилизация на Востоке (очерки общей теории)*. М.: Наука. 205 с.

Ерасов Б.С. 2002. *Цивилизации. Универсалии и самобытность*. М.: Наука. 524 с.

Илюшечкин В.П. 1986. *Сословно-классовое общество в истории Китая (опыт системно-структурного анализа)*. М.: Наука. 396 с.

Лапкин В.В. 2012. Политические изменения в глобальном мире и динамика идентичности. — *Политическая идентичность и политика идентичности*. Т. 2. *Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке*. Отв. ред. И.С. Семенов. М.: РОССПЭН. С. 16-41.

Лапкин В.В. 2017. Социально-политический контекст трансформации идентичности в XXI веке. — *Идентичность: личность, общество, политика. Энциклопедическое издание*. Отв. ред. И.С. Семенов. М.: Весь мир. С. 88-101.

Логонов А.В. 2013. *Россия и Евразия. Евразийский вектор: поиски российской цивилизационной идентичности в XX столетии*. М.: Большая Российская энциклопедия. 551 с.

Наумкин В.В. 2019. Территориальное и демографическое "упорядочивание": ближневосточные вызовы. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 67-80. <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.06>

Панарин А.С. 1995. Евразийский проект в постиндустриальную эпоху. — *Социальная теория и современность. Выпуск XVIII. Евразийский проект модернизации России: "за и против"*. М.: Российская академия государственной службы при президенте РФ. С. 17-26.

Российская цивилизация: Этнокультурные и духовные аспекты: Энциклопедический словарь. 2001. Отв. ред. М.П. Мchedlov. М.: Республика. 544 с.

Яковлев А.И., Акимов А.В. *Цивилизации в XXI веке: проблемы и перспективы развития*. — Яковлев А.И., 2019. *Цивилизационный фактор в мировом развитии. Статьи разных лет*. М.: ГАУГН-Пресс. С. 477-495.

Литература на арабском языке

Аль-Хусри С. 1985. *Абхас мухтара фи аль-каумий аль-'арабийя* (Избранные труды по арабскому национализму). Бейрут: Марказ дирасат аль-вахда аль-'арабийя. 464 с.

Казиха В. 1979. *Аль-каумийя аль-'арабийя фи мархалят ма байн аль-харбайн аль-'алямийтайн* (Арабский национализм в период между двумя мировыми войнами). — *Аль-Мустакбаль аль-'Араби*. № 5.

DOI: 10.17976/jpps/2020.04.07

НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ В ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В.Н. Конышев

КОНЫШЕВ Валерий Николаевич, доктор политических наук, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, email: konyshev06@mail.ru

Коньшев В.Н. Неоклассический реализм в теории международных отношений. — Полис. Политические исследования. 2020. № 4. С. 94–111. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.07>

Исследование поддержано Российским фондом фундаментальных исследований, грант № 20-514-22001 “Разработка оптимальной модели системы безопасности человека в Арктической зоне Российской Федерации”.

Статья поступила в редакцию: 04.04.2020. Принята к публикации: 25.04.2020

Аннотация. В статье изучается неоклассический реализм, одно из популярных направлений в эволюции теории международных отношений. Появившись в трудах западных ученых, он набирает популярность и в российских исследованиях. В то же время остаются недостаточно изученными концептуальные отличия, методология и место неоклассического реализма в ряду других теорий. Неоклассический реализм представляет собой не законченную теорию, а направление исследований, во многом сохранившее преемственность реалистской традиции в изучении международных отношений. Представители данного направления сочетают элементы структурного реализма К. Уолтца и эмпирических исследований в духе политического реализма Г. Моргентау, но одновременно отказываются от унитарного понимания государства, уделяют большое внимание субъективным аспектам формирования политики и влиянию внутриаполитических особенностей государства на его внешнюю политику. Это дает основания считать неоклассический реализм эклектичным. Однако более убедительна точка зрения, согласно которой неоклассический реализм является вполне самостоятельным развитием неореализма, дополняющим учение К. Уолтца элементарным уровнем анализа международной политики. В содержательном отношении неоклассический реализм уточняет такие концепции, как анархия, структурное влияние, баланс сил, политика балансирования и другие. Неоклассики предложили модель внешней политики государства, которая описывает взаимодействие комплекса системных и элементарных факторов (внутриполитических атрибутов государства), влияющих на формирование внешней политики государства. В методологии это направление отличает стремление к операционализации понятий и построению априорных гипотез для последующего подтверждения с помощью конкретных исторических исследований. Эвристический потенциал неоклассического реализма связан, прежде всего, с удачным дополнением структурного реализма К. Уолтца, что позволяет изучать условия, при которых великие державы и малые государства отклоняются от политики балансирования. Предлагая взглянуть на международную политику сквозь призму государства как элемента системы, неоклассический реализм оказывается актуальным в эпоху глобального отката к государствоцентричной политике.

Ключевые слова: теория международных отношений, теория внешней политики государства, неореализм, неоклассический реализм, структурализм, государствоцентризм, уровни анализа политики.

ВВЕДЕНИЕ

Неоклассический реализм возник в ответ на кризис рубежа 1980–1990-х годов, когда все канонические теории, представленные неореализмом, неолиберализмом и глобализмом, не сумели убедительно объяснить как сам феномен окончания холодной войны, так и перспективы дальнейшей трансформации международной системы. Постпозитивистские теории в вариациях социального конструктивизма, постмарксизма, постмодернизма и постфеминизма тоже не смогли решить эти задачи [Конышев, Сергунин 2013].

Одной из наиболее популярных парадигм того времени был неореализм, сформировавшийся в виде нескольких направлений в конце 1970-х годов. Своеобразным концептуальным и методологическим “знаменем” неореалистов стала теория структурного реализма Кеннета Уолтца, отличавшаяся наиболее последовательной, строгой и доказательной логикой суждений. В настоящее время новая форма неореализма — неоклассический реализм — довольно быстро набирает популярность.

Новое поколение адептов реалистской традиции увидело путь преодоления кризиса в том, чтобы соединить достоинства политического реализма эпохи Г. Моргентхау [Morgenthau 1948] в виде конкретно-исторического анализа внешней политики государства с элементами структурного реализма К. Уолтца [Waltz 1979] и других направлений неореализма. Неоклассический реализм удачно вписывается в современную тенденцию международной политики — откат к государствоцентричной модели управления, который виден по многим направлениям, начиная с эрозии режимов международной безопасности.

Российские авторы не раз обращались к изучению особенностей неоклассического реализма [Борисов 2016; Романова 2012; Конышев 2004; Чихарев, Косоруков 2010; Международные отношения... 2014] и использовали его в прикладном анализе [Романова 2012; Стрельцов, Лукин 2017], но в целом они демонстрируют лишь частичное освоение этого направления, что не позволяет использовать эвристический потенциал теории в полной мере. В статье изучаются условия формирования неоклассического реализма, его место в ряду других теорий международных отношений, концептуальные и методологические особенности, эвристический потенциал.

95

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ СТРУКТУРНОГО РЕАЛИЗМА

Суть кризисных явлений в тех теориях международной политики, которые опирались на идеи структурализма, ярче всего проявилась в эволюции структурного реализма К. Уолтца. Авторитет его учения был высоким отчасти благодаря удачной политической конъюнктуре — закату разрядки в российско-американских отношениях, а вслед за ней неолиберальных концепций международного сотрудничества. США возвращались к идее своего лидерства в мире. Возникший к моменту прихода к власти в США неоконсерваторов во главе с Р. Рейганом (1980 г.) структурный реализм как раз отвечал идеологии, ориентированной на противостояние двух супердержав с опорой на силу. Внешнеполитические решения великих держав того времени довольно хорошо укладывались в логику этого учения.

Ядром структурного реализма является концепция баланса сил, объясняющая мотивацию политического поведения великих держав. Баланс сил как состояние международной системы означает примерное равновесие

супердержав США и СССР, которые внимательно следили друг за другом и реагировали на любую попытку усиления оппонента или его союзников. Согласно К. Уолтцу, это создавало относительно высокую стабильность и предсказуемость всей системы международных отношений из-за больших рисков гарантированного взаимного уничтожения имеющимся ядерным оружием. Биполярную конфигурацию мира теория считает наиболее сбалансированной и потому стабильной, а вот однополярную — наименее стабильной и недолговечной из-за неравномерного распределения силы.

Второе значение баланса сил связано с политикой балансирования, когда государство в ответ на усиление оппонента наращивает свою мощь либо привлекает к себе союзников. Конечно, это могут позволить себе лишь великие державы, а удел остальных — как-то приспособливаться за счет уступок своих интересов или даже суверенитета. Политику более слабых государств структурная теория специально не рассматривала, считая ее несущественной в мировом масштабе [Waltz 1979: 117-127].

Структурный реализм предлагал компактное и логичное понимание природы политики. В ее основе лежит способ упорядочивания отношений между государствами, который образует структуру. Современная международная структура характеризуется следующими свойствами: анархия как отсутствие верховного суверена, защита суверенитета как главная функция государства и неравномерное распределение силы. Два первых свойства стабильны во времени, и только распределение силы колеблется во времени, создавая главный императив внешней политики государств и меняя конфигурацию структуры: однополярная, биполярная, многополярная.

Государство остается главным элементом структуры, несмотря на колебания вроде эрозии суверенитета, вызванные такими процессами, как глобализация или рост влияния негосударственных субъектов. Подобные тенденции рассматриваются как временные флуктуации, но главные свойства структуры при этом устойчиво воспроизводятся в практической политике. Таким образом, только перераспределение силы способно вызывать изменения структуры, оно же объективно и решающим образом влияет на политическое поведение государств. Но в этих же изменениях структура по-прежнему сохраняет устойчивость в основных своих свойствах, начиная с Нового времени [ibid.: 82, 88-89, 96, 111-114].

Важной особенностью методологии К. Уолтца стало сочетание идей структурализма и многоуровневого анализа международной политики. Структурализм изначально возник в лингвистике в виде структурной теории языка [Соссюр 1999], в психологии — при изучении бессознательного [Фрейд 2018], в политэкономии — в виде экономического детерминизма [Маркс 2017], в антропологии — в изучении культуры как “коллективного бессознательного” [Леви-Стросс 2001], а затем перекочевал в исследования политики.

Структурализм в политической сфере предполагает, что политическое поведение в существенной мере определяется факторами внешней среды, аналогично принципу действия механизма бессознательного. К. Уолтц предложил рассматривать структурное влияние, исходя из иерархии трех уровней взаимодействия: международной системы в целом, отдельных государств и политиков. Политик принимает решение под мощным “прессом” факторов, порожденных на двух верхних уровнях. При этом фактор распределения силы

на уровне международной системы рассматривается как главный в причинно-следственной цепочке, действующей “сверху вниз”: система, государство, личность (политик). Если практическая политика по какой-либо причине строится вопреки этой логике, то, скорее всего, она потерпит неудачу. И наоборот, политическая инициатива, отвечающая структурному влиянию, окажется ближе к успеху.

Кризис структурного реализма после окончания холодной войны был связан с ограниченностью его методологии. Во-первых, теория основана на постулате об относительной устойчивости биполярной международной структуры, что не предвещало краха СССР. Но к удивлению последовательных сторонников теории СССР все-таки рухнул, причем достаточно быстро и не по структурным причинам. Многие обратили внимание, что роль структурного влияния оказалась преувеличенной.

Во-вторых, при анализе международной политики К. Уолтц намеренно отвлекается от внутренних характеристик государств, претендуя выявить регулярные и в этом смысле универсальные закономерности, влияющие на внешнюю политику государств. Его теория принципиально не способна объяснить в поведении государства то специфическое, что связано с его внутриполитическими атрибутами — политической культурой, историческими связями, особенностями политической организации, экономической политикой.

В-третьих, теория рассматривает государство как унитарного актора, в отвлечении того, что решения принимаются во взаимодействии различных ветвей власти и в условиях конкуренции между ними, что добавляет неопределенности. Теория также абстрагируется от неоднородности общества по идеологическим и внешнеполитическим предпочтениям, по возможностям влияния на политику. Структурная теория неизбежно ведет к упрощенному видению формирования внешней политики государства.

В-четвертых, К. Уолтц считает структурное влияние определяющим. Хотя теория предполагает механизм обратной связи в виде влияния государства на международную структуру, этот вопрос К. Уолтц оставил неразработанным. Поэтому теория сосредоточена лишь на системном влиянии на государство, и в этом отношении она носит незаконченный характер. Структурализм К. Уолтца не оставил места ни политической инициативе, ни революционным изменениям, которые происходят вопреки структурному влиянию, но вполне могут оказаться успешными.

В-пятых, структурная теория отличается акцентом на рациональную природу политики, отводя периферийное место таким факторам, как личный стиль политического руководства, а также влияние идеологического, ценностного и культурного факторов на лиц, принимающих решения. В отличие от теории, на практике эти факторы нередко способствуют принятию решений вопреки действительным интересам государства и рационально выверенным возможностям.

В-шестых, структурная теория оставила без ответа вопрос, на каких закономерностях строится политика государств “третьего мира”, поскольку считала их влияние несущественным [Конышев 2004]. Между тем влияние “третьего мира” растет с 1970-х годов, а базовые постулаты структурного реализма попросту неприменимы к анализу их политики. Это и вызвало бурное развитие внутри неореализма таких направлений, как периферийный [Escudé

1998] и младший реализм [Ayooob 1984], а позднее — “незападные теории” в более широком плане [Acharya 2018]. Было показано, что базовые концепции (как баланс сил) в странах “третьего мира” не работают, так как в отношении великих держав у них нет возможностей проводить политику балансирования.

Несмотря на недостатки и острую критику оппонентов, логика структурного реализма для многих выглядит убедительной и сегодня. Например, несмотря на эрозию суверенитета, о которой так много сказано, международное право по-прежнему ориентировано на суверенное государство, и даже деструктивные по природе движения вроде запрещенного в России ИГИЛ претендуют не на что-нибудь, а на создание государства. Связано это с тем, что человечество не выработало сравнимого по эффективности способа организации общества, и государство остается предельной, высшей формой такой организации.

Процессы европейской интеграции оказались обратимыми, а глобализация коснулась лишь небольшой части государств, да и то в основном в сфере финансовой деятельности. ТНК по-прежнему опираются на мощь “материнских” государств, если требуется защита интересов, налоги они тоже платят по большей части у себя “дома”, а борьба с глобальными угрозами реализуется не новыми акторами или международными организациями, число которых выросло кратно, а все еще зависит от силы и воли государств.

Однополярный мир во главе с США, как и предсказал К. Уолтц в начале 1990-х годов, оказался неустойчивым благодаря крайне неравномерному распределению силы [Waltz 1993], и политика балансирования против гегемона наблюдается даже со стороны союзников по НАТО. Мир движется, по К. Уолтцу, к многополярности как более сбалансированной структуре, и даже просматриваются две следующие супердержавы.

Теме не менее, начиная с 1990-х годов, международная политика ставила все новые вопросы, на которые неореализм в его прежних формах не находил убедительного ответа. Адепты неоклассического реализма отмечают, что в эпоху относительной стабильности в годы холодной войны упрощения структурного реализма не были столь заметны, как в эпоху наступавшей трансформации международной системы. Традиционная концепция баланса сил никак не объясняла, почему Б. Клинтон так настойчиво стремился к расширению влияния в Европе и Азии, хотя сравнимого по силе конкурента там не было, а уровень внешних угроз был низким. Изучение решения Дж. Буша-мл. об интервенции в Ирак в 2003 г. показывает, что оно принималось не под структурным влиянием, а в итоге сложного переплетения факторов очень разной природы: необходимость ответа на угрозу терроризма, господство неоконсерваторов в институтах исполнительной власти, сильное влияние либеральной традиции во внешней политике США [Neoclassical realism... 2009: 2-3].

Конечно, в конце XX в. кризис наблюдался не только внутри неореализма, а практически во всех основных парадигмах теории международных отношений. Выход из подобного кризиса исторически происходил в виде обострения противоречий между парадигмами, известных как “Великие дебаты”. Однако многие современные исследователи посчитали, что в наши дни возврат к этим спорам мало что даст, поскольку не просматривается каких-то прорывных идей. В то же время, учитывая быстрые перемены в международных отношениях, гораздо более полезным было бы обратиться к эмпирике, пойдя по пути выдвижения гипотез и последующего их доказательства на конкретно-исто-

рическом материале. Как раз эту перспективу видят представители неоклассического реализма [Ripsman, Taliaferro, Lobell 2016: 7-8].

СТАТУС НЕОКЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА КАК ТЕОРИИ

Неоклассический реализм в его современном виде не представляет собой окончательно оформленную теорию общего уровня, которая должна охватывать международную политику в целом. Скорее, это направление исследований, представленное в виде совокупности теорий среднего уровня и эмпирических исследований [Ripsman, Taliaferro, Lobell 2016; Wohlforth 1993; Dueck 2005; Marsh 2014; Rose 1998; Purdon 2017], которые, впрочем, отличает близость концептуальных и методологических подходов. В научном дискурсе сложилось неоднозначное отношение к неоклассическому реализму.

“Пессимисты” считают его несостоятельным, называя “дегенеративной” теорией, которая не может предложить ничего действительно оригинального по сравнению как с каноническими парадигмами, так и с новейшими, представленными постпозитивизмом. По мнению “пессимистов”, неоклассический реализм свелся к попыткам “залатать дырки” неореализма, отсюда его всеядность в методологии и отсутствие весомого концептуального ядра [Rathbum 2008: 294-295].

Более умеренные оценки сводятся к тому, что неоклассический реализм представляет собой некий гибридный вариант теории, сочетающей в себе элементы многих парадигм, причем как канонического, так и постпозитивистского толка. Подобную эклектику ряд ученых считает спорным, но вполне оправданным этапом в эволюции теории политики, когда она находится в состоянии кризиса [Уолфорт 2015; Романова 2012].

Согласно другим, более распространенным оценкам, неоклассический реализм все же следует считать формирующимся направлением исследований, которое сохранило преемственность по отношению и к политическому реализму, и к неореализму, признавая анархичную природу международной системы, конфликтность международных отношений из-за конкуренции государств за власть и ресурсы, структурное влияние распределения сил на политику государств, превалирующую роль государств в международной политике.

Своеобразие неоклассической теории вырастает из представления о том, что системное влияние осуществляется не прямо, а опосредованно, через комплексное взаимодействие международной структуры с многообразными внутренними атрибутами государства. Неоклассический реализм изучает, как государства воздействуют на международную среду для достижения своих целей. Эти цели понимаются расширительно, включая помимо объективных проблем безопасности еще и различные мотивации, которые повлияли на политические решения, такие как история отношений государств, восприятие угроз, престиж государства [Rose 1998; Rathbum 2008].

Продолжая линию К. Уолтца, неоклассические реалисты идут по пути создания теории внешней политики государства, а не просто индуктивных обобщений на основе эмпирических исследований по Г. Моргентхау. В этом смысле неоклассический реализм — это вовсе не реинкарнация политического реализма, как посчитали некоторые российские исследователи [Чихарев, Косоруков 2010: 52], а еще одно направление неореализма, пытающееся пре-

одолеть недостатки структурного реализма К. Уолтца, связанные в основном с незавершенностью его теории.

Дело в том, что сам К. Уолтц различал два понятия применительно к теории политики. Его структурная теория, представляющая собой разновидность системного анализа, предназначена для выявления того, как внешняя среда влияет на государства, заставляя их реагировать примерно одинаково. А вот теория внешней политики государства должна ответить на вопрос о специфическом поведении государств при одних и тех же внешних условиях. Только сочетание структурной теории и теории внешней политики государства способно дать полное знание о международной политике [Waltz 1979: 40-43, 91]. К. Уолтц предостерегал от однобокого понимания его структурной теории: “Структура, однако, не объясняет всего. Я говорю это опять, потому что легко впасть в структурный детерминизм” [ibid.: 174]. Правда, он не дал развернутого описания теории внешней политики, лишь указав на ее соотношение со своим учением — это должна быть отдельная теория, причем не системного, а элементного (государственного) уровня.

Неоклассический реализм претендует на реализацию замысла К. Уолтца о создании теории внешней политики государства, хотя его представители склонны считать свои исследования скорее дополнением к структурной теории, чем отдельной теорией — как предполагал сам К. Уолтц. Неоклассический реализм, историю которого отсчитывают от публикации Г. Роуза в 1998 г. [Rose 1998], проделал значительную эволюцию от работ в духе возврата к Г. Моргентгау [Leffler 1992] до попыток построения теории Н. Рипсманом, Дж. Талиаферро и С. Лобелом [Ripsman, Taliaferro, Lobell 2016].

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ НЕОКЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

В методологии неоклассического реализма просматривается стремление сохранить заложенную структурализмом К. Уолтца тенденцию к строгости суждений в противовес традиционализму. С этой целью к идее структурного влияния добавлен инструментарий для анализа политики на элементном уровне, т.е. на уровне атрибутов государства. Такой подход в плане преодоления недостатков структурализма К. Уолтца открывает перспективу изучения обратного влияния государства на международную структуру.

В этом шаге виден принципиальный отказ от унитарного понимания природы государства по К. Уолтцу, который призывал отвлекаться от атрибутов государства. Наоборот, внимание неоклассиков к внутривнутриполитической ситуации и позициям элит, особенностям политического устройства государства и внутривнутриполитических процессов открывает путь к познанию той стороны политики, которая тоже осталась за пределами возможностей структурного реализма: почему при одном и том же структурном влиянии государства ведут себя по-разному. Неоклассическое направление исследований объясняет, по выражению Дж. Талиаферро, “аномальную”, выпадающую из структурной логики внешнюю политику государства [Taliaferro 2019: 36]. Однако адепты этого направления считают, что оно способно предложить и общие модели внешней политики государств [Lobell, Jesse, Williams 2015].

Другое новшество состоит в постулате о том, что не только структурное влияние создает причинно-следственные связи, влияющие решающим

образом на формирование внешней политики государства. В некоторых случаях такое влияние связано не со структурным, а с элементарным уровнем. Неоклассический реализм стремится изучить, при каких обстоятельствах оказывается главенствующим как раз элементарный уровень международной политики [Schweller 2004: 164]. Более того, утверждается, что едва ли возможно четко разделить внутри- и внешнеполитические факторы, формирующие международную политику государств [Ripsman, Taliaferro, Lobell 2016: 2].

Механизм сопряжения структурного и элементарного уровней видится неоклассикам следующим образом: внешняя политика государства формируется под влиянием накладываемых международной структурой ограничений, но это влияние происходит через опосредование внутриполитическими атрибутами государства, которые фильтруют, меняют и направляют это влияние внутри общества и его институтов. Внутриполитические факторы выступают как своего рода приводные ремни для структурных сил, или “конечные арбитры для выживания государства в анархичных условиях” [Sterling-Folker 1997: 7]. В механизме этого опосредования неоклассики предпочитают “факторы” называть “переменными”, которые могут иметь различную степень влияния. Как набор переменных, так и их значимость определяются исследователем логико-интуитивным путем [Ripsman, Taliaferro, Lobell: 117–118]. В этом пункте рассуждений логическая строгость моделей неоклассиков уступает строгости суждений К. Волтца.

На следующем этапе неоклассики стали выдвигать гипотезы о связи независимых (что влияет) и зависимых (на что направлено влияние) переменных с дальнейшей проверкой их на конкретно-исторических примерах, т.е. кейс-стади. Таким образом, исследование проводится в виде доказывания априорной гипотезы, что способствует доказательности и развитию прогнозистических возможностей теории. Например, гипотеза о стратегии США по ядерному нераспространению в годы холодной войны (зависимая переменная) выглядит так: в тех регионах, где политическое руководство США считало распределение силы (независимая переменная) опасным и угрожающим, оно искало конкретные формы сотрудничества со своими союзниками в ядерной сфере. И наоборот, если распределение сил оценивалось как благоприятное, то США придерживались стратегии нераспространения [Taliaferro 2019: 13].

Важной особенностью неоклассического направления исследований является использование принципа операционализации как способа определения переменных. Операционализация подразумевает, что понятие раскрывается через эмпирически наблюдаемые, четко различимые свойства, которые могут быть измерены прямо или косвенно (т.е. через систему показателей). Например, угроза безопасности государству складывается из трех признаков:

- явное проявление враждебности, нацеленное на территориальную целостность или важнейшие интересы государства;
- экономический и военный потенциал для враждебных действий с учетом географического положения и технологического развития;
- ожидания неминуемости враждебных действий [Ripsman, Taliaferro, Lobell 2016: 46].

Еще одной новацией на элементарном уровне анализа стало внимание неоклассиков к субъективному фактору в принятии политических решений,

который вносит свой весомый вклад именно тогда, когда государство ведет себя вопреки логике баланса сил. Структурный реализм обходил случаи такого рода, апеллируя к регулярности баланса сил как закономерности международной политики. Тогда субъективное понимается как детерминированное структурным влиянием поведение, т.е. субъективное как таковое нивелировано и не имеет существенной самостоятельной роли. В отличие от этого неоклассический реализм предлагает изучать как раз нерегулярное, т.е. специфическое поведение государства, продиктованное такими субъективными факторами, как особенности восприятия угроз обществом или его частью. В этом случае субъективное играет заметную роль в политическом процессе, его содержание зависит от множества условий, а не только от “структурного давления”.

Внимание неоклассического реализма к субъективным аспектам политики государства не просто компенсирует недостаток структурного реализма. Неоклассики отмечают, что на практике вообще весьма редко встречаются ситуации, когда характер угроз и возможности их нейтрализации вполне очевидны и однозначны. Так же редко ситуацию определяют “чисто” внутренние или “чисто” внешние факторы. Но гораздо чаще на политические решения влияет конкретное сочетание множества факторов внутри- и внешнеполитической природы [Ripsman, Taliaferro, Lobell 2016: 3-4]. Отсюда следует, что объективные факторы должны использоваться в анализе не сами по себе, как предписывает логика структурного реализма, а с обязательным учетом вклада субъективных аспектов политики.

Неоклассический реализм предлагает свои оригинальные ответы по многим вопросам, по которым нет согласия как среди представителей отдельных направлений неореализма, так и среди представителей других парадигм. Если попытаться увидеть некую общую методологическую линию, то она проявляется в следующем. Во-первых, проблема представляется в виде континуума с предельными значениями политического результата: многополярность и гегемония, протекционизм и свобода торговли, общие ценности и “эгоизм” государства, политика баланса сил и политика уступок. Во-вторых, для определения условной точки в этом континууме применительно к государству предлагается выявить конкретную комбинацию переменных системного и элементного уровня и выдвинуть гипотезу об их связи, требующей доказательства на эмпирическом материале. В-третьих, неоклассики принципиально допускают различные варианты политического выбора при одних и тех же системных условиях [ibid.: 99-132].

В этой позиции видно намерение неоклассического реализма избежать крайних оценок, которые происходят из постулатов различных парадигм, допустим, неолиберализма и неореализма, находя “золотую середину”. Но эта же позиция обеспечивает и размывание исходных концептуальных оснований, заявленных самими неоклассиками как неореализм. Например, вопрос о превалировании ценностей или материальных мотиваций во внешней политике государства рассматривается неоклассиками так: если стратегическое окружение неблагоприятно, то, скорее всего, распределение сил перевесит внутренние факторы и сомнения элит, поэтому выбор будет за материальными факторами, а если благоприятное — то за ценностями [ibid.: 156-159]. То

есть получаем, что и неолиберальный подход, и неореалистский оказываются возможны, что открывает путь к эклектике.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ НЕОКЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

В содержательном плане неоклассический реализм уточняет ряд важных понятий неореализма. Прежде всего, это отказ от однозначно конфликтного понимания природы международных отношений. Ключевой атрибут международной структуры — анархия — порождает не потенциально конфликтную внешнеполитическую среду, о чем говорит реалистская традиция, а неопределенную, чреватую как сотрудничеством, так и конфликтом. Государству нужно приложить усилия, чтобы понять и сформулировать степень своей безопасности.

Вслед за неореалистами неоклассики утверждают, что главный императив внешней политики государства связан с необходимостью реагировать на неопределенности, которые порождает анархичная система. Но далее неоклассики вводят уточнение: национальные интересы государство может формулировать по-разному, в зависимости от обстоятельств, поэтому приоритетом политики государства следует считать не безопасность как таковую, а усиление контроля над внешнеполитическим окружением [Zakaria 1998: 19]. Здесь можно усматривать некоторый возврат к постулату политического реализма Г. Моргентау о том, что цель и смысл внешней политики государства — постоянное наращивание силы.

Если для реалистской традиции неопределенность является атрибутом международной структуры, влияющим на поведение государств, то у неоклассиков неопределенность формируется *на системном и на элементном уровнях*. В частности, неопределенность во внешней политике конкретного государства меняется в зависимости от объективного недостатка информации извне и сложной стратегической обстановки (системный уровень), а также стратегической культуры и личного стиля политиков (элементный уровень). Взаимодействие государств (элементный уровень) вносит дополнительный вклад в нарастание неопределенности на системном уровне.

В практической политике тренд на рост неопределенности задает объективное падение влияния США, которое усугубляется усилением незападных стран [Schweller 2014: 2-6]. Внимание к теме нарастания сиюминутной прагматичности, хаотичности отношений, непрочности альянсов и международного права хорошо проявляется в используемой терминологии. Бывшие союзники, ставшие неустойчивыми в сотрудничестве, получили название “друзья” (от неологизма *freenemy*), современные зыбкие коалиции — “альянсы по удобству” [Taliaferro 2019: 18].

Неоклассический реализм предлагает более широкую трактовку структуры и структурного влияния по сравнению с учением К. Уолтца. Во-первых, это проявляется во введении новых системных переменных, помимо распределения силы. К ним относят степень неопределенности в международной системе, связанную с доступностью для государства следующей информации: очевидны ли угрозы; можно ли определить временные рамки реализации угроз; просматриваются ли оптимальные варианты политического действия. В свою очередь, каждый из этих “сигналов” в принципе может быть разбит на более мелкие компоненты и даже сведен к количественным показателям

[Ripsman, Taliaferro, Lobell 2016: 46-50]. Суть данной переменной в том, что чем больше система дает неопределенных “сигналов” государству, тем выше шансы на повышение роли несистемных факторов и на ошибку в принятии политических решений. Правда, подобный подход делает исследовательский аппарат слишком громоздким, да и не ясно, удастся ли вообще операционализировать весь этот набор переменных и их составных частей.

Еще одна новая системная переменная — стратегическое окружение, которое может быть благоприятным или нет, в зависимости от ограничений, возникающих для государства. Однако набор факторов, влияющих на стратегическое окружение, оказывается весьма широким, от полярности системы до ресурсов влияния государства и его оппонентов. При этом не выдвигаются общие критерии, которые однозначно формируют благоприятное стратегическое окружение. Например, в отличие от неореалистов, неоклассики никак не связывают вид полярности и благоприятность стратегического окружения [ibid.: 52-56]. Очевидно, что описание данной переменной остается весьма расплывчатым и отдается на откуп исследователю.

Во-вторых, речь идет о переменных, влияние которых, помимо распределения силы, проявляется на системном уровне, хотя они вовсе не обязательно относятся к структуре. Некоторые авторы предпочитают называть их “структурными модификаторами”. В отличие от распределения сил, влияющего на все государства, структурные модификаторы могут оказывать избирательное воздействие. Примерами такого рода переменных являются распространенность технологических знаний и норм международного права, влияние международных институтов, геополитическое положение [ibid.: 39-41].

Неоклассический реализм наполнил конкретным содержанием концепцию элементного анализа политики, которая у К. Уолтца осталась крайне абстрактной. К элементному уровню неоклассики относят не унитарно трактуемое государство, а совокупность политиков, групп влияния, элит, законодательных и исполнительных институтов управления, внешнеполитических ведомств, которые взаимодействуют с обществом. Помимо влияния структурных сил, эти фигуранты действуют в зависимости от восприятия ими угроз или расстановки политических сил.

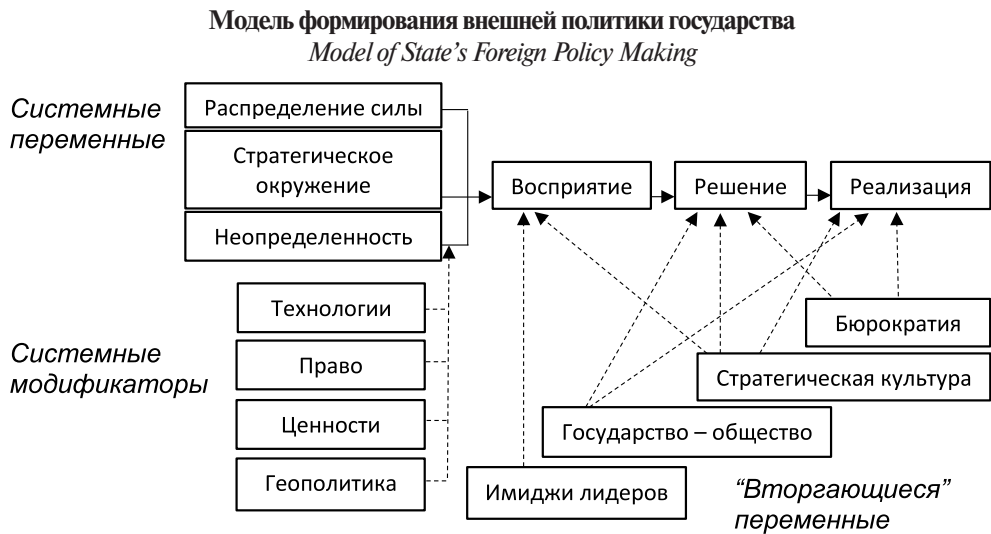
На элементном уровне к системному влиянию добавляются промежуточные переменные, оказывающие дополнительное влияние на итоговое политическое поведение государства. Это так называемые вторгающиеся переменные, в число которых могут включаться такие атрибуты государства, как особенности политических лидеров, стратегическая культура, специфика отношений между государством и структурами гражданского общества, внутриполитические институты [ibid.: 33-34]. Общее представление о механизме влияния переменных разных уровней на формирование внешней политики государства отражено на рисунке (см. рис.).

Перечень “вторгающихся” переменных может уточняться и расширяться, поскольку является лишь набором “идеальных типов” (по М. Веберу) переменных. Неоклассики подчеркивают, что в общем случае переменные элементного уровня должны действовать в гармонии со стимулами, идущими от международной структуры. Иначе государство действует вопреки традиционной логике баланса сил и может совершить ошибку [Rathbun 2008: 311].

Ошибки проявляются в оценках реального потенциала противника, источников силы собственного государства, весомости различных рисков.

Но возможна и обратная ситуация, когда государству удастся найти удачные инновационные решения, идущие в разрез с логикой баланса сил. Политика “нового сдерживания” со стороны Запада натолкнулась на комплекс не прямых и асимметричных мер со стороны России, которые нейтрализовали ожидаемый эффект от санкций и военного давления, в результате чего Запад не смог препятствовать воссоединению Крыма с Россией. Американские эксперты отмечают, что в этом случае России не удалось истолковать в свою пользу даже либеральные нормы, которые обычно используются как раз против России [Becker et al. 2015: 15-16].

Рисунок (Figure)



В этих рассуждениях неоклассиков о роли переменных видна преемственность идеям структурализма о примате структурного влияния. Но при этом предлагается и аналитический инструмент для изучения “отклонений” от логики баланса сил — набор переменных различного уровня, вносящий коррективы в структурное давление на государство.

Неоклассический реализм уточняет роль баланса сил в мировой политике. Согласно основным направлениям неореализма, политика баланса сил наиболее эффективна, потому что она отвечает природе международной политики. Отличная от балансирования политика возможна, но она будет следствием ошибки или слабости государства. Неоклассики же фактически отказываются от приоритета балансирования, утверждая, что помимо него закономерны и другие формы поведения государств.

Как справедливо заметил яркий представитель неоклассического реализма Р. Швеллер, традиционно концепции баланса сил отводилась роль объективного закона. Уподобляя баланс сил закону природы, ученые-обществоведы находили его проявление почти повсюду, определяя через идею баланса понятия красоты, гармонии, порядка, справедливости, безопасности. Именно в таком ключе баланс сил трактуется в реалистской традиции [Schweller 2004:

162-163]. И у политических реалистов, и у неореалистов сбалансированность считается “естественным состоянием” международной системы, к которому она объективно стремится. Следовательно, внешняя политика государства наиболее эффективна, если она отвечает идее сбалансированности международных отношений. Отсюда же бытующее благодаря К. Уолтцу понятие “вакуума власти” в международной политике, который государства непременно заполнят, стремясь извлечь для себя выгоду [Waltz 1979: 127-128].

Правда, на вопрос, как возникает и проявляется баланс сил, реалистская традиция изучения международных отношений не дает однозначного ответа. В эпоху политического реализма Г. Моргентау баланс как равновесие сил великих держав связывался с многополярным устройством, а в эпоху неореализма возникло несколько различных ответов. Структурный реализм К. Уолтца говорит о биполярном устройстве как наиболее сбалансированном [ibid.: 161-176], теория циклов Дж. Моделски и теория гегемонистской стабильности Р. Гилпина — об однополярном [Gilpin 1981: 9, 15, 212-213; Modelski, Thompson 1996: 52-53], а историко-системное направление П. Кеннеди по-прежнему придерживается идеи многополярности [Kennedy 1987: 110]. Соответственно, и определений баланса сил как состояния системы тоже сформировалось несколько, причем они оказались не просто различными, но еще и вошли в противоречие друг с другом. Если К. Уолтц и П. Кеннеди подчеркивали идею примерного равенства сил великих держав, то Дж. Моделски и Р. Гилпин приравнивали баланс сил к статус-кво, основанному на лидерстве (гегемонии) одной державы. Вместе с тем, несмотря на указанные разногласия, все неореалисты соглашались, что логика поддержания баланса сил выступает главным императивом для поведения государств.

В интерпретации неоклассиков баланс сил как состояние понимается не как пересаженный в политику “естественный” закон природы, а как явление, возникающее в самом политическом процессе в результате борьбы и компромиссов между воззрениями различных элит общества на цели политики, вызовы безопасности и средства для реагирования [Schweller 2004: 163]. Анархичная система объективно диктует политику балансирования, но выбор государства зависит еще и от внутриполитических условий.

Обращаясь к балансу сил как политике, представители неоклассического реализма основное внимание переносят на изучение условий, при которых государства отказываются от балансирования. Для этого вместо классической трактовки политики баланса сил предлагается рассматривать континуум, ограниченный двумя пределами — “балансирование” и “провал балансирования”. Этот континуум делится на несколько вариантов политики государства:

— *Адекватное балансирование (appropriate balancing)* означает наращивание своей мощи перед лицом реальной военной угрозы, которая иначе не может быть нейтрализована.

— *Чрезмерное балансирование (inappropriate / over balancing)* — это непропорциональное наращивание мощи в ответ на попытку политического оппонента усилить свой оборонительный потенциал, либо ложное восприятие действий оппонента как агрессивных.

— *Адаптивное небалансирование (nonbalancing)* выражается в сознательном избегании политики балансирования из-за неприемлемых издержек войны,

которое сопровождается вынужденными уступками. Оно может принимать различные формы: следование политике более сильного оппонента, политика уступок, дистанцирование от конфликтной ситуации, введение в заблуждение относительно своей позиции. Избегание может стать ответом на действия государства-ревизиониста (претендующего на изменение статус-кво) или государства-агрессора не только в случае нехватки сил, но и в надежде получить выгоды от изменения баланса сил.

— *Провальное балансирование (underbalancing)* — это неэффективное балансирование или отказ от него перед лицом агрессивных действий, которые ведут к войне [ibid.: 167-168].

Р. Швеллер считает, что на уровне государства как элемента системы выбор той или иной формы балансирования/небалансирования зависит в основном от комбинации четырех переменных: существования консенсуса между элитами в оценке характера внешних угроз, степени внутренней устойчивости режима (или правительства), готовности общества мобилизовать все ресурсы для отпора внешней угрозе, сплоченности элит в выборе стратегии ответа на угрозы [ibid.: 169]. Причем этот выбор в решающей мере определяется позицией элит. Так, в случае их раскола государство отказывается от балансирования в пользу уступок.

Все названные выше переменные имеют достаточно четко очерченное содержание, поскольку Р. Швеллер прибегает к операциональному способу определения — через набор ключевых вопросов. Например, состояние консенсуса элит подразумевает ответы на следующие вопросы [ibid.: 171]:

- Существует ли внешняя угроза?
- Каковы природа и содержание угрозы?
- Какая политика будет наиболее эффективной для защиты стратегических интересов государства?
- Приемлемы ли будут издержки в случае политики балансирования?

Важно, что ответ на данные вопросы и наполнение содержания указанных переменных определяются исходя уже из конкретно-исторического анализа. Можно заметить, что именно в этой части сочетаются теория политики по К. Уолтцу и эмпирический анализ по Г. Моргентгау.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках эволюции теории политики неоклассический реализм представляет собой исследовательское направление, которое дает возможность накапливать доказываемые гипотезы, исходя, с одной стороны, из определенных теоретических предпосылок, а с другой стороны, опираясь на конкретно-исторический материал. В дальнейшем это может послужить хорошей основой для “качественного скачка” в теоретических построениях неореализма. В то же время стремление уйти от ограниченности структурализма У. Уолтца выражается у неоклассиков в умножении количества участников политики и факторов (переменных) различной природы как на системном, так и на элементном уровнях. При этом набор переменных элементного уровня может варьироваться в зависимости от исследовательской задачи. Но тогда на элементном уровне анализа неизбежно возникает перспектива трактовать

каждую изучаемую проблему как уникальную, а затем, по мере накопления эмпирических исследований в духе неоклассического реализма, встанет вопрос, можно ли вообще говорить об общих закономерностях. Разве это не та же самая проблема индуктивности, за которую критиковали политический реализм времен Г. Моргентау? В этом отношении вопрос о сочетании неоклассиками теории и эмпирики остается открытым.

В концептуальном измерении неоклассический реализм представляет собой определенное сближение с неолиберализмом и отчасти с социальным конструктивизмом, если принять во внимание отказ от сугубо конфликтного понимания природы международных отношений, обращение к внутривнутриполитическим факторам, влияющим на внешнюю политику государства, к субъективному фактору в международной политике. В этом можно усматривать попытку разрешения вопроса об односторонности и реализма, и идеализма, поставленного еще Э. Карром [Carr 1946]. Однако вопросы о соотношении объективного и субъективного, национального и международного, о связи полярности и безопасности, о роли гегемонии в международной политике требуют уточнения, оставляя перспективу эклектичного развития неоклассического реализма.

К достоинствам неоклассической теории следует отнести стремление осмыслить то, что традиционно выпадало из реалистской традиции исследований, сосредоточенной на политике великих держав и балансе сил. В фокусе неоклассического реализма оказывается “нетипичное” поведение великих держав и стран “третьего мира”, связанное с отказом от политики балансирования, а также поведение, противоречащее объективным условиям и в некоторых случаях чреватое внешнеполитическими ошибками. С этой целью многие неоклассики особое внимание уделяют анализу субъективной стороны принятия решений в лице политиков и элит как важнейших участников, определяющих внешнюю политику государства.

С практически-политической точки зрения неоклассический подход представляется особенно актуальным для современной ситуации, когда распространение ядерного оружия, мощных дальнобойных ракетно-артиллерийских систем, высокоточного оружия нивелируют различия между великими державами и остальными государствами. При этом повышаются риски непреднамеренной эскалации военных конфликтов из-за скоротечности военной фазы современной войны и огромной разрушительной силы оружия. Логика баланса сил нередко оказывается не самой удачной. Наблюдаемый рост непредсказуемости международно-политической обстановки делает особенно востребованным неоклассический реализм.

Эволюция глобальных проблем современности возвращает интерес к государствоцентричному видению международной политики, который предлагает неоклассический реализм. Эта тенденция хорошо видна на широком круге проблем, включая реформу ООН, эрозию договоров по международной безопасности, экологические и климатические проблемы, неуправляемую миграцию, пандемии. Неоклассический реализм пытается нарабатывать модели поведения государств с учетом комплекса внутривнутриполитических и международных проблем. В то же время взгляд на международную политику со стороны государства как элемента системы создает и определенные ограничения на применимость получаемых выводов.

В целом неоклассический реализм вполне успешно и оригинально решает поставленный К. Уолтцом вопрос о создании теории внешней политики государства. Еще большие успехи этого направления возможны на пути дальнейшей консолидации методологии и концептуального ядра за счет отхода от эклектики, которая неизбежно порождает неопределенные выводы по типу “и нашим, и вашим”.

DOI: [10.17976/jpps/2020.04.07](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.07)

NEOCLASSICAL REALISM IN THE THEORY OF INTERNATIONAL RELATIONS

V.N. Konyshev¹

¹*Saint Petersburg State University. Saint Petersburg, Russia*

KONYSHEV, Valery Nikolaevich, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Professor, Department of Theory and History of International Relations, Saint Petersburg State University, email: konyshev06@mail.ru

Konyshev V.N. Neoclassical Realism in the Theory of International Relations. — Polis. Political Studies. 2020. No. 4. P. 94-111. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.07>

Acknowledgements. Supported by the Russian Foundation for Basic Research, grant No. 20-514-22001 “Building an Optimal Model of a Human Security System in the Arctic Zone of Russian Federation”.

Received: 04.04.2020. Accepted: 25.04.2020

Abstract. The article studies neoclassical realism — one of the most popular trends in the evolution of the theory of international relations. Predominantly found in Western scientific work, it is gaining popularity in Russian studies. However, the conceptual differences, methodology, and status of neoclassical realism amongst other theories remain insufficiently studied. Neoclassical realism is not a complete theory, but a research approach that progresses the realist tradition of IR. Representatives of this approach combine the elements of K. Waltz’s structural realism with empirical research in the spirit of H. Morgenthau’s political realism; at the same time, they refuse to consolidate a unitary understanding of the state, paying significant attention to the subjective aspects of policy-making and to the influence the state’s domestic political attributes have on its foreign policy. This gives reason to consider neoclassic realism as an eclectic theory. However, the more convincing view is that neoclassical realism is an original development of neorealism, complementing Waltz’s theory with an elementary level of analysis of international politics. In a substantial sense, neoclassical realism clarifies such concepts as anarchy, structural influence, the balance of power, and balancing policy, amongst others. The “neoclassics” proposed a model of state foreign policy, which describes the interaction of a set of systemic and elemental factors (domestic political attributes of the state) that affect the state’s foreign policy. In methodology, this approach is distinguished by the desire to operationalize concepts and to develop a priori hypotheses for subsequent verification, using concrete historical research. The heuristic potential of neoclassical realism is associated, first of all, with a successful complement to Waltz’s structural realism, which allows the conditions under which great powers and small states deviate from balancing policies to be studied. As it offers a look at international politics through the prism of the state as an element of the system, neoclassical realism is especially relevant in the era of global rollbacks of state-centric politics.

Keywords: international relations theory, theory of state international policy, neorealism, neoclassic realism, structuralism, state-centric approach, levels of foreign policy analysis.

References

- Acharya A. 2018. *Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics*. NY: Cambridge University Press. 215 p.
- Ayoob M. 1984. Security in the Third World: The Worn about to Turn. — *International Affairs*. Vol. 60. No. 1. P. 41-51.
- Becker M., Cohen M., Kushi S., McManus I. 2015. Reviving Russian Empire: the Crimean Intervention through a Neoclassical Realist Lens. — *European Security*. Vol. 25. No. 1. P. 1-22. <https://doi.org/10.1080/09662839.2015.1084290>

- Carr E. 1946. *The Twenty Years' Crisis 1919-1939. An Introduction to the Study of International Relations*. London: MacMillan. 239 p.
- Dueck C. 2005. Realism, Culture and Grand Strategy: Explaining America's Peculiar Path to World Power. — *Security Studies*. Vol. 14. No. 2. P. 195-231. <https://doi.org/10.1080/09636410500232891>
- Escudé C. 1998. An Introduction to Peripheral Realism and Its Implications for the Interstate System: Argentinian the Condor II Missile Project. — *International Relations Theory and the Third world*. Ed. by S. Neuman. NY: St. Martin's Press. P. 55-76.
- Gilpin R. 1981. *War and Change in World Politics*. NY: Cambridge University Press. 272 p.
- Kennedy P. 1987. *The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000*. NY: Random House. 677 p.
- Leffler M. 1992. *A Preponderance of Power: National Security, the Truman Administration, and the Cold War*. Stanford: Stanford University Press. 689 p.
- Lobell S., Jesse N., Williams N. 2015. Why Do Secondary States Choose to Support, Follow or Challenge? — *International Politics*. Vol. 52. No. 2. P. 146-162. <https://doi.org/10.1057/ip.2014.50>
- Marsh K. 2014. "Leading from Behind": Neoclassical Realism and Operation Odyssey Dawn. — *Defense & Security Analysis*. Vol. 30. No. 2. P. 120-132. <https://doi.org/10.1080/14751798.2014.894295>
- Modelski G., Thompson W. 1996. *Leading Sectors and World Powers: the Co-Evolution of Global Economics and Politics*. Columbia: University of south California Press. 263 p.
- Morgenthau H. 1948. *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*. NY: A.A. Knopf. 489 p.
- Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy*. 2009. Ed. by S. Lobell, N. Ripsman, J. Taliaferro. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511811869.001>
- Purdon M. 2017. Neoclassical Realism and International Climate Change Politics: Moral Imperative and Political Constraint in International Climate Finance. — *Journal of International Relations and Development*. Vol. 20. No. 2. P. 263-300. <https://doi.org/10.1057/jird.2013.5>
- Rathbun B. 2008. A Rose by Any Other Name: Neoclassical Realism as the Logical and Necessary Extension of Structural Realism. — *Security Studies*. Vol. 17. No. 2. P. 294-321. <https://doi.org/10.1080/09636410802098917>
- Ripsman N., Taliaferro J., Lobell S. 2016. *Neoclassical Realist Theory of International Politics*. NY: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199899234.003.0002>
- Rose G. 1998. Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy. — *World Politics*. Vol. 51. No. 1. P. 144-172. <https://doi.org/10.1017/S0043887100007814>
- Schweller R. 2014. *Maxwell's Demon and the Golden Apple: Global discourd in the New Millenium*. Baltimore: John Hopkins University. XIV, 196 p.
- Schweller R. 2004. Unanswered Threats: A Neoclassical Realist Theory of Underbalancing. — *International Security*. Vol. 29. No. 2. P. 159-201. <https://doi.org/10.1162/0162288042879913>
- Sterling-Folker J. 1997. Realist Environment, Liberal Process, and Domestic-Level Variables // *International Studies Quarterly*. Vol. 41. No. 1. P. 1-25. <https://doi.org/10.1111/0020-8833.00031>
- Taliaferro J. 2019. *Defending Frenemies: Alliances, Politics, and Nuclear Nonproliferation in US Foreign Policy*. New York: Oxford University press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190939304.001.0001>
- Waltz K. 1979. *Theory of International Politics*. Readings: Addison-Wesley. 250 p.
- Waltz K. 1993. The Emerging Structure of International Politics. — *International Security*. Vol. 18. No. 2. P. 44-79.
- Wohlforth W. 1993. *The Elusive Balance: Power and Perceptions during the Cold War*. Ithaca: Cornell University Press. 317 p.
- Zakaria F. 1998. *From Wealth to Power: The Unusual Origins of Americas World Role*. Princeton: Princeton University Press. 216 p.
- Borisov D. 2016. Codification of Neoclassic Realism. — *International Trends*. Vol.14. No. 3. P. 167-169. (In Russ.) <https://doi.org/10.17994/it.2016.14.3.46.14>
- Chikharev I., Kosorukov A. 2010. Neoclassic Realism: Toward Problem of Relations Between Global and State-Level Variables in Development of Foreign Policy Course. — *Moscow University Bulletin. Series 12. Political Science*. No. 1. P. 50-66. (In Russ.)
- Freud S. 2018. Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. (Russ. ed.: Freud S. *Vvedenie v psikhooanaliz*. Moscow: AST-Press. 608 p.)
- Konyshv V. 2004. *Amerikanskii neorealizm o prirode voyny: ehvolyutsiya politicheskoi teorii* [American Neorealism about Nature of War]. Saint Petersburg: Nauka. (In Russ.)
- Konyshv V., Sergunin A. 2013. International Relations Theory: on the Threshold of New "Great Debates"? — *Polis. Political Studies*. No. 2. P. 66-78. (In Russ.) URL: <https://www.politstudies.ru/en/article/4687> (accessed 22.05.2020).

Lévi-Strauss C. 2001. *Anthropologie structurale*. (Russ. ed.: Lévi-Strauss C. *Strukturnaya antropologiya*. Moscow: EKSMO-Press. 512 p.)

Marx K. 2017. *Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie*. (Russ. ed.: Marx K. *Kapital. Kritika politicheskoi ekonomii*. Vol. 1. Moscow: EKSMO-Press. 1200 p.)

Mezhdunarodnye otnosheniya i mirovaya politika [International Relations and World Politics]. 2014. Ed. by P.A. Tsygankov. Moscow: ROSSPEN. 639 p. (In Russ.)

Romanova T. 2012. About Neoclassic Realism and Modern Russia — *Russia in Global Affairs*. Vol. 10. No. 3. P. 8-21. (In Russ.)

Saussure F. de. 1999. *Cours de linguistique Générale*. (Russ. ed.: Saussure F. de. *Kurs obshchei lingvistiki*. Ekaterinburg: Ural University Press. 432 p.)

Streltsov D., Lukin A. 2017. Russian-Japanese rapprochement Through the Lens of IR Theory. Neoclassic Realism, Constructivism, and Two-Level Games. — *International Trends*. Vol. 15. No. 2. P.44-63. (In Russ.) <https://doi.org/10.17994/it.2017.15.2.49.3>

Wohlforth W. 2015. Russia-Western Relations Lack of Realist World-Vision from Both Sides. — *International Trends*. Vol. 13. No. 4. P. 153-165. (In Russ.) <https://doi.org/10.17994/it.2015.13.4.43.11>

Литература на русском языке

Борисов Д. 2016. Кодификация неоклассического реализма. — *Международные процессы*. Т. 14. № 3. С. 167-169. <https://doi.org/10.17994/it.2016.14.3.46.14>

Коньшев В.Н. 2004. *Американский неореализм о природе войны: эволюция политической теории*. Санкт-Петербург: Наука. 372 с.

Коньшев В.Н., Сергунин А.А. 2013. Теория международных отношений: канун “великих дебатов”? — *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 66-78. URL: <https://www.politstudies.ru/article/4687> (accessed 22.05.2020).

Леви-Стросс К. 2001. *Структурная антропология*. М.: ЭКСМО-Пресс. 512 с.

Маркс К. 2017. *Капитал. Критика политической экономики*. Т. 1. М.: ЭКСМО. 1200 с.

Международные отношения и мировая политика. 2014. Под ред. П.А. Цыганкова. М.: Политическая энциклопедия. 639 с.

Романова Т.А. 2012. О неоклассическом реализме и современной России. — *Россия в глобальной политике*. Т. 10. № 3. С. 8-21.

Соссюр Ф., де. *Курс общей лингвистики*. 1999. Под ред. Ш. Балли и А. Сеше. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета. 432 с.

Стрельцов Д.В., Лукин А.Л. 2017. Российско-японские отношения через призму теории. — *Международные процессы*. Т. 15. № 2. С. 44-63. <https://doi.org/10.17994/it.2017.15.2.49.3>

Фрейд З. 2018. *Введение в психоанализ*. М.: АСТ. 608 с.

Уолфорт У. 2015. Российско-западным отношениям не достает реалистского мировосприятия, причем с обеих сторон. — *Международные процессы*. Т. 13. № 4. С. 153-165. <https://doi.org/10.17994/it.2015.13.4.43.11>

Чихарев И.А., Косоруков А.А. 2010. Неоклассический реализм: к проблеме соотношения переменных глобального и национально-государственного уровней в формировании внешнеполитического курса. — *Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки*. № 1. С. 50-66.

DOI: 10.17976/jpps/2020.04.08

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ АЛЕКСАНДРА БОГДАНОВА

М.В. Стрежнева

СТРЕЖНЕВА Марина Вадимовна, доктор политических наук, профессор, главный научный сотрудник Отдела международно-политических проблем, ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, Москва, email: m.strezhneva@imemo.ru

Стрежнева М.В. Системный подход в международных исследованиях: об актуальности теоретического наследия Александра Богданова. — Полис. Политические исследования. 2020. № 4. С. 112-123. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.08>

Статья поступила в редакцию: 14.02.2020. Принята к публикации: 30.03.2020

Аннотация. Во второй половине XX столетия особую значимость при изучении международной политики обрел системный подход. Но к настоящему времени традиционное видение межгосударственной системы международных отношений безнадежно устарело. В данной статье организационная наука (тектология) Александра Богданова представлена с точки зрения ее уникальной методологии системного исследования, намного опередившей свое время. Актуальная сила тектологии Богданова заключена в эпистемологическом влиянии изложенных им принципов организации системных комплексов (таких как конъюгация, ингрессия, дезингрессия), единых для любых объектов. В международных исследованиях нерешенной задачей остается выявление диалектики национальных и глобальных процессов, для чего обращение к научному наследию Богданова является более чем уместным. В статье проанализированы корни системного видения и особенности системных теорий в целом, а также исключительно важное место организационной науки Богданова в данном контексте. Как образец реляционистского подхода, тектология противопоставлена субстанционализму таких ключевых для международных отношений западных теорий, как структурный реализм, неолиберальный институционализм и социологический конструктивизм. Подробно рассмотрены онтология богдановской эмпириомонистической теории и свойственный ей феноменологизм, в то время как ключевым теориям МО по сию пору более присуще картезианство, с его рационализмом и дуализмом, отождествляющее принципы природы с правилами механики. Особое внимание в данной статье уделено сформулированному Богдановым понятию бирегуляции в сложных (саморегулируемых) комплексах, не нуждающихся во внешнем управлении. Оно помогает уточнить, в чем может заключаться ключевая роль территориального государства в условиях наблюдаемого углубления/ослабления власти институтов многоуровневого глобального управления. Методология Богданова требует всякую человеческую деятельность рассматривать как материал коллективного опыта, отдавая главную организующую роль социальной культуре. Территориальные аспекты современной мировой политики и ее транснациональные черты, взятые в совокупности, если смотреть на них сквозь призму его системно-тектологической концепции, предстают как “нормальное” (лишенное искусственного драматизма) сочетание политико-организационных форм, переживающих непрерывные процессы соединения/разъединения.

Ключевые слова: Богданов, система международных отношений, глобальное управление, тектология, Вендт, Бурдьё, феноменология.

СИСТЕМА И СИСТЕМНАЯ ТЕОРИЯ

К началу XXI в. в исследовании международных отношений (МО) на Западе в качестве ключевых утвердились три государствоцентричных (мета)теории американского происхождения: структурный реализм (неореализм) [Waltz 1979], неолиберальный институционализм [Keohane 1984] и социальный конструктивизм [Wendt 1999]. Все три предложили объяснения/истолкования наивысшего (системного) уровня, сосредоточившись на том, как те или иные факторы влияют на поведение объединенных в международную систему государств либо формируют их идентичность. Однако, как это ни парадоксально, авторы и многочисленные последователи всех указанных (субстанционалистских) теорий не сосредоточивались на таком важном измерении, как собственно отношения.

Субстанционализм стоит на той точке зрения, что базисным элементом анализа в теории выступают “вещи” или целостные сущности-объекты, которые имеются уже до взаимодействия, тогда как все отношения следует постигать как возникающие вторично между подобными исходными целостностями [Jackson, Nexon 1999]. Современным сторонникам функционального или реляционного подхода, напротив, более свойственно рассматривать изучаемые объекты в контексте взаимосвязей, их формирующих. Разные аспекты реляционного теоретизирования мы обнаруживаем в трудах Карла Маркса и Макса Вебера, но также у Михаила Бахтина и Людвиг Витгенштейна. Реляционисты подчеркивают динамические качества структур как относительно устойчивых транзакций, тем самым, помимо прочего, ставя под вопрос холистские интерпретации (свойственные неореализму и социальному конструктивизму), которые отдают приоритет целому относительно его частей.

Представителем реляционизма, особенно сильно повлиявшим на теорию МО в последние десятилетия, является Пьер Бурдьё (см., например, [Adler-Nissen 2012]), с именем которого связывают “практический поворот” в международных исследованиях [Lechner, Frost 2018]. Однако важным и сегодня отнюдь не устаревшим образцом реляционистской мысли выступает также и незаслуженно полужабытая в России организационная теория нашего соотечественника Александра Богданова (1873-1928) [Богданов 2003; 2019]. Эта теория способна послужить дальнейшему развитию системных международных исследований [Alexander Bogdanov... 1998], хотя сам Богданов, за редкими исключениями [Богданов 2019: 623-643] (как и Бурдьё), не занимался собственно международными отношениями. Незамеченную международниками богдановскую тектологию можно назвать “утраченным звеном” в метатеоретическом основании современной теории МО. Важнейшее отличие между ним и Бурдьё связано с тем, что последний не разделял системного подхода. Используемые Бурдьё понятия, такие как поле, габитус, символический капитал, помогают нам осознать, как именно негосударственные акторы и транснациональные движения бросают вызов суверенитету государств. Его больше интересуют фрагментированные, ограниченно автономные, раздробленные социальные активности. Богданов же является одним из основателей теории систем и системного анализа [Локтионов 2016]¹.

¹ В декабре 2019 г. в рамках проекта “Цикл чтений, посвященных выдающимся ученым Финансового университета”, прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием “Системный мир А.А. Богданова”, где рассматривалась, в том числе, его роль в продвижении системного анализа в политологии и культурологии. См.: URL: <http://www.fa.ru/org/chair/save/Pages/ab.aspx> (accessed 29.04.2020).

“Системами” принято называть конструкты (умозрительные построения), которые нужны, чтобы разобраться со сложными, комплексными, хаотичными, неопределенными ситуациями в реальном мире. Современное системное видение — по сути конструктивистское. Оно имеет богатую предысторию, корни которой прослеживаются вплоть до древних духовных традиций индуизма (упанишады), буддизма (устные традиции дхармы), даосизма (основа акупунктуры и холистической медицины) и древнегреческой философии (в особенности Гераклит и Аристотель — идея системности знания). В русле системного мышления развивались эволюционная теория Чарльза Дарвина, теория относительности Альберта Эйнштейна, теории квантовой физики.

Системная теория — это рамки, позволяющие исследователю изучить и описать всякую группу объектов, которые в совокупности производят некий результат. В подобные рамки мы можем по нашему выбору заключить отдельно взятый организм, информационную структуру, общество или организацию². Так, физиократы первыми вычленили экономику как отдельную систему, подвергнув ее анализу в целом. Но к определению “системы” близко и то, как Фридрих Хайек трактовал “порядок”: это “состояние дел, при котором множество элементов различного рода увязаны между собой так, что при знакомстве с некоторой пространственной или временной частью целого мы можем сформировать и корректные ожидания касательно остального...” [Hayek 1973: 36].

Приверженец идеологии либерализма Хайек предложил понятие *космоса* как “спонтанного” порядка (наиболее совершенного с его точки зрения). По мысли Хайека, такой стихийный *cosmos* может быть сгенерирован путем внешнего принуждения индивидуальных игроков к соблюдению правил поведения, не предписывающих системе конкретных целей или единой функции, но обеспечивающих условия для координации их разнонаправленных проектов. Исходными примерами для него здесь являются рынок и англосаксонское общее право. К порядку, планомерно сконструированному (*taxis*), уподобленному социалистической плановой экономике, Хайек относился заведомо неодобрительно.

В процессе разработки системной проблематики в XX в. оформилась общая теория систем, признанными авторами которой принято считать А. Богданова и Л. фон Берталанфи [Gare 2000]³. Если австрийский биолог Берталанфи с конца 1920-х годов сосредоточился на описании принципов организации открытых систем (организмов как организованных явлений) с неравновесной термодинамикой (метаболически привязанных к среде), то А. Богданов ранее него совершил в начале XX в. первую в истории попытку прояснить и обобщить организационный принципы, действующие для всех живых и неживых структур, открытых и закрытых, назвав свою теорию тектологией (от греческого *tekton* — строитель). В русле общей теории систем были выявлены и исследовались такие, считающиеся системными, свойства объектов как полиморфизм, изоморфизм, изомерия и симметрия.

Толкотт Парсонс сформулировал одну из первых организационных теорий для открытых социальных систем [Parsons 1951; Парсонс 1998]. Отталкиваясь от его идей, Дэвид Истон предложил “механическую” модель политической

² Любой объект может быть представлен как система и включен в систему объектов того же рода [Урманцев 2014].

³ В этой публикации автор исключительно высоко ставит актуальность тектологической науки.

системы. Ее функционирование он представил как повторяющиеся циклы ввода общественных запросов (*input*), процесса их обработки (*throughput*), получения отдачи на выходе (*output*) и взаимодействия между организацией и окружающей средой (*feedback*)⁴. Негативный *input* свидетельствует о том, что работа организации нуждается в коррекции. Но, уточним, в противоположность этому, Богданов ввел в тектологии понятие бирегулятора — характеризующего “живую” и саморегулирующуюся систему. Для нее не нужно внешнего (нормативного) регулятора, который устанавливал и поддерживал бы правила поведения для агентов, действующих внутри системы, потому что она имеет способность регулировать себя сама. При использовании понятия обратной связи в технике⁵ и в кибернетике, когда оно признается эквивалентом понятию бирегуляции, возможное применение данной идеи либо ограничивается только системами “механическими”, с внешним управлением, либо уводит в сторону трансгуманизма [например Лепский, Слепцов 2019] как философского течения, выступающего за трансформацию человеческой природы. Однако принцип бирегуляции действует в отношении “живых” автономных политических систем, погруженных сегодня в глобальный общественный контекст, не укладываясь при этом в привычное понятие обратной связи; тем самым Богданов заложил основы для адекватного изучения в политической науке таких саморегулирующихся систем, как современные демократические политические системы.

В первой половине 1970-х годов чилийцы Франсиско Варела, Умберто Матурана и Родриго Урибе [Varela, Maturana, Uribe 1974] предложили концепцию аутопоэза (самопостроения) как способа организации живых систем. Немецкий социолог Никлас Луман во многом солидаризовался со взглядами Варелы и Матураны на природу живых систем. Луман [Луман 2007] трактовал аутопоэтические (включая небиелогические) системы трансдисциплинарно — как воспроизводящие условия для собственного существования — и относил к ним: (1) живые системы, (2) психические системы и (3) социальные системы [см. Seidl 2004].

В Советском Союзе системный подход практиковали и развивали многие авторы — в том числе В.Н. Садовский [Садовский 1974], Э.Г. Юдин, И.В. Блауберг [Блауберг, Юдин 1973; Блауберг 1997]. Советские ученые, работавшие в области теории международных отношений, не избежали мощного влияния системного подхода и связанного с ним структурно-функционального анализа [Процесс формирования... 1981; Поздняков 1976], но не обращались к богдановской тектологии напрямую.

Системный подход начинается там, где вы начинаете смотреть на мир глазами другого [Churchman 1968: 231]. Как метод политической науки, системный подход, пик расцвета которого в США пришелся на начало 1970-х годов, в дальнейшем столкнулся с волной отторжения, которая была обусловлена контрнаступлением оппонентов, в том числе идеологическим, на позиции продвигавших этот подход сторонников бихевиорализма [Wogu 2013]. В дальнейшем это привело к снижению популярности системной методологии,

⁴ Под “окружающей средой” понимаются внешние условия существования и развития организации — как доступные некоему контролю с ее стороны, так и неподконтрольные ей.

⁵ В качестве простейших примеров механизма бирегуляции (двойного регулирования) А.Л. Тахтаджян, например, называет паровую машину и приспособление на ветряных мельницах (состоящее из миниатюрной ветряной мельницы, которая может поворачивать большую мельницу в нужном направлении, чтобы поставить ее крылья в рабочее положение) [Тахтаджян 2007].

ныне возрождаемой [Дегтерев, Истомин 2015], и к сокращению численности политологических публикаций соответствующего направления.

Исходным пунктом тектологии является признание необходимости подхода к изучению любого явления с точки зрения его организационного выстраивания. Не ограничивая себя идеей холизма⁶, Богданов различал три идеальных типа систем, или комплексов (организованные⁷, дезорганизованные⁸ и нейтральные⁹) и выделял для них два базовых организационных механизма: формирование (т.е. объединение более мелких комплексов связями разного рода) и регулирование.

Законы организации системных комплексов по Богданову едины для любых объектов. Чем больше целое отличается от суммы своих частей, тем выше его организация. Централистические (эгрессивные¹⁰) комплексы не похожи на скелетные (дегрессивные¹¹). Для первых характерно наличие центральной, более высокоорганизованной группы, по отношению к которой все остальные части выступают как периферия. Вторые, напротив, образуются за счет организационно низших относительно центра системного комплекса группировок. Дегрессия у Богданова обретает важнейшее положительное значение, делая возможным сохранение нежных пластичных внутренних форм на фоне грубой, агрессивной среды.

К главным механизмам формирования систем Богданов относит конъюгацию (соединение комплексов), образование цепной связи (совокупности совпадающих связующих комплексы элементов), ингрессию (форму цепной связи через передаточное звено) и дезингрессию (разрыв связи). Универсальный регулирующий механизм обозначается им термином “подбор”, относительно которого естественный отбор по Дарвину является частным случаем из области биологии: это понятие Богданов распространяет на процессы сохранения и разрушения всех видов организаций.

В Советском Союзе научное наследие Богданова, по большей части, замалчивали. Сам он оставался парией, которого В.И. Ленин раскритиковал в работе “Материализм и эмпириокритицизм” (1909 г.) за идеалистическую философию как форму “психологизма” (на деле, в борьбе за власть в большевистской партии), но при этом эвристические идеи Богданова использовались властью имущими в Советском Союзе без упоминания автора. В постсоветской России он тоже выглядит как будто несколько неуместным, поскольку, будучи марксистом, предполагал необходимым и неизбежным построение социализма, искал на-

⁶ Идея холизма подразумевает, что целое больше, чем сумма его частей [Smuts 1973]. Если одно направление системного подхода придерживается холизма (в противовес редукционизму), то другое исповедует плюрализм (в противовес догматизму) [Bawden 1998]. Так, неореализм — это холистская теория, исходящая из необходимого для нее допущения, что исследуемый объект представляет собой единое целое — нечто вроде системы или структуры. Богданова мы скорее отнесем ко второму (плюралистическому) направлению. Он призывал изучать не сами системные объекты (против чего возражал и Бурдьё, отвергая полезность органической аналогии, на каковой основывались социологические теории функционалистского плана от Эмиля Дюркгейма до Парсонса), а процессы трансформации организационных форм.

⁷ Целое больше суммы его частей.

⁸ Целое меньше суммы его частей.

⁹ Организующие и дезорганизующие действия в комплексе взаимно уравновешивают друг друга.

¹⁰ Эгрессия — от латинского “выходение из ряда”.

¹¹ Дегрессия — от латинского “схождение вниз”.

дежное средство для управления революционными процессами в интересах пролетариата. Как революционера-марксиста, его не заметили, проигнорировали современные ему европейские философы и ученые (хотя “Тектология” и была опубликована в Германии не позднее 1929 г.), и влияние его трудов на развитие философии и науки оказалось в результате смикшированным. Прямой интерес к работам Богданова пробудился лишь на излете брежневских времен. Но и к настоящему времени на Западе он известен и понят, как представляется [см. Rispoli 2019], несколько лучше, чем обществоведами в России.

Главное, что может мешать современным международникам “прорываться” к пониманию ключевого теоретического труда Александра Богданова, — это весьма стройная философская основа тектологии, что побуждает нас подробнее обратиться к его онтологической и эпистемологической позициям.

ОНТОЛОГИЯ И ЭПИСТЕМОЛОГИЯ

В широком плане онтологию для теории Богданова составляет русский космизм, рассматривающий человека и природу-космос как онтологическое всеединство [Шабатура 2016]. В узком плане речь идет о соединении и разведении комплексных форм, различающихся по степени организованности (целесообразности). Такой взгляд противопоставлен картезианской онтологии, исходящей из представления о механистическом мире, составленном из дискретных частей (например, суверенных государств). Образец картезианской онтологии мы видим в “канонических” теориях МО, в том числе в социальной теории международной политики Александра Вендта (американской версии конструктивизма), хотя для последнего ее составляют не только и даже не столько государства, сколько нормы, культура и идентичности [Wendt 1999]. Взгляд Вендта, в отличие от неореалистской трактовки МО, к которой он был довольно близок в других отношениях¹², оставался подчеркнуто дуалистичным. В своей теории он (подобно социологу и философу Бурдьё) различал материальную и идеальную сферы, стремясь найти способ к преодолению такого различия. Бурдьё нашел собственное решение этой когнитивной задачи¹³ в разрабатывавшемся им понятии габитуса [см. Jackson 2008]¹⁴.

Вендт со временем пришел к мысли о том, чтобы предложить в качестве метатеоретических оснований в сфере международных отношений виталистическую социологию, найдя для МО новую опору в квантовой механике [Wendt 2015]. Богданов же исходил из монистического толкования коллективного опыта. Речь идет о монизме эпистемологическом, основанном на идее о единстве знания и целостности опыта, его физических и психических элементов [Богданов (Малиновский) после 1914], т.е. для него не стояла проблема онтологического разрыва.

¹² Как и неореалисты, Вендт исходил из того, что государства являются исходными акторами в мировой политике. Как единицы, существующие в коллективном знании многих индивидов, для него они, как и для неореалистов, бытуют вне зависимости от мыслей отдельно взятого человека и наделены каждой своей идентичностью, исходно не привязанной к взаимодействию данного государства с другими государствами.

¹³ Речь так или иначе идет о попытках преодоления *онтологического разрыва* между Природой и Культурой [Sundberg 2014: 35].

¹⁴ Не все, впрочем, находят его решение достаточно убедительным, поскольку у Бурдьё коллективный габитус управляет практикой через ограничения и принуждения, исторически и социально обусловленные, т.е. содержит форму структурного детерминизма [Jenkins 1982].

Богданов сформировался как феноменологический марксист¹⁵, сводящий теоретические конструкты к жизненному контексту. Для него материальный мир и “природа” есть продукты коллективно организованного опыта, но не дискурсивный конструкт, как для большинства более “радикальных”, чем Вендт, (преимущественно европейских) современных конструктивистов — таких, например, как Фридрих Краточвил [Kratochwil 2007]. По Богданову речь идет о конструировании (виртуальной) реальности. В этом он расходится с радикальными конструктивистами, которые сосредоточены на (интер)субъективной сфере дискурсивного конструирования идентичности. В дополнение к коллективному опыту, для Богданова существует также организация в виде идей или концептов, которые отличаются от человека к человеку и от группы к группе (частные феноменологические перспективы, индивидуальный психический опыт).

Таким образом, двигаясь в феноменологическом русле, Богданов отказывается от представлений о том, что знание есть нечто, лежащее за пределами общественного опыта¹⁶. Он стремится к пониманию мира с точки зрения действующих лиц, непосредственно вовлеченных в социальные активности, что более созвучно видению таких теоретиков, как Макс Вебер, Георг Зиммель и Джордж Герберт Мид. Богданов уходит от методологического коллективизма в духе Маркса и Ленина, для которых характерно понимание общества как порожденного бытием и независимого от составляющих его индивидов, — в сторону методологического индивидуализма¹⁷.

Для Богданова “системы — это горизонт, в пределах которого перед людьми (заведомо частично) предстает реальный мир, на который они могут влиять, вооружившись коллективистской организационной культурой” [Богданов 1924]. Таким образом, в социальной культуре он видит важнейшую организующую силу, различая идеальные культурные типы (культура примитивная, авторитарная, индивидуалистическая и коллективистская) [см. Sochor 1988: 71]. Роль, отводимая им культуре, родственна культурной гегемонии Антонио Грамши, концепту, непосредственно повлиявшему на таких авторов, как Роберт Кокс [Cox 1981], с которым ассоциируется развитие критической теории международных отношений.

Согласно феноменологизму А. Богданова, осознание человеком реальности ведет к определению этой реальности. В противоположность такой картине, теория МО, начиная с 1950-х годов, была сформирована позитивизмом, привязанным к эмпирической эпистемологии. В ней подразумевается, что изучению подлежит реальный мир, который находится “где-то там”. И его составляют осязаемые и относительно постоянные структуры, трансформировать которые невозможно, но о которых в принципе когда-нибудь можно будет узнать из опыта.

¹⁵ Феноменологический марксизм получил основное распространение в США и Италии, основными его представителями считаются Э. Пачи и Э. Пиконе.

¹⁶ В таком смысле он является последователем итальянского философа Джамбаттисты Вико (см. [Crosce 2017; Князева 2006]).

¹⁷ Идея методологического индивидуализма была разработана Максом Вебером [Вебер 2016] (сам термин ввел в оборот Йозеф Шумпетер). Эта идея подразумевает, что общественные явления нужно объяснять, показывая, как они проистекают из индивидуальных действий, которые, в свою очередь, должны получать исходное объяснение в интенции, мотивирующей индивидуальных акторов. Вебер предупреждал при этом, что индивидуалистический метод не предполагает непременно образом какой-то индивидуалистической системы ценностей (но именно подобное предположение мы находим у Хайека в его трактовке спонтанного порядка [Hayek 1973]).

Нельзя сказать, чтобы феноменология (европейская), самое влиятельное философское направление в XX в., была особенно популярна среди междуна-родников в России сегодня. Но век тому назад ее гуссерлевский вариант активно осваивался в нашей стране. Публиковались русские переводы трудов Гуссерля и работы по феноменологии российских авторов [Шпет 2005]¹⁸. Для восприятия феноменологии в России тогда был свойствен повышенный интерес к проблематике конститутивных связей действительности и форм сознания в различных структурах опыта, а также коллективных и интересуб-ективных структур [Чубаров 2014; 1997: 9].

Исследовательская сила методологии Богданова в данной связи заключена не столько в его онтологическом видении мира, сколько в эпистемологическом влиянии набора предлагаемых им концептов, которые способны помочь струк-турировать то, как человечество воспринимает (трансформируя на основании этого восприятия) международный мир, в целом непостижимо сложный.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ГОСУДАРСТВОЦЕНТРИЗМ И ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Критика государствоцентризма стала ключевым аспектом в современной эволюции ТМО. Многие авторы (например, [Brenner 1999]) считают такую кри-тику необходимой для концептуализации наблюдаемых глобальных трансфор-маций. Вместе с тем критический настрой должен иметь пределы. Подлинный вызов, с которым столкнулись междуна-родники, заключается в необходимости выявления диалектики, связывающей национальные и глобальные процессы.

Преувеличение значимости территориальных аспектов международной политики, как и ее транснациональных черт, порождают драматизацию и экзальтацию в восприятии наблюдаемых международных процессов. Если же мы взглянем на них глазами Богданова, то увидим чередование организа-ционных форм, их соединение и разъединение, процессы, на которые люди способны повлиять. Международные трансакции подчинены правилам, действующим в юрисдикции тех государств, границы которых они пересекают. Международные институты, которые создаются для поддержания трансгра-ничных потоков, отталкиваются от национальных интересов и возможностей.

Идеал системности, как выражения объективной истины, опирался на логико-математический диалог с природой. Но теперь уже ясно, что систем-ные теории не объясняют происходящее. Они лишь иллюстрируют, чем можно руководствоваться при создании теории или выстраивании научной аргументации. Структурный реализм, неолиберальный институционализм и социальный конструктивизм предлагали такой взгляд на межгосударствен-ную систему международных отношений, при котором она существует как бы независимо от того, что о ней думают люди. С точки зрения богдановской телеологии такое видение бесплодно.

Утверждение, что мы живем в мире суверенных государств, оставаясь в допустимой мере корректным, недостаточно говорит нам о том, кому при-надлежит власть в принятии множества конкретных властных решений, осу-ществляющемся транснационально. В этих условиях пришло время для более активного обращения к организационной науке Богданова, который с начала XX в. оставался непонятым, намного опередив мысль современников.

¹⁸ Густав Густавович Шпет был расстрелян НКВД в 1937 г.

Глобальное управление — относительно “молодой” аналитический концепт, открывающий взгляд на мировую политику, отличный от традиционного ее понимания, и при этом созвучный реляционному способу мышления. Этот концепт (в отличие от неолиберального гегемонистского проекта) сам по себе не подразумевает умаления политической значимости государств. Напротив, в общемировом контексте, подобно малым “ветряным мельницам”, государства выполняют в глобальных системах нормативного регулирования ключевую функцию распределения директивных прав в связи с вопросами углубления власти надгосударственных институтов или их ослабления (играют роль бирегуляторов). Поэтому важно, что вместо того, чтобы, как встарь, выкраивать международные отношения как отдельную научную дисциплину с искусственными концептуальными ограничениями, организационная теория Богданова вдохновляет ученых на реинтеграцию социологии, психологии, политологии, истории и права для разностороннего “овладения” международной политикой ради достижения целей общественного прогресса.

DOI: [10.17976/jpps/2020.04.08](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.08)

SYSTEMS APPROACH IN INTERNATIONAL RESEARCH: ON THE APPLICABILITY OF THE THEORETICAL HERITAGE OF ALEXANDER BOGDANOV

M.V. Strezhneva¹

¹*Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations (IMEMO), Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia*

STREZHNEVA, Marina Vadimovna, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Professor, Principal Researcher, Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences, email: m.strezhneva@imemo.ru

Strezhneva M.V. Systems Approach in International Research: on the Applicability of the Theoretical Heritage of Alexander Bogdanov. — Polis. Political Studies. 2020. No. 4. P. 112-123. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.08>

Received: 14.02.2020. Accepted: 30.03.2020

Abstract. Systems Approach came to prominence in International Relations studies during the second half of the last century. However, now, any traditional perspective of the interstate system of International Relations has become obsolete. In this article, the organizational science (tectology) of Alexander Bogdanov is presented from the perspective of its *sui generis* systems research methodology, which, when first published, was vastly ahead of its time. The current virtue of Bogdanov's tectology lies in the epistemological influence the principles he formulated have on the organization of systems complexes (such as conjugation, ingression and disingression), common for any objects. Detecting the dialectics of national and global processes remains an ongoing problem in international studies. Bogdanov's scientific heritage seems relevant for approaching this problem now. In this article, the roots of his system-based vision and special aspects of these systems theories are analysed, allowing an all-important niche for Bogdanov's science of organizations in such a context to be carved. As an example of relationism, tectology is juxtaposed with substantialism, and such International Relations theories are aligned with substantialism as structural realism, neoliberal institutionalism and sociological constructivism. Ontology and phenomenology are considered in depth as characteristics of Bogdanov's empiriomonistic theory; however, it is acknowledged that Cartesianism is more typical for key International Relations theories, as this can explain rationalism and dualism, matching principles of nature with rules of traditional mechanics. This article pays particular attention to Bogdanov's notion of bi-regulation in multicomponent complexes, which have no use for external governance (as they are self-regulated). This notion might be helpful when trying to specify the pivotal role a territorial state might play despite the strengthening or weakening of power which institutions of multilevel global governance perennially undergo. The article is focused on Bogdanov's methodology, which regards any human activity as a totality of collective experience, with the most significant aspect being social culture. When taking territorial aspects of contemporary global policy and its transnational features

together, with the help of his system-tectological conception, we shall predominantly see features including “normal” conjunctions of organizational forms, which are undergoing constant processes of conjunction/disjunction, devoid of any unnecessary elements of high-stakes drama.

Keywords: Bogdanov, system of international relations, global governance, tectology, Wendt, Bourdieu, phenomenology.

References

- Adler-Nissen R. 2012. *Bourdieu in International Relations. Rethinking Key Concepts in IR*. London: Routledge. 230 p.
- Alexander Bogdanov and the Origins of Systems Thinking in Russia. 1998. Ed. by J. Biggart, P. Dudley, F. King. Aldershot; Brookfield, USA: Ashgate, 362 p.
- Bawden R.J. 1998. The Community Challenge: The Learning Response. — *New Horizons in Education*. Vol. 99. P. 40-59.
- Brenner N. 1999. Beyond State-Centrism? Space, Territoriality, and Geographical Scale in Globalization Studies. — *Theory and Society*. Vol. 28. No. 1. P. 39-78.
- Churchman C.W. 1968. *The Systems Approach*. New York: Delacorte Press.
- Cox R.W. 1981. Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory. — *Millennium: Journal of International Studies*. Vol. 10. No. 2. P. 126-155. <https://doi.org/10.1177/03058298810100020501>
- Croce B. 2017. *The Philosophy of Giambattista Vico*. New York: Routledge. 317 p.
- Gare A. 2000. Aleksandr Bogdanov and Systems Theory. — *Democracy & Nature*. Vol. 6. No. 3. P. 341-359. <https://doi.org/10.1080/10855660020020230>
- Hayek F.A. 1973. *Law, Legislation and Liberty: A New Statement of the Liberal Principles of Justice and Political Economy. Volume I: Rules and Order*. London, New York: Routledge. 244 p.
- Jackson P. 2008. Pierre Bourdieu, the ‘Cultural Turn’ and the Practice of International History. — *Review of International Studies*. Vol. 34, No. 1, P. 155-181. <https://doi.org/10.1017/S026021050800795X>
- Jackson P.Th., Nexon D.H. 1999. Relations Before States: Substance, Process and the Study of World Politics. — *European Journal of International Relations*. Vol. 5. No. 3. P. 291-332. <https://doi.org/10.1177/1354066199005003002>
- Jenkins R. 1982. Pierre Bourdieu and the Reproduction of Determinism. — *Sociology*. Vol. 16. No. 2, P. 270-281. <https://doi.org/10.1177/0038038582016002008>
- Keohane R.O. 1984. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 320 p.
- Kratochwil F.V. 2007. Evidence, Inference, and Truth as Problems of Theory Building in the Social Sciences. — *Theory and Evidence in Comparative Politics and International Relations*. Ed. by R. Lebow, M. Lichbach. New York: Palgrave. P. 25-54.
- Lechner S., Frost M. 2018. *Practice Theory and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press. 258 p. <https://doi.org/10.1017/9781108645775>
- Parsons T. 1951. *The Social System*. London: Routledge & Kegan Paul. 404 p.
- Rispoli G. 2019. The Space-Time Continuum and the Tektological Organization of the Earth-System. — *ISRF Bulletin*. No. 18. P. 25-30. URL: <http://hdl.handle.net/21.11116/0000-0003-A60A-7> (accessed 29.04.2020).
- Seidl D. 2004. Luhmann's Theory of Autopoietic Social Systems. — *Munich Business Research*. No. 2. URL: https://www.zfog.bwl.uni-muenchen.de/files/mitarbeiter/paper2004_2.pdf (accessed 29.04.2020).
- Smuts J.Ch. 1973. *Holism and Evolution*. Westport, C.T.: Greenwood Press. 361 p.
- Sochor Z.A. 1988. *Revolution and Culture: The Bogdanov-Lenin Controversy*. Ithaca, London: Cornell University Press. 258 p.
- Sundberg J. 2014. Decolonizing Posthumanist Geographies. — *Cultural Geographies*. Vol. 21. No. 1. P. 33-47. <https://doi.org/10.1177/1474474013486067>
- Varela F.G., Maturana H.R., Uribe R. 1974. Autopoiesis: The Organisation of Living Systems, Its Characterization and a Model. — *Biosystems*. Vol. 5. No. 4. P. 187-196. [https://doi.org/10.1016/0303-2647\(74\)90031-8](https://doi.org/10.1016/0303-2647(74)90031-8)
- Waltz K.N. 1979. *Theory of International Politics*. London, Amsterdam: Addison-Wesley Publishing Company Inc. 251 p.
- Wendt A. 2015. *Quantum Mind and Social Science: Unifying Physical and Social Ontology*. Cambridge: Cambridge University Press. 354 p.
- Wendt A. 1999. *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press. 429 p. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511612183>

Wogu I.A.P. 2013. Behaviouralism as an Approach to Contemporary Political Analysis: an Appraisal. — *International Journal of Education and Research*. Vol. 1. No. 12. URL: https://www.researchgate.net/publication/278727800_BEHAVIOURALISM_AS_AN_APPROACH_TO_CONTEMPORARY_POLITICAL_ANALYSIS_AN_APPRAISAL (accessed 29.04.2020).

Blauberger I.V. 1997. *Problema tselostnosti i sistemnyi podkhod* [Integrity Problem and System Approach]. Moscow: Editorial URSS. 448 p. (In Russ.)

Blauberger I.V., Yudin E.G. 1973. *Stanovlenie i sushchnost' sistemnogo podkhoda* [Formation and Essence of System Approach]. Moscow: Nauka Publishers. 270 p. (In Russ.) URL: <http://tlf.msk.ru/school/Blauberger.pdf> (accessed 29.04.2020).

Bogdanov [Malinovskii] A.A. [after 1914]. *Filosofiya zhivogo opyta: (Populyarnye ocherki): Materializm, empiriokrititsizm, dialekticheskii materializm, empiriomonizm, nauka budushchego* [Philosophy of Living Experience: (Popular Essays): Materialism, Empirio-Criticism, Dialectical Materialism, Empiriomonism, the Science of the Future]. Petrograd: M.I. Semenov. 272 p. (In Russ.) URL: <http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=43378674> (accessed 29.04.2020).

Bogdanov A.A. 1924. *O proletarskoi kul'ture. 1904-1924: publitsistika* [On Proletarian Culture. 1904-1924: Political Essays]. Moscow, Leningrad: Kniga. 343 p. (In Russ.) URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=54312 (accessed 29.04.2020).

Bogdanov A.A. 2003. *Empiriomonizm. Stat'i po filosofii* [Empiriomonism. Articles on Philosophy]. Moscow: Respublika Publishers. 400 p. (In Russ.)

Bogdanov A.A. 2019. *Tektologiya: Vseobshchaya Organizatsionnaya Nauka* [Essays in Tektology: The General Science of Organization]. Moscow: URSS. 680 p. (In Russ.)

Chubarov I.M. 1997. Predislovie [Foreword]. — *Antologiya fenomenologicheskoi filosofii v Rossii. Vol. 1.* [Anthology of Phenomenological Philosophy in Russia. Vol. 1]. Ed. by I.M. Chubarov. Moscow: Logos. P. 7-12. (In Russ.)

Chubarov I.M. 2014. *Kollektivnaya chuvstvennost': teorii i praktiki levogo avangarda* [Collective Sensuality: Theories and Practices of the Left Avant-Garde]. Moscow: Publishing House of the Journal "Proletarian Culture". 344 p. (In Russ.)

Degterev D.A., Istomin I.A. 2015. System Modeling of International Relations. — *World Economy and International Relations*. Vol. 59. No. 11. P. 17-30. (In Russ.) URL: https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=1248&file=https://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/11_2015/17_30_DEGTEREV.pdf (accessed 29.04.2020).

Knyazeva E.N. 2006. Epistemological Constructivism. — *Philosophy of Science*. Vol. 12. No. 1. P. 133-153. (In Russ.) URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_23342526_26742837.pdf (accessed 29.04.2020).

Lepskii V.E., Sleptsov E.S. 2019. Vliyaniye rabot A.A. Bogdanova na stanovlenie kibernetiki pervogo, vtorogo i tret'ego poriyadka [The Influence of Tektology by A.A. Bogdanov upon the Start-up of the Cybernetics of First, Second and Third Order]. — *Sbornik trudov XIII Vserossiiskogo soveshchaniya po problemam upravleniya VSPU-2019* [Proceedings of the XIII All-Russian Meeting on Management Problems of the VSPU-2019]. Moscow: V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences. <https://doi.org/10.25728/vspu.2019.1554>

Loktionov M. 2016. Alexander Bogdanov — the Founder of General Systems Theory. — *Philosophy of Science and Technology*. Vol. 21. No. 2. P. 80-96. (In Russ.) <https://doi.org/10.21146/2413-9084-2016-21-2-80-96>

Luhmann N. 2007. Einführung in die Systemtheorie. (Russ. ed.: Luhmann N. *Vvedenie v sistemnyuyu teoriyu*. Moscow: Logos. 360 p.)

Parsons T. 1998. The System of Modern Societies. (Russ. ed.: Parsons T. *Sistema sovremennykh obshchestv*. Moscow: Aspect Press. 270 p.)

Pozdnyakov E.A. 1976. *Sistemnyi podkhod i mezhdunarodnye otnosheniya* [Systematic Approach and International Relations]. Moscow: Nauka Publishers. 159 p. (In Russ.)

Protess formirovaniya i osushchestvleniya vneshnei politiki kapitalisticheskikh gosudarstv [The Process of Formation and Implementation of the Foreign Policy of Capitalist States]. 1981. Ed. by V.I. Gantman. Moscow: Nauka Publishers. 488 p. (In Russ.)

Sadovskiy V.N. 1974. *Osnovaniya obshchei teorii sistem: logiko-metodologicheskii analiz* [Foundations of the General Systems Theory: Logical-Methodological analysis]. Moscow: Nauka Publishers. 280 p. (In Russ.) URL: http://systems-analysis.ru/assets/systems_theory_sadovsky.pdf (accessed 29.04.2020).

Shabaturo L.N. 2016. A.A. Bogdanov's Ontology of Cosmism. — *Society: Philosophy, History, Culture*. No. 12. P. 15-17. (In Russ.)

Shpet G.G. 2005. *Mysl' i Slovo. Izbrannye Trudy* [Thought and the Word. Selected Works]. Moscow: ROSSPEN. 688 p.

Takhtadzhyan A.L. 2007. Na puti k universal'noi evolyutsionnoi nauki [On the Way to Universal Evolutionary Science]. — Takhtadzhyan A.L. *Grani evolyutsii. Stat'i po teorii evolyutsii 1943-2006* [Facets of Evolution. Articles on the Theory of Evolution 1943-2006]. St. Petersburg: Nauka Publishers. P. 258-260. (In Russ.)

Urmantsev Yu.A. 2014. *Obshchaya teoriya sistem v dostupnom izlozhenii* [General Theory of Systems in an Accessible Presentation]. Moscow, Izhevsk: Regul'yarnaya i khaoticheskaya dinamika. 408 p. (In Russ.)

Weber M. 2016. *Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie*. (Russ. ed.: Weber M. *Khozyaistvo i obshchestvo: ocherki ponimayushchei sotsiologii. Sotsiologiya*. Moscow: HSE Publishing House. 445 p.)

Литература на русском языке

Блауберг И.В. 1997. *Проблема целостности и системный подход*. М.: Эдиториал УРСС. 448 с.

Блауберг И.В., Юдин Э.Г. 1973. *Становление и сущность системного подхода*. М.: Наука. 270 с. URL: <http://tlf.msk.ru/school/Blauberger.pdf> (accessed 29.04.2020).

Богданов [Малиновский] А.А. [после 1914]. *Философия живого опыта: (Популярные очерки): Материализм, эмпириокритицизм, диалектический материализм, эмпириомонизм, наука будущего*. Петроград: М.И. Семенов. 272 с. URL: <http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.htm?id=43378674> (accessed 29.04.2020).

Богданов А.А. 1924. *О пролетарской культуре. 1904-1924: публицистика*. Москва, Ленинград: Издательское товарищество “Книга”. 343 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=54312 (accessed 29.04.2020).

Богданов А.А. 2003. *Эмпириомонизм. Статьи по философии*. М.: Республика. 400 с.

Богданов А.А. 2019. *Тектология: Всеобщая организационная наука*. Изд. 6-е, испр. и доп. М.: URSS. 680 с.

Вебер М. 2016. *Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Социология*. М.: Издательский дом Высшей школы экономики. 448 с.

Дегтерев Д., Истомин И. 2015. Системное моделирование международных отношений. — *Мировая экономика и международные отношения*. Т. 59. № 11. С. 17-30. URL: https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=1248&file=https://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/11_2015/17_30_DEGTEREV.pdf (accessed 29.04.2020).

Князева Е.Н. 2006. Эпистемологический конструктивизм. — *Философия науки*. Т. 12. № 1. С. 133-153. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_23342526_26742837.pdf (accessed 29.04.2020).

Лепский В.Е., Слепцов Э.С. 2019. Влияние работ А.А. Богданова на становление кибернетики первого, второго и третьего порядка. — *Сборник трудов XIII Всероссийского совещания по проблемам управления ВСПУ-2019*. М.: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН. С. 1554-1557. <https://doi.org/10.25728/vspu.2019.1554>

Локтионов М.В. 2016. А.А. Богданов как основоположник общей теории систем. — *Философия науки и техники*. Т. 21. № 2. С. 80-96. <https://doi.org/10.21146/2413-9084-2016-21-2-80-96>

Луман Н. 2007. *Введение в системную теорию*. М.: Издательство “Логос”. 360 с.

Парсонс Т. 1998. *Система современных обществ*. М.: Аспект Пресс. 270 с.

Поздняков Э.А. 1976. *Системный подход и международные отношения*. М.: Наука. 159 с.

Процесс формирования и осуществления внешней политики капиталистических государств. 1981. Под ред. В.И. Гантмана. М.: Наука. 488 с.

Садовский В.Н. 1974. Основания общей теории систем: логико-методологический анализ. М.: Наука. 280 с. URL: http://systems-analysis.ru/assets/systems_theory_sadovsky.pdf (accessed 29.04.2020).

Тахтаджян А.Л. 2007. На пути к универсальной эволюционной науке. — Тахтаджян А.Л. *Грани эволюции. Статьи по теории эволюции 1943-2006*. СПб.: Наука. С. 258-260.

Урманцев Ю.А. 2014. *Общая теория систем в доступном изложении*. М.; Ижевск: НИЦ “Регулярная и хаотическая динамика”. 408 с.

Чубаров И.М. 1997. Предисловие. — *Антология феноменологической философии в России*. Под ред. И.М. Чубарова. Т. 1. М.: Логос. С. 7-12.

Чубаров И.М. 2014. *Коллективная чувственность: теории и практики левого авангарда*. М.: Издательский дом Высшей школы экономики. 344 с.

Шабатура Л.Н. 2016. Онтология космизма А.А. Богданова. — *Общество: философия, история, культура*. № 12. С. 15-17.

Шпет Г.Г. 2005. *Мысль и Слово. Избранные труды*. М.: РОССПЭН. 688 с.

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ И РЕЛИГИОЗНОСТЬ В ОПТИКЕ КОНСТРУКТИВИЗМА

Г.Т. Сардарян, Т.А. Алексеева

САРДАРЯН Генри Тигранович, доктор политических наук, декан факультета управления и политики, МГИМО МИД России, Москва, email: sardaryan.mgimo@gmail.com; **АЛЕКСЕЕВА Татьяна Александровна**, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой политической теории, МГИМО МИД России, заслуженный деятель науки РФ, Москва, email: ataleks@mail.ru

Сардарян Г.Т., Алексеева Т.А. Секуляризация и религиозность в оптике конструктивизма. — Полис. Политические исследования. 2020. № 4. С. 124–138. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.09>

Статья поступила в редакцию: 05.02.2020. Принята к публикации: 23.03.2020

Аннотация. В научной литературе чуть ли не в качестве аксиомы подается тезис о том, что модернизация неизменно сопровождается утратой религиозности и секуляризацией. Между тем ситуация не столь проста и однозначна: в современном мире наблюдаются отчетливые тенденции, демонстрирующие как размывание секуляризма, так и подъем интереса к религии, причем в самых разных вариантах — от фундаментализма до новых веяний и верований. Религиозные воззрения не были заменены политическими идеологиями. Интерпретация и исповедание религий во многом предопределяются политической культурой конкретных обществ, их идентичностью, исторической мифологией, традициями. В свою очередь, политическая культура становится реципиентом новейших вариантов религиозных и секулярных воззрений. Иначе говоря, решающее значение имеет контекст, поэтому европейская модель вовсе не является универсальной. По мнению авторов, конструктивизм представляет собой подход, позволяющий выйти за пределы евроцентризма, который по-прежнему характерен для многих современных исследований, фиксирующих данные статистики соответствующих стран и регионов, но не связывающих происходящие в этих странах и регионах политические процессы с характерной для них политической культурой.

Ключевые слова: секуляризация, конструктивизм, религия, политическая культура.

ВВЕДЕНИЕ

Еще относительно недавно общим местом считалось утверждение, что по мере общественно-политического развития усиливается влияние секуляризации, а значение религиозных верований и институтов демонстрирует тенденцию к снижению, место религии занимает наука или — в других трактовках — идеология. Многие политические мыслители утверждали это положение в той или иной форме по крайней мере со времени наступления Модерна или в известной мере повторяли сказанное другими.

Например, Карл Маркс подчеркивал, что с развитием капитализма произошло смещение религии из государства в гражданское общество, она стала частным делом граждан, правда, это еще не “уничтожает действительную религиозность человека...” [Маркс 1955: 393], хотя уже и предполагает эмансипацию социальных отношений, общественного и индивидуального сознания от религии, иначе говоря, секуляризацию.

Макс Вебер, рассуждая о “разволшебствовании мира” как результате рационализации мышления человека, сформулировал три догмата секуляризации:

упадок религиозной веры и практики, приватизация религии и религиозных организаций, отчуждение секулярной сферы от государства, экономики и науки [Вебер 1990]. Отечественный философ Ю.А. Кимелев следующим образом разъяснил эту “триаду”: “Суть секуляризации заключается в расхождении между церковным христианством и нецерковными социальными структурами, в расхождении между церковным христианством и многими сегментами культуры, а также в вытеснении религии из повседневной жизни” [Кимелев 1998: 130]. Секуляризация в первом аспекте (снятие святости, освобождение от влияния религии, приверженность светским ценностям) означает, что социальные структуры обретают независимость от церковных институтов прежде всего от церковно-религиозной нормативности. Секуляризация как отторжение церковного имущества в пользу светского (государственного) владения в действительности означает процесс становления и функционирования буржуазной культуры. Исторически автономизация буржуазной культуры во многом означала автономизацию по отношению к религии, и прежде всего церковному христианству. Секуляризация в третьем аспекте (юридический перевод духовного лица в светское состояние) означает вытеснение религии в приватную сферу жизни индивида [там же: 130].

Данный подход отражал происходившее в сфере взаимоотношений между церковью и обществом, поэтому неудивительно, что множество исследователей продолжают полагать, что секуляризация — неизбежное следствие модернизации и что религия шаг за шагом теряет и будет терять впредь свое значение в политической культуре наиболее развитых и продвинутых обществ.

Руководствуясь этой логикой, политический мыслитель Лоуренс Харрисон предложил научному сообществу типологию культур, по его мнению, склонных или, напротив, тормозящих модернизацию и экономическое развитие в зависимости от религиозной ориентации. В своем фундаментальном исследовании он проанализировал 117 стран, в которых более 1 млн человек исповедуют одну из мировых религий: христианство (протестантизм, католицизм или православие), буддизм, ислам, индуизм и особое этическое учение — конфуцианство. Он также включил в свой анализ Израиль как страну, в которой большинство населения исповедует иудаизм.

Харрисон непосредственно связал культурные и социальные факторы и особенности религиозных традиций с экономическими успехами стран, совершивших “скачок” из третьего мира в первый. По его мнению, протестантские страны более расположены к модернизации, нежели католические, а конфуцианство в большей степени тяготеет к прогрессу, нежели ислам, индуизм и буддизм. Тот факт, что такие преимущественно католические страны, как Ирландия, Испания и Италия, очевидно не могут быть отнесены к числу остальных, он объяснил возрастающей в них секуляризацией.

Эти идеи получили развитие в опубликованной в 2012 г. книге “Евреи, конфуцианцы и протестанты. Культурный капитал и конец мультикультурализма” [Харрисон 2012]. В этой работе автор вновь подчеркнул, что для успешного развития экономики помимо материального капитала особенно важен *культурный капитал* как показатель того, создает ли та или иная культура благоприятные условия для экономического развития и социального прогресса или, наоборот, тормозит их. Он также вновь подчеркнул, что иудейская этика создает основу для “духа капитализма”, а протестантизм в большей степени

способствует модернизации, чем католицизм. При этом православие, по его мнению, вообще выступает в роли силы, направленной против прогресса.

На первый взгляд, Харрисон следует идеям Макса Вебера. Однако более внимательное прочтение утверждений Вебера показывает, что его идеи были искажены или не вполне правильно поняты его многочисленными комментаторами. Уже на первых страницах “Протестантской этики и духа капитализма” Вебер сделал важное замечание: “...Относительное преобладание протестантов среди владельцев капитала, руководителей крупных торгово-промышленных предприятий и квалифицированных рабочих, тот факт, что процент протестантов в этих кругах превышает их процентное отношение к населению в целом, отчасти объясняются историческими причинами, уходящими в далекое прошлое; в этом случае принадлежность к определенному вероисповеданию выступает не как причина экономических явлений, а до известной степени как их следствие” [Вебер 1990: 44]. И далее: “Даже те церковные круги, которые в наши дни наиболее ревностно прославляют ‘дело’ Реформации, в целом отнюдь не являются сторонниками капитализма в каком бы то ни было смысле” [там же].

Получается, что по мере изменения политико-идеологического и экономического контекста меняется и взгляд на религию. Не только религия предопределяет изменения этого контекста, но и контекст воздействует на нее. Именно поэтому Запад с присущим ему протестантизмом, вследствие их неразрывной идеологической взаимосвязи, нередко провозглашается современными исследователями нормой, а другие религии, в том числе и христианские конфессии — нарушением, искажением, дефектом.

Вместе с тем к концу 1990-х годов в мировой науке стало все более явно проявляться разочарование в “популярных” теориях секуляризации и признание особых ценностей, присущих отдельным конфессиям. Религиозность в начале XXI столетия переживает возрождение, причем на фоне практически повсеместного распространения капитализма и процессов модернизации — отнюдь не только в формах протестантизма. Меняется характер дискуссий вокруг секуляризации — смещается фокус исследовательского интереса: констатация упадка религий по мере социально-экономического прогресса сменяется поисками объяснения, почему обещанного повсеместного упадка не происходит.

Причина этого заключается не только в изменениях в общественном сознании, но и в появившихся более точных инструментах демокопических измерений. Так, американский социолог Питер Бергер на основании эмпирического исследования показал, что растиражированные тенденции к секуляризации не всегда подтверждаются на практике. Более того, процессы секуляризации замедляются. Наряду с эффектом воздействия модернизации на индивидуальную веру и социальные институты обнаруживаются и противоположные эффекты, включая переутверждение религиозной идентичности, адаптацию традиционных религиозных институтов к новым условиям, развитие плюрализма в религиозных сообществах [Berger 2014].

Впрочем, этот вывод, по мнению Бергера, не применим к Европе. На европейском континенте по мере развития экономики действительно наблюдается упадок религиозной веры, снижается влияние религиозных институтов, в то время как в других регионах мира можно наблюдать противоположную

тенденцию. Это в значительной степени объясняется историческими, политико-правовыми и социокультурными предпосылками происхождения секуляристских настроений в Европе, нетипичных для мира в целом.

Признав значение секуляризации как одного из проявлений модернизации, Бергер отмечает, что параллельно она способствовала углублению и развитию религиозных чувств: “Секуляризация на уровне общества не обязательно связана с секуляризацией на уровне индивидуального сознания” [The Desecularization... 1999: 3]. Реакция на секуляризацию, полагает он, выражалась в двух основных формах: либо в отрицании (в форме религиозной революции с попыткой утверждения контроля со стороны религиозных институтов над всем обществом), либо в адаптации как создании религиозных субкультур или сект, дистанцирующихся от общества.

Но более типичным оказался средний путь, когда на глобальном уровне можно наблюдать подъем ортодоксальных и консервативных течений (например, евангелистов среди американских протестантов), а также радикальных течений в исламе, буддизме, индуизме и т.д. Их обычно называют “фундаменталистами”, что предполагает не только следование традиционным религиозным ритуалам, но также и страстное, эмоционально окрашенное отношение к самой вере. В какой-то степени такого рода ресакрализация — это реакция именно на секуляризацию, но и одновременно отражение модернизационных трендов, способствующих плюрализации мнений, идей и верований. По Бергеру, предпочтение такого пути стало, во-первых, результатом поиска определенности на фоне тотальной неопределенности, привнесенной Модерном; а во-вторых, выражением протеста против секуляризма элитарного меньшинства [Berger 1967]. Отсюда его прогноз, что и XXI век будет столь же религиозным, как и предшествующие эпохи. Хотя Бергер вынужден был сделать важнейшую оговорку, что сказанное не относится ко *всем* религиозным движениям.

Значительная, а возможно и подавляющая часть населения мира на сегодняшний день задействована в тех или иных формах религиозных практик. Так называемая иррелигиозность (*irréligeux*, безверие), которая может включать в себя деизм [Łukasiewicz 2018], агностицизм [Rosa 2019], атеизм [Burgess-Jackson 2018], весьма разнообразна в странах современного мира.

Worldwide Independent Network и *Gallup International Association* (WIN/GIA) провели четыре всемирных опроса. На основании их результатов выявлялась нелинейная динамика процесса секуляризации. Так, в 2005 г. 77% населения мира считали себя религиозными, 4% определяли себя как “убежденные атеисты”, остальные 19% назвали себя нерелигиозными людьми. В 2012 г. уже 13% назвали себя “убежденными атеистами”, а 23% — нерелигиозными; в 2015 г., соответственно, 11% и 22%, в 2017 г. — 9% и 25%¹. Эти данные в общем виде иллюстрируют мировые процессы в сфере религии, но не могут составлять основу для исследования современных религиозных процессов, так как соотношение ответов на подобные вопросы со многими религиями, не относящимися к авраамической традиции, проблематично. Следует также иметь в виду,

¹ См. WIN-Gallup International. *Global Index of Religiosity and Atheism*. 2012. URL: <https://web.archive.org/web/20121016062403/http://redcresearch.ie/wp-content/uploads/2012/08/RED-C-press-release-Religion-and-Atheism-25-7-12.pdf>; WIN-Gallup International. *Religion Prevails in the World*. 2017. URL: <http://www.wingia.com/web/files/news/370/file/370.pdf> (accessed 28.09.2020).

что секуляризацию в актуальных социологических исследованиях перестают ассоциировать напрямую с “атеизмом”, “не-религией”, но говорят о ней более мягко и обтекаемо — как об изменении “положения религии в структуре общества”. Такой ракурс выбирают, например, Н. Луман, Ф. Лечнер, М. Чавес, Х. Казанова, Р. Старк, У. Бэинбридж, а также К. Доббелере, С. Брюс и некоторые другие.

Корреляция между экономическим развитием и религиозным мировоззрением исключительно сложна и противоречива. Поэтому со временем многие исследователи, нередко вопреки собственным более ранним утверждениям, приходят к выводу, что прямолинейного движения мира в направлении полной секуляризации не наблюдается. Происходит, скорее, “расширение ‘зоны неверия’”. Но одновременно идет процесс религиозного ренессанса, связанный с характерными для высокотехнологичной эпохи поисками духовности” [Барановский, Наумкин 2018: 8]. В результате острой академической дискуссии научное сообщество вынужденно пересматривает широко распространенные теории секуляризации. Появляются новые подходы, и среди них важную роль играет конструктивизм.

В настоящей статье рассмотрим конструктивизм как возможное методологическое направление, позволяющее анализировать религиозно-политические процессы в разных регионах современного мира в условиях, когда общая теория секуляризация, возникшая в 1960-х годах на основе наборок Маркса и Вебера, перестает быть функциональной и уступает новой, но еще не сформировавшейся теории “десекуляризации” — “постсекуляризации”.

128 КОНСТРУКТИВИЗМ И ТЕОРИЯ СЕКУЛЯРИЗАЦИИ

Несмотря на то, что наиболее известные исследователи секуляризма редко, если вообще упоминают свою приверженность конструктивизму, все же влияние этого подхода на их рассуждения становится все более очевидным. Необходимо дать некоторые пояснения этому тезису.

Хотя слоган “культура имеет значение” широко распространен среди политологов, позиции политической культуры в дисциплинарном поле политической науки выстраивались неоднозначно (см., например, [Культура... 2002]). Эта неоднозначность особенно проявлялась в вопросах понимания и интерпретации поведения незападных стран и регионов, постоянно возникали разногласия между исследователями разных научных школ при обсуждении, возможно ли в принципе операционализировать понятие политической культуры, и если да, то как именно. В дальнейшем труды таких теоретиков, как Р. Инглхарт, Ф. Фукуяма, Р. Патнэм, С. Хантингтон (и многих других) не только способствовали возрождению интереса к “полузабытой” политической культуре, но сделали это направление вновь одним из наиболее востребованных в политической теории и политической науке в целом. Как следствие, политико-культурный подход оказался, наряду со структурализмом и институционализмом, одним из широко используемых объяснительных концептов в политологии, в особенности после того как на международно-теоретическую сцену вышел и утвердился конструктивизм [Wiorda 2016]. В результате переосмысления, реконцептуализации и формулирования в обновленной терминологии произошло не просто “возрождение” концепта политической культуры, но его своего рода реинкарнация в русле многообразных иден-

титарных исследований [Идентичность... 2017], цивилизационного подхода и мультикультурализма. Даже с точки зрения изучения международных отношений сегодня все чаще принимается во внимание внутренняя политическая ситуация стран-участниц, включая ценности и верования. В целом политическая культура “других” оказывает сильное влияние на поведение и положение государств в мировой политике [Walker 1993; Лебедева, Харкевич 2016]. Стоит упомянуть Ш. Эйзенштадта и его концепцию “множественных современностей” (*multiple modernities*), которая существенно повлияла на развитие дискуссий о секуляризации [Eisenstadt 2000]. Эйзенштадт пытался преодолеть евроцентристскую парадигму модернизации и доказывал, что европейский путь развития обществ — не единственно возможный.

Со временем трактовка политической культуры значительно расширилась: если в середине прошлого века речь в первую очередь шла о том, чтобы определить характеристики обществ с точки зрения их склонности к демократии или, наоборот, к авторитаризму, то современная, более расширенная трактовка политической культуры дает возможность применять ее основные теоретические положения к анализу самых разных тенденций общественно-политического развития. В частности, на основе синтеза конструктивистского подхода и такой расширенной трактовки политической культуры отчетливее выявляется влияние на характер политической системы религиозного фактора. Это особенно ценно ввиду актуализации изучения взаимосвязи секуляризма и религиозности в контексте сравнительного анализа политических культур.

В рамках конструктивизма религия рассматривается прежде всего как дискурсивная традиция, находящая свое воплощение в коллективных и индивидуальных ритуалах, особых этических правилах, канонических текстах, артефактах, святых местах, признанных харизматических фигурах, причем все это отнюдь не остается неизменным с течением времени — так же как и институты, контролирующие и организующие религиозную практику. При этом особое значение имеет контекст, в частности, местная политическая культура, которая не только выступает как реципиент мировых религий, но и оказывает влияние на практику их восприятия и исповедания. Например, исследование отношения к демократии со стороны сторонников ислама в Египте, Тунисе, Иордании, Кувейте и Марокко показывает существенные различия. Теоретик Гудрун Крэмер считает, что “невозможно говорить об исламе и демократии в целом, а только об отношении мусульман, живущих и размышляющих на эту тему в специфических исторических условиях” [Kramer 1993].

Религия, таким образом, находит свое воплощение в доктринах, тесно связанных с политикой. Но тогда и граница между религиозностью и секуляризмом при ближайшем рассмотрении приобретает политический характер. Соответственно, секуляризм и религия тесно связаны с властными отношениями, что делает универсальное определение религии практически невозможным — необходимо исследование дискурсов и традиций, предопределяющих практику, ее формы и цели. Конструктивистский подход позволяет выяснить условия, при которых некоторые аспекты традиции рассматриваются как правильные, истинные, а другие — как отклонения или искажения. Поэтому интересы религиозных акторов отнюдь не совпадают. Они могут иметь стратегический или тактический характер, диктоваться конъюнктурными соображениями и конкретной политической ситуацией в том или ином обществе

или стране. Иначе говоря, рациональные интересы не могут быть изъяты из локальных политико-культурных традиций, отъединены от политических и экономических структур и сложившихся социальных практик.

Более того, конструктивистский подход к религии в целом признает, что даже сама по себе политическая теория — продукт борьбы между светской сферой и религией, а ее категории непосредственно отражают этот процесс. Необходимо отметить, что само понятие “религия” является результатом эволюции научной мысли [Sheikh 2018]. В древнем и средневековом мире латинское *religio* понималось как индивидуальное поклонение, а не как доктрина, практика или источник знания. Кроме того, *religio* включало в себя и широкие социальные обязательства перед семьей, соседями, правителями и, разумеется, Богом. Концепция “религии”, как она обычно понимается сегодня, была сформирована в XVI и XVII вв., несмотря на то, что древние священные тексты, такие как Библия, Коран и другие, не содержали в себе такого понятия. И ни люди, ни культуры, в которых были написаны эти священные тексты, с подобным или схожим термином знакомы не были [Nongbri 2013: 152].

Так, в иврите нет точного эквивалента “религии”, иудаизм не проводит четкого разграничения между религиозной, национальной или расовой идентичностью [Zeitlin 1938]. Греческое слово *θρησκεία* (*thrēskeía*), используемое в Новом Завете, иногда переводится как религия, однако этот термин стал пониматься как “поклонение” лишь в средневековый период [Nongbri 2013: 122]. В современных переводах Корана арабское слово *din* часто переводится как религия, но до середины 1600-х годов более распространенной была версия перевода “закон” [Glei, Reichmuth 2012]. Санскритское слово *дхарма* (*धर्म*, *dharma*) иногда переводится как религия, но в оригинале означает также *закон* или *учение*. В Южной Азии изучение права включало в себя покаяние, благочестие и сакральный церемониал [Fleming 2018]. В средневековой Японии имел место аналогичный союз между имперским законом и законом Будды, но впоследствии они стали независимыми источниками [Kuroda 1996: 3–4].

Современное же абстрактное понятие религии получило распространение с XVII в. из-за все более тесных контактов с новыми, открывшимися для европейцев цивилизациями.

Иначе говоря, современное представление о разделении светского и духовного, закона и религии служит почвой для многих научных исследований в данной области, ставящих своей целью доказательство степени влияния одного на другое. В действительности же до образования самой концепции секуляризации [Walton 2018] подобный диспут считался бы искусственным. В странах христианской цивилизации закон, в том числе регулирующий вопросы формирования, устройства и функционирования государственной власти, был основан на христианских принципах и не мог им противоречить, а в странах нехристианской культуры самого разделения права на светское и религиозное не существовало вовсе.

В этом контексте складывались дискурсивные оценки секуляризма. Важную роль в этом играли сложившиеся исследовательские традиции. Майкл Барнетт подчеркивает, что, несмотря на акцент на секулярности, современные гуманитарные науки так или иначе опираются на категории различения “цивилизованных” и “нецивилизованных” народов и стран, что было унаследовано еще от христианских миссионеров [Barnett 2001].

Американский исследователь Элизбет Хёрд в работе, посвященной изучению нарративов десекуляризации в международных отношениях, рассматривает секуляризм как серию взаимосвязанных политических проектов, поддерживаемых конкретными обычаями и практиками, которые реализовывались специфическими акторами со своими интересами, а вовсе не возникали в теологическом стиле вследствие политического развития [Hurd 2017]. Основу для этого подхода создали такие политические мыслители, как Вильям Конолли, Чарльз Тэйлор, Эдвард Саид, Мишель Фуко и некоторые другие.

Наиболее известны два секуляристских проекта: “европейский” лаицизм и иудео-христианский, “американский” секуляризм. Они представляют собой две специфические траектории реализации секуляристской традиции в отношениях религии и политики, влияющих, безусловно, и на международные процессы. Лаицизм предполагал последовательное отгораживание церквей и монастырей от социальных институтов, сокращение их влияния на каждую сферу общества (государство, армию, семью, искусство и т.п.). Как отмечает социолог религии Х. Казанова, “В данном случае целью было освободить все светские сферы от церковно-клерикального контроля, и потому в центре внимания был антагонизм между клиром и мирянами (лаиками). Однако в отличие от протестантского направления здесь граница между религиозным и секулярным строго соблюдалась, но при этом оказалась отодвинутой на край, чтобы все религиозное сохранить, приватизировать и маргинализировать, лишая его любой возможности видимого присутствия в секулярной публичной сфере, теперь обозначаемой как свободная от религии область *laïcité*. Это образцовый франко-латино-католический путь секуляризации, но в континентальной Европе он имел разные траектории” [Казанова 2018: 147].

Исторически лаицизм зародился как движение мирян, принимавших на себя функции священников и выстраивавших свою гражданскую жизнь без обращения к предписаниям церкви. Это движение имеет длительную историю, наиболее ярко оно проявило себя в эпоху Реформации и особенно европейских революций, в первую очередь — Великой Французской революции. Мартин Лютер в обращении “К христианскому дворянству немецкой нации” (1520 г.) проповедовал, что Папа, епископы, священники и монахи призваны в христианство, в то время как принцы, лорды, ремесленники и крестьяне — это миряне. Но при этом все христиане принадлежат церкви, и каждый из них — освященный священник с момента крещения: “...Те, кого сейчас называют духовенством, или священниками, епископами и папами, отличаются от остальных христиан не далее и не более того, что они должны иметь дело со словом Божиим и с Таинствами, это их занятие и служба; точно так же в руках у светской власти — меч и розги, чтобы наказывать ими злых, защищать благочестивых. У сапожника, кузнеца, крестьянина и у каждого есть свое ремесло, должность и дело, и все же все они в одинаковой мере являются посвященными священниками и епископами; и каждый, исполняя свою должность или занимаясь своим ремеслом, обязан приносить пользу другим и служить им” [Лютер 1994: 60]. Кальвин пошел еще дальше, утверждая, что есть только один истинный священник — Иисус Христос.

Вестфальский мир 1642 г. манифестировал появление секулярного суверенного государства, равно как и приватизацию религии. В конце концов государственно-правовые отношения вышли из-под контроля церкви как

социального института — решение, подготовленное политической мыслью от Эрнеста Ренуара до Огюста Конта и многих других.

В целом же лаицизм позволяет рассматривать религию либо как произвольный проект, либо как препятствие модернизации. Однако сегодня лаицизм имеет не только институциональный характер, но обнаруживается также в реалистском, либеральном и материалистическом подходах к международным отношениям, поскольку все эти теории строятся на базе утверждения, что религия либо является частным делом, либо умирает. Заметим все же, что эти дискурсы зародились в Европе вследствие конкретных исторических обстоятельства и только в последнее столетие стали претендовать на универсальность.

Так, Э. Хёрд в знаменитой книге “Политика секуляризма в международных отношениях” опровергает устойчивое мнение, что религия уже давно исключена из политики, приватизирована, по крайней мере, на Западе [Hurd 2008]. Секуляристское противопоставление религии и политики отнюдь не зафиксировано раз и навсегда. Будучи социально и исторически сконструированным, такое их искусственное разведение обрело самостоятельную плюралистическую форму политического авторитета в международных отношениях, облеклось в конструкт, в своем политическом воплощении имеющий далеко идущие, глобальные последствия. Критика такого разведения позволяет понять, почему ни в теории международных отношений, ни в практической политике так и не получили признания в качестве важных составляющих мирового политического процесса ни секуляризм, ни религиозность. Более того, открытие “черного ящика” секуляризма позволило бы понять смысл наиболее важных эмпирических загадок в международных отношениях, связанных с религиозными вопросами. Без категории секуляризма в мировой политике сегодня крайне трудно объяснить, например, долговременные конфликтные отношения между США и Ираном, многолетнее непринятие Турции в ЕС, политическую активизацию современного исламского фундаментализма и в целом глобальный подъем религиозности на Ближнем Востоке и в других регионах.

Секуляристские традиции подвижны, изменчивы, постоянно сталкиваются с вызовами реальности, побуждающими к их переосмыслению. Секуляризм представляет собой не какое-то жестко зафиксированное понятие, а дискурс, или язык, легитимирующий политические вопросы и способ их решения, иначе говоря, это своего рода элемент политического авторитета, власти. Отсюда — различные варианты секуляризма, каждый из которых представляет способ политического урегулирования взаимоотношений между религией и политикой, сложившийся вследствие социальных и исторических процессов. Он легитимируется и воплощается через индивидов, через законы, деятельность государства, другие социальные и политические отношения, в том числе и международные.

Если “европейский” лаицизм воплощает нарратив, предполагающий отделение религии от политики, то “американский” тип секуляризации, наоборот, стремится поместить церковь в мир и политику, обмирщить ее, что тем не менее рассматривается исследователями-конструктивистами как основа секулярной демократии. Следует оговориться, что различия между двумя типами секуляризма трудно провести по определенным государственным

ным границам, поскольку они появлялись в разных местах и в разное время. Воплощая дискурсивные традиции, эти различные типы секуляризма так или иначе противопоставляют церковь и государство, однако по-разному объясняют смысл их разделения, предполагая разные способы узаконивания, что имело в истории неоднозначные политические последствия.

“Американский” вариант секулярного проекта вырос из целого ряда дискурсов, которые рассматривали современную политику как основанную на ценностях и верованиях, берущих свое начало в христианстве. Французский историк Марк Ферро подчеркивал: “Стереотипы ‘белой истории’... включают в себя главные ценности европейцев, проявляющиеся во взаимоотношениях с остальным миром. Это уважение к порядку и закону, национальное единство, монотеизм, демократия, предпочтение оседлого образа жизни и индустриальной экономики, вера в прогресс и т.д.” [Ферро 2010: 23]. При “американском” секуляризме ломаются формальные барьеры между церковью и миром, церковь не элиминируют, а, наоборот, открывают, погружают в мир – обмирщают. Этот тип секуляризации выбивается из “общего правила” – в США быстрые темпы модернизации не привели к упадку религии (активность участия в деятельности религиозных организаций у жителей США выше, чем в Европе).

Как подчеркивает Э. Хёрд, оба дискурса секуляризма возникли через оппозицию исламу, однако так и не смогли дать адекватную оценку происхождению, интересам и целям современных исламистских движений, в особенности исламского фундаментализма. А это имеет немаловажные последствия как для практики международных отношений, так и для их теоретического осмысления. Более того, Хёрд показала, что нормативное различие между религией и политикой встроено в категории анализа в теории международных отношений, что зачастую приводит к довольно тяжелым последствиям при урегулировании международных конфликтов. Поэтому секуляризм следует изучать в историческом, культурном и политическом контекстах, а отнюдь не как некую универсальную абстракцию. Хёрд подчеркивает, что секуляризм следует рассматривать не в качестве оппозиции религиозности, а как сравнительный тип мировоззрения, опирающегося на религиозные идеи и одновременно конкурирующего с ними, особенно в той части, где речь идет о политико-теоретических вопросах [Hurd 2015].

Важно отметить, что философская концепция релятивизма [Shipovalova 2017] не допускает существования объективной истины как таковой. То есть в условиях отсутствия любой формы трансцендентной истины, коей в первую очередь предстает любое религиозное учение, сама “секулярная” оценка правильности принимаемого решения становится невозможна, так как отсутствуют критерии оценки. Если определение правильности решения опирается на персональный субъективный взгляд каждого из индивидов в условиях, когда отсутствует какой бы то ни было критерий общего блага и этики [Чугров 2017], то ни одно решение не может быть принято, так как оценить его “секулярную” правильность будет невозможно.

Кроме того, далеко не все политические решения можно оценить по бинарным критериям эффективности/неэффективности. Как индивид, так и социум, и государственная власть постоянно вынуждены сталкиваться с этическим выбором [Cameron et al. 2017], в основе которого находится не

столько оценка результативности принимаемого решения, сколько убеждение в его правильности с точки зрения его соответствия нормативной системе ценностей. Если гражданин полагает что-либо нормальным в обществе, где отсутствует любая трансцендентная истина, то единственное, что может сдерживать его от совершения аморального поступка, — это законодательство. Однако значит ли это, что если он сумеет достигнуть власти и изменить право, то его поступок станет допустимым? В случае, если мораль в обществе сводится к индивидуальным предпочтениям граждан, никакого ограничения предусмотрено быть не может.

ТЕОРИЯ СЕКУЛЯРИЗАЦИИ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ

Попробуем рассмотреть попытки ряда авторов переосмыслить теорию секуляризации в целом. П. Норрис и Р. Инглхарт, проанализировав данные почти 80 стран по стандартному набору индикаторов ценностных предпочтений и используя также другие индикаторы на массиве 191 страны [Norris, Inglehart 2011], обнаружили различия между аграрными, индустриальными и постиндустриальными обществами. Помимо данных о росте ВВП, авторы анализируют уровень неравенства в доходах, численность городского населения, уровень грамотности и образованности, доступ к СМИ, заболеваемость СПИДом, детскую смертность, доступ к водным ресурсам, доступность медицинского обслуживания, показатели демографического роста и т.д., выявляя корреляцию этих данных с типом и уровнем религиозности.

Особый интерес представляет их анализ 23 экономически наиболее развитых государств. В Ирландии, Италии и США, безусловно, постиндустриальных обществах, уровень религиозности по-прежнему высок, а в Японии постоянно возрастает. Норрис и Инглхарт объясняют это конкуренцией между церквями. Они не усматривают здесь никакой связи, так же как и не находят связи между рынком и ростом религиозности в посткоммунистических государствах. Причины в первом случае следует искать, на наш взгляд, все же в политической культуре стран, а во втором случае — в политических изменениях и радикальной смене ценностных ориентаций, вызвавших во многих случаях потребность возвращения к политико-культурным традициям, в том числе религиозным.

По существу, Норрис и Инглхарт не обратились ни к истории, ни к традициям, ни к политической культуре, ни к политически институтам как важнейшим факторам, влияющим на отношение граждан к религии. Авторы стремились доказать, что именно мировоззрение, которое было связано с религиозными традициями, сформировало устойчивые культурные паттерны каждой нации [ibid.: 17]. Вместе с тем ученые отметили эту тенденцию исключительно в постиндустриальных обществах. Признавая общие тенденции, следует, по их мнению, в каждом конкретном случае рассматривать секуляризацию отдельно и более тщательно с учетом контекста. Так, “общества с большей верой в науку часто имеют более сильные религиозные верования” [ibid.: 67], констатируют авторы, но практически не комментируют это утверждение.

Другие исследователи пытаются пойти дальше в этом направлении, но их результаты также не вполне убедительны. Например, нет обоснованного объяснения причин корреляции между высоким уровнем религиозности и поддержкой научного прогресса в мусульманских обществах. Большинство

исследователей опираются на ту же констатацию связи науки и религии, к которой прибегали “классики” европейской политической мысли. Многие мусульманские ученые, между тем, вообще не усматривают никакого противоречия между научным прогрессом и верой, поскольку и то, и другое в их понимании исходит от Бога [Campanini 2015].

Здесь мы подходим к, пожалуй, наиболее болезненной проблеме исследования секуляризма — устойчивому евроцентризму, точнее, к предопределяемой им методологии исследования религиозных ориентаций. Так или иначе, большинство исследований в той или иной степени опирается на авраамические постулаты при анализе других религий. Например, в качестве критерия принимается сам факт присутствия Бога в жизни человека и веры в небеса, ад и наличие души. Важнейшее значение придается факту посещения церкви (принадлежности к общине верующих). Соответственно, сохраняется убеждение в том, что по мере развития технологий снижается уровень такого участия. Однако такой критерий, как посещение служб, с трудом можно применить к буддизму, конфуцианству и синтоизму, где частота участия в публичных ритуалах вовсе не считается признаком религиозности.

Процессы секуляризации/десекуляризации в Европе отнюдь не тождественны процессам в других регионах мира. Это становится особенно понятным при рассуждениях о переходе к постсекулярному миру, о котором говорил крупнейший немецкий мыслитель Юрген Хабермас в своем стамбульском докладе [Хабермас 2008]. Для постсекулярного мира в целом характерен рост авторитета и влияния религий — особенно за пределами Европы, где все более заметным становится разочарование в светском обществе и государстве. Важно также отметить, что возрождающаяся религиозность зачастую рассматривается как один из идеологических инструментов в контексте нового мирового порядка после холодной войны. Как пишет ливано-французский философ Жорж Корм, “теперь во имя защиты ‘иудео-христианской цивилизации’ в самом центре дискурса господ нового мирового порядка, строящегося на американской силе, утверждается то же самое презрение к жизни Другого, но этот Другой — уже не ‘большевик-революционер’, а исламистский адепт ‘Четвертой’ мировой войны” [Корм 2012: 10]. Тем самым для Корма речь идет не столько о “возрождении религии в современном мире”, сколько о ее “применении” во имя каких-то других целей, в том числе глобальных финансово-экономических. В особенности это относится к тем районам мира, где разрушаются традиционный образ жизни и экономический уклад. Корм предвидит “переобоснование мира”, в основу которого будет положен пересмотр противопоставления религии и проекта Просвещения, новый космополитизм. В сущности, это не новая идея. Еще Джон Роулз, сформировавший ключевые принципы деонтологического либерализма, настаивал на необходимости установления взаимного консенсуса между группами с различным мировоззрением, без чего, по его мнению, вообще невозможно принятие нормативного ядра конституционного порядка в обществе [Rawls 1998]. Иначе говоря, такой консенсус должен быть сконструирован.

Ключевое преимущество конструктивистского подхода позволяет наряду с признанием географической гетерогенной природы религии анализировать влияние религии, помещая ее в конкретное время и контекст. Соответственно, и секуляризм может быть раскрыт в рамках матрицы властных отношений

государства Модерна. Конструктивизм в целом — это подход, дающий возможность выйти за пределы евроцентризма и американского протестантизма, однако приходится констатировать, что многие современные исследования, как и прежде, следуют такой приверженности.

В эпоху отмечаемого многими исследователями кризиса политической теории, возможно, именно конструктивизм при всей своей размытости и неточности может дать ответы на вопросы, которые не получают разрешения в иных парадигмальных рамках. Но помимо преимуществ, у конструктивизма есть и некоторые ограничения, в частности, затрудненная сочетаемость со статистическим анализом, а также “вкусная” операционализация, отражающая субъективный взгляд автора исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрение вопроса о соотношении секуляризации и возрождения религиозности в мировой политике требует немалых уточнений. Господствуют представления, что и статистика, и нормативная теория, описывающая переход от аграрных обществ к индустриальным, к представительной демократии, а затем и к постиндустриальному обществу, в том числе и к новой политической культуре, — все свидетельствует о сокращении числа сторонников мировых религий. Однако сам характер этих процессов, очевидно, нуждается в конкретизации, поскольку он отнюдь не одинаков в Европе и в других регионах мира. Поэтому процессы и идеология секуляризации нуждаются в более внимательном изучении, в исследовании разнообразных проявлений религиозности, позволяющем не ограничиваться “моментальными снимками”, предоставляемыми нам количественными методами.

DOI: [10.17976/jpps/2020.04.09](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.09)

SECULARIZATION AND RELIGIOUSNESS IN THE OPTICS OF CONSTRUCTIVISM

G.T. Sardaryan¹, T.A. Alekseeva¹

¹Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University). Moscow, Russia

SARDARYAN, Genri Tigranovich, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Dean at School of governance and politics, MGIMO University, email: sardaryan.mgimo@gmail.com; ALEKSEEVA, Tatiana Aleksandrovna, Dr. Sci. (Philos.), Professor, Head of Political Theory Department, MGIMO University, email: ataleks@mail.ru

Sardaryan G.T., Alekseeva T.A. Secularization and Religiousness in the Optics of Constructivism. — Polis. Political Studies. 2020. No. 4. P. 124–138. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.09>

Received: 05.02.2020. Accepted: 23.03.2020

Abstract. In the presentation of scientific literature in this field, modernization is, almost as an axiom, invariably accompanied by a loss of religiosity and the spread of secularism. However, the situation is not so simple and unambiguous. In the modern world, there are distinct trends that demonstrate both the erosion of secularism, and an increase of interest in religion, seen across a spectrum of ways, from fundamentalism to new trends and beliefs. In other words, political ideologies are yet to offer an unambiguous replacement for religious views. According to the authors, the interpretation and practice of religions is largely determined by the political culture of specific societies, their identity, historical mythology, traditions of societies, and so on; political culture, in turn, becomes a recipient of the latest versions of religious and secular views. In other words, context is crucial. Therefore, the European model is not at all universal. According to the authors, constructivism is an approach that allows the limits of Eurocentrism to be breached; significantly, Eurocentrism remains the typical attitude in many modern

studies whose focus is only on statistical data, but does not connect with what is happening amidst the political culture of the respective countries and regions.

Keywords: secularity, secularization, constructivism, religion, political culture.

References

- Barnett M. 2001. *Empire of Humanity. A History of Humanitarianism*, Ithaca: Cornell University Press.
- Berger P. 1967. *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. Garden City: Doubleday.
- Berger P. 2014. *The Many Alters of Modernity: Toward a Paradigm for Religion in a Pluralist Age*. Boston: Walter de Gruyter, Inc.
- Burgess-Jackson K. 2018. Rethinking the Presumption of Atheism. — *International Journal for Philosophy of Religion*. Vol. 84. No. 1. P. 93-111.
- Cameron C.D., Payne B.K., Sinnott-Armstrong W., Scheffer J.A., Inzlicht M. 2017. Implicit Moral Evaluations: A Multinomial Modeling Approach. — *Cognition*. Vol. 158. P. 224-241.
- Campanini M. 2015. "Science and Epistemology in Medieval Islam. — *Social Epistemology Review and Reply Collective*. Vol. 4. No.12. P. 20-28.
- Eisenstadt S.N. 2000. Multiple Modernities. — *Daedalus*. Vol. 129. No. 1. P. 1-29.
- Fleming C.T. 2018. Critical Legal Studies and Narrative Ethics in Contemporary Indian 'Epic' Fiction. — *South Asian Studies*. Vol. 34. No. 1. P. 81-92.
- Glei R., Reichmuth S. 2012. Religion between last Judgement, law and Faith: Koranic Din and its Rendering in Latin Translations of the Koran. — *Religion*. Vol. 42. No. 2. P. 247-271.
- Hurd E.Sh. 2008. *Politics of Secularism in International Relations*. Princeton: Princeton.
- Hurd E.Sh. 2015. *Beyond Religious Freedom: The New Global Politics of Religion*. Princeton: Princeton university Press.
- Hurd E.Sh. 2017. Narratives of De-secularization in International Relations. — *Intellectual History Review*. Vol. 27. No. 1. P. 97-113. <https://doi.org/10.1080/17496977.2016.1255462>
- Kramer G. 1993. *Islamist Notions of Democracy*. Middle East Report, July-August. URL: <https://merip.org/1993/07/islamist-notions-of-democracy/> (accessed 30.05.2020).
- Kuroda T. 1996. The Imperial Law and the Buddhist Law. — *Japanese Journal of Religious Studies*. Vol. 23. No. 3-4. P. 271-285.
- Łukasiewicz D. 2018. Epistemic Deism and Probabilistic Theism. — *European Journal for Philosophy of Religion*. Vol. 10. No. 1. P. 129-140.
- Nongbri B. 2013. *Before Religion: A History of a Modern Concept*. New Haven: Yale University Press.
- Norris P., Inglehart R. 2011. *Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Rawls J. 1998. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harbard University Press.
- Rosa L. 2019. Logical Principles of Agnosticism. — *Erkenntnis*. Vol. 84. No. 6. P. 1263-1283. <https://doi.org/10.1007/s10670-018-0007-7>
- Sheikh M.K. 2018. Recursion or Rejection? Securitization Theory Faces Islamist Violence and Foreign Religions. — *Global Discourse*. Vol. 8. No. 1. P. 26-38.
- Shipovalova L. 2017. Should We Conceive Science Historically? — *Epistemology and Philosophy of Science*. Vol. 51. No. 1. P. 18-28.
- The Desecularization of the World*. 1999. Ed. by P. Berger. Grand Rapids: William B. Eerdmans.
- Walker H.B.J. 1993. *Inside/Outside: International Relations as Political Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Walton H. 2018. We Have Never Been Theologians: Postsecularism and Practical Theology. — *Practical Theology*. Vol. 11. No. 3. P. 218-230.
- Wiorda H. 2016. *Political Culture, Political Science, and Identity Politics. An Uneasy Alliance*. London: Routledge.
- Zeitlin S. 1938. The Jews: Race, Nation, or Religion? — *Biblica*. Vol. 19. No. 1. P. 105-107.
- Baranovsky V.G., Naumkin V.V. 2018. World of Faith and World of Disbelief: Expansion and Reduction of Religiosity. — *Polis. Political Studies*. No. 6. P. 8-31. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.06.02>
- Weber M. 1990. Die protestantische Ethik und der "Geist" des Kapitalismus (Russ. ed.: Weber M. *Protestantskaya etika i dukh kapitalizma. Izbrannye proizvedeniya*. Moscow: Progress).
- Identichnost: Lichnost, obshchestvo, politika. Entsiklopedicheskoe izdanie* [Identity: The Individual, Society, and Politics. An Encyclopedia]. Ed. by I.S. Semenenko. 2017. Moscow: Ves Mir. (In Russ.)

Casanova J. 2018. Exploring the Postsecular. Three Meanings of “the Secular” and Their Possible Transcendence. — *Gosudarstvo, religii, tserkov' v Rossii i za rubezhom*. Vol. 36. No. 4. P. 143–174. (In Russ.) <https://doi.org/10.22394/2073-7203-2018-36-4-143-174>

Chugrov S.V. 2017. Post-Truth: Transformation of Political Reality or Self-Destruction of Liberal Democracy? — *Polis. Political Studies*. No. 2. P. 42–59. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.02.04>

Corm G. 2012. La question religieuse au XXI^e siècle: géopolitique et crise de la post-modernité. (Russ. ed.: Corm G. *Religiozniy vopros v XXI veke. Geopolitika i krizis postmoderna*. Moscow: Institut obshchegumanitarnykh issledovaniy).

Culture Matters: How Values Shape Human Progress. 2002. (Russ. ed.: *Kul'tura imeet znachenie. Kakim obrazom tsennosti sposobstvuyut obshchestvennomu progressu*. Ed. by L. Harrison, S. Huntington. Moscow: Moscow School of Political Studies).

Ferro M. 2010. Comment on raconte l'histoire aux enfants: à travers le monde entier. (Russ. ed.: Ferro M. *Kak rasskazyvayut istoriyu detyam v raznykh stranakh mira*. Moscow: Knizhnyi klub 36.6).

Habermas J. 2008. A “Post-secular” Society — What Does That Mean? (Russ. ed.: Habermas J. Protiv “voinstvuyushchego ateizma”. “Postsekulyarnoe” obshchestvo — chto eto takoe? — *Russian Journal*. URL: <http://www.russ.ru/pole/Protiv-voinstvuyushchego-ateizma#1> (accessed 28.05.2020)).

Harrison L. 2012. Jews, Confucians, and Protestants. Cultural Capital and The End of Multiculturalism. (Russ. ed.: Harrison L. *Evrei, konfuciancy i protestanty. Kul'turny kapital i konec mul'tikulturalizma*. Moscow: Fund Liberal mission).

Kimelev Yu.A. 1998. *Filosofiya religii. Sistematicheskij ocherk* [The Philosophy of Religion. Systematic Review]. Moscow: Nota Bene. (In Russ.)

Lebedeva M.M., Harkevich M.V. 2016. Theory of International Relations in The Mirror of Contemporary Russian International Studies. — *MGIMO Review of International Relations*. No. 5. P. 7–19. (In Russ.)

Luther M. 1994. An den christlichen Adel deutscher Nation. (Russ. ed.: Luther M. K khristianskomu dvoryanstvu nemetskoj natsii. — Luther M. *Izbrannye proizvedeniya*. St. Petersburg: Andreev i soglasie. P. 55–119).

Marx K. 1955. Zur Judenfrage. (Russ. ed.: Marx K., Engels F. K evrejskomu voprosu. — *Sochineniya*. Vol. 1. Moscow: Gos. izd-vo politicheskoy literatury. P. 382–413).

Литература на русском языке

Барановский В.Г., Наумкин В.В. 2018. “Мир веры” и “мир неверия”: экспансия и редукция религиозности. — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 8–31. <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.06.02>

Вебер М. 1990. *Протестантская этика и дух капитализма. Избранные произведения*. М.: Прогресс. Идентичность: Личность, общество, политика. Энциклопедическое издание. 2017. Отв. ред. И.С. Семененко. М.: Весь Мир.

Казанова Х. 2018. Размышляя о постсекулярном: три значения “секулярного” и три возможности выхода за его пределы. — *Государство, религия, церковь в России и за рубежом*. № 4. С. 143–174. <https://doi.org/10.22394/2073-7203-2018-36-4-143-174>

Кимелев Ю.А. 1998. *Философия религии. Систематический очерк*. М.: Nota Bene.

Корм Ж. 2012. *Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кризис постмодерна*. М.: Институт общегуманитарных исследований.

Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу. 2002. Под ред. Л. Харрисона и С. Хантингтона. М.: Московская школа политических исследований.

Лебедева М.М., Харкевич М.В. 2016. Теория международных отношений в зеркале современных российских исследований. — *Вестник МГИМО-Университета*. № 5. С. 7–19.

Лютер М. 1994. К христианскому дворянству немецкой нации. — Лютер М. *Избранные произведения*. СПб.: Андреев и согласие. С. 55–119.

Маркс К. 1955. К еврейскому вопросу. — Маркс К., Энгельс Ф. *Сочинения*. Т. 1. М.: Гос. изд-во политической литературы. С. 382–413.

Ферро М. 2010. *Как рассказывают историю детям в разных странах мира*. М.: Книжный клуб 36.6.

Хабермас Ю. 2008. Против “воинствующего атеизма”. “Постсекулярное” общество — что это такое? — *Русский журнал*. URL: <http://www.russ.ru/pole/Protiv-voinstvuyushchego-ateizma#1> (accessed 28.05.2020).

Харрисон Л. 2012. *Евреи, конфуцианцы и протестанты. Культурный капитал и конец мультикультурализма*. М.: Фонд “Либеральная миссия”.

Чугров С.В. Post-truth: трансформация политической реальности или саморазрушение либеральной демократии? — *Полис. Политические исследования*. 2017. № 2. С. 42–59. <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.02.04>

ЕВРОСОЮЗ ПЕРЕД ЛИЦОМ ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ: ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

В.С. Малахов, К.А. Касцян

МАЛАХОВ Владимир Сергеевич, доктор политических наук, профессор, директор Центра теоретической и прикладной политологии Института общественных наук, РАНХиГС, Москва, email: vmalachov@yandex.ru; **КАСЦЯН Кирилл Анатольевич**, доктор права, приглашенный научный сотрудник, Институт политических исследований Словацкой Академии наук, Братислава (Словакия), email: zibens@gmail.com

Малахов В.С., Касцян К.А. Евросоюз перед лицом вынужденной миграции: политическое и юридическое измерение. — Полис. Политические исследования. 2020. № 4. С. 139-151. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.10>

Статья поступила в редакцию: 19.10.2019. Принята к публикации: 12.02.2020

Аннотация. Статья посвящена выработке нюансированного понимания содержания противоречий в политических элитах ЕС вокруг проблемы вынужденной миграции, обострившейся после известных событий 2015 г. С этой целью авторы анализируют содержание судебных споров между Европейской комиссией и странами Вышеградской группы по вопросу о распределительных квотах в отношении беженцев; выявляют основные диспозиции на европейском политическом поле, сложившиеся в связи с различиями в подходах к вынужденной миграции; демонстрируют современное состояние дел в этой сфере с точки зрения принимаемых решений. Подробно разобрав правовые аргументы, приводимые в Суде ЕС спорящими сторонами, авторы приходят к выводу о политической природе этой коллизии. Истцы и ответчики не просто по-разному интерпретируют правовые документы ЕС — они придерживаются диаметрально противоположных взглядов на содержание проблемы вынужденной миграции. “Расклад сил” с точки зрения отношения к приему беженцев определяется противостоянием между либеральным и консервативным полюсами, первый из которых представлен основным Брюсселем (Еврокомиссия и Европейский суд), а также руководством Германии и Швеции, а второй — правительствами стран Вышеградской группы и Италии. Ряд государств обнаруживает тяготение к одному из этих полюсов. Однако большинство государств — членов ЕС не придерживается однозначной позиции по вопросу о беженцах, предпочитая балансировать между двумя принципами — приверженностью гуманистическим ценностям и общеевропейской солидарности, с одной стороны, и защитой национального суверенитета и безопасности — с другой. Это проявляется как в нечеткости публичной риторики их лидеров, так и в бесконечном откладывании и половинчатости принимаемых решений. В ходе анализа действий национальных правительств в 2015-2019 гг. авторы выяснили, что все крупные игроки на европейском политическом поле обнаруживают достаточно высокую готовность к компромиссам, благодаря чему, вероятно, Евросоюзу не грозит распад под напором противоречий по миграционному вопросу.

Ключевые слова: вынужденная миграция, Европейский союз, миграционный кризис, беженцы, Вышеградская группа, Европейский суд, миграционная политика ЕС.

ВВЕДЕНИЕ

События 2015-2016 гг., вошедшие в историю как “европейский миграционный кризис”, породили широкую политическую и академическую

дискуссию, не утихающую по сей день [Barlai et al. 2017; Georgiou, Zaborowski 2017; Шапаров 2017; Scipioni 2018]. Оценки сути происходившего, равно как и представления об адекватных способах реагирования на приток беженцев, расходятся принципиально — вплоть до диаметрально противоположных¹.

Различия в понимании того, как должен выглядеть курс объединенной Европы в отношении вынужденной миграции, стал причиной глубоких расколов в элитах и на национальном, и на наднациональном уровне. В ряде стран заметно изменился политический ландшафт, что выразилось, среди прочего, в усилении правопопулистских партий и движений с “евроскептической” и антимигрантской повесткой. На этом фоне зазвучали прогнозы о перспективе дезинтеграции Евросоюза.

За истекший период в российской политологии накопился значительный пласт литературы, прямо или косвенно затрагивающей проблематику “европейского миграционного кризиса”. Российские исследователи обращаются к анализу уязвимостей политической системы ЕС — как связанных, так и не связанных с миграционными процессами [Шейнис 2017], социально-экономических и социально-политических трансформаций в отдельных европейских странах под влиянием миграции [Гоффе 2017; Гришин 2017; Малахов 2018], роста влияния ультранационалистических организаций [Большова 2016], а также проблем социального инкорпорирования новопривывшего населения [Клупт 2017; Чапенко, Монусова 2017; Веденеева 2019]. Тем не менее в нашем понимании политических дебатов, ведущихся в современной Европе вокруг миграционной тематики, остаются существенные пробелы.

Достаточно хорошо известно об острой конфронтации между представителями исполнительной и законодательной власти ЕС (условным Брюсселем) и лидерами ряда государств Восточной и Южной Европы (условными Будапештом, Варшавой, Римом и т.д.) по вопросу о приеме и распределении беженцев. Известно также, что обе стороны обращались по этому поводу в Европейский суд справедливости и что за этим последовали другие судебные тяжбы. Однако содержание позиций сторон известно хуже. С какими юридическими аргументами они выходили в судебные инстанции? К каким правовым нормам апеллируют истцы и ответчики? Далее, научное сообщество осведомлено о словесных войнах между ведущими политиками государств ЕС по вопросу о вынужденной миграции. Но что происходит за пределами риторики — на институциональном уровне? Как в принципе выглядит “расклад сил” на европейском политическом поле вокруг этой проблемы? Какие игроки (коалиции игроков) задействованы в текущей борьбе, и каковы их позиции? И действительно ли ЕС грозит распад под напором противоречий вокруг миграционной политики?

Далее попытаемся ответить на эти вопросы.

СПОР БРЮССЕЛЯ И ВЫШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ — ЮРИДИЧЕСКИЙ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЙ?

Членство в Европейском союзе предполагает обязательное действие на территории каждой из стран-участниц общей системы правовых норм —

¹ Ряд экспертов вообще ставили под сомнение корректность выражения “кризис” применительно к ситуации, возникшей в связи с притоком беженцев летом-осенью 2015 г. См. [Pallister-Wilkins 2016; Crawley et al. 2018; Crawley, Skleparis 2018; Klatt 2018; Dines, Montagna, Vacchelli 2018]. Краткий обзор аргументов в пользу такой позиции см. [Малахов, Симон 2017].

acquis communautaire. В данной сфере действует ряд исключений, в том числе в сфере миграционной политики. Они предусмотрены соответствующими договоренностями между Брюсселем и отдельными государствами. Вопросы вынужденной миграции регулируются рядом статей Договора о функционировании Европейского союза (ДФЕС). Так, в соответствии с п. 2 ст. 67 ДФЕС роль Европейского союза состоит в развитии общей политики, касающейся контроля внешних границ, предоставления убежища и иммиграции. При этом подчеркивается, что такая политика должна быть основана на принципе солидарности государств-членов. В ст. 80 Договора говорится, что принцип солидарности и справедливого распределения ответственности между странами ЕС является определяющим при формировании политики по обеспечению функционирования “пространства свободы, безопасности и правосудия”.

Наиболее важна в этом контексте ст. 78 ДФЕС, которая предполагает выработку общей политики по вопросам предоставления убежища. Статья предусматривает, что эта политика должна основываться на нормах Женевской конвенции 1951 г., Протокола от 31 января 1967 г. о статусе беженцев и прочих международных договорах, относящихся к указанной сфере правового регулирования. Пункт 3 этой статьи гласит, что при наличии чрезвычайной ситуации с “внезапным притоком граждан третьих стран” предусмотрен механизм *временных мер* в пользу заинтересованного государства или ряда государств, принимаемых Советом ЕС после консультаций с Европейским парламентом.

Такие временные меры и имелись в виду, когда Совет ЕС своим решением № 2015/1601 от 22 сентября 2015 г. — в ответ на экстраординарную ситуацию, сложившуюся летом того года, заявил о внедрении механизма обязательного перемещения лиц, ищущих убежище. Речь шла о распределительных квотах по приему беженцев, уже находящихся на территории Греции и Италии. Решение встретило жесткое сопротивление со стороны Венгрии, Польши, Чехии и Словакии, образующих *Вышеградскую группу*, или “*Вышеградскую четверку*”.

Венгрия и Словакия обратились в Суд ЕС с исками, требовавшими отменить установленные квоты на распределение беженцев. Эти иски касались вопросов правоприменения, в первую очередь положений п. 3 ст. 78 ДФЕС. (Позднее к истцам присоединилась Польша.) По мнению Будапешта и Братиславы, п. 3 ст. 78 ДФЕС не наделяет Совет ЕС юридическими полномочиями для принятия решения по данному вопросу. Кроме того, государства-истцы утверждали, что сам миграционный кризис был вполне предсказуемым, так что о “чрезвычайной ситуации” в связи с “внезапным притоком граждан третьих стран” речь вести нельзя. Соответственно, двухлетний срок, предусмотренный для переселения вынужденных мигрантов, нельзя рассматривать в качестве “временной меры” в том понимании, которое было заложено в указанный пункт ст. 78 ДФЕС.

Кроме того, истцы обращали внимание Суда ЕС на то, что решение не было принято единогласно. Помимо Венгрии и Словакии, против распределительных квот проголосовали также Румыния и Чехия, а еще одно государство (Финляндия) воздержалось. Третий аргумент истцов: отсутствие надлежащих консультаций с национальными парламентами стран — членов Евросоюза. И, наконец, четвертый довод: решение о перемещении лиц, ищущих убежище, противоречило принципам правовой определенности и нормативной ясности,

поскольку оставляло непроясненным, каким образом данные положения должны применяться и как они связаны с нормами Дублинского регламента². Тем не менее Суд ЕС не прислушался к аргументам Будапешта и Братиславы, и своим решением от 6 сентября 2017 г. признал их претензии в полном объеме необоснованными.

Ситуация, сложившаяся в этот период, поставила вопрос о том, существует ли в ЕС вообще общая правовая рамка миграционной политики. Есть ряд моментов, заставляющих в этом усомниться.

Во-первых, договоры ЕС по обеспечению “функционирования политики пространства свободы, безопасности и правосудия” предусматривают множество исключений. Такие исключения делались для Дании, Ирландии (а также Великобритании)³. Характер этих исключений различается. Если Дания не может участвовать в решении вопросов в таком формате (и, соответственно, быть частью общеевропейского механизма распределительных квот)⁴, то Ирландия может ограничивать собственное участие в вопросах миграционной политики без каких-либо последствий для себя. За четырехлетний период между осенью 2015 г. и осенью 2019 г. Ирландия приняла у себя чуть более 1 тыс. беженцев⁵. Что касается Дании, то в силу описанных выше исключений из договоров ЕС, участие этой страны в перемещении мигрантов возможно лишь на основании отдельных соответствующих договоренностей и вне формата общеевропейских распределительных квот.

Во-вторых, государства Вышеградской группы де-факто саботировали реализацию механизма распределительных квот. Эти страны разместили на своей территории всего 28 человек (из них 12 – Чехия и 16 – Словакия).

То, что Европейская комиссия переадресует вопрос несоблюдения распределительных квот Венгрией, Польшей и Чехией (Словакии эти претензии не коснулись) в судебные инстанции, было предсказуемо⁶. Слушания в Европейском суде справедливости по формально трем разным делам начались в мае 2019 г., растянувшись почти год. Вердикт был вынесен 2 апреля 2020 г. и носил, по сути, исключительно моральный характер. Суд ЕС признал, что три вышеградские страны своими действиями нарушили обязательства в рамках права ЕС, однако никаких санкций за это нарушение не предусмотрено⁷.

² Совокупность правовых документов, в основе которых лежит Дублинское соглашение 1990 г. Согласно данному регламенту, лицо, ищущее убежище в ЕС, должно подать соответствующее ходатайство на территории того государства-члена, в котором находится после прибытия в ЕС.

³ Случай этой страны нами не рассматривается по причине ее выхода из ЕС.

⁴ Дания не имеет такого права в силу оговорок, сделанных в период присоединения этой страны к соглашению о создании ЕС (Маастрихтскому договору).

⁵ По состоянию на осень 2019 г. – 1 022 человека, все они находились до этого в Греции; см.: Pollak S. Ireland should accept extra 1,500 refugees a year, say NGOs. – *The Irish Times*. 13.09.2019. URL: <https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/ireland-should-accept-extra-1-500-refugees-a-year-say-ngos-1.4017556> (accessed 20.04.2020). С тех пор новых беженцев в рамках распределительных квот эти страны не принимали.

⁶ См.: European Commission – Press release: Relocation: Commission refers the Czech Republic, Hungary and Poland to the Court of Justice. – *An official website of the European Union*. 07.12.2017. URL: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5002_en.htm (accessed 20.04.2020).

⁷ EuGH: Ungarn, Polen und Tschechien haben gegen EU-Recht verstossen. – *Sueddeutsche Zeitung*. 02.04.2020. URL: <https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingskrise-eugh-urteil-ungarn-polen-tschechien-1.4865714?referrer=push> (accessed 20.04.2020).

Очевидно, что дело упирается не столько в различия по поводу трактовки смысла тех или иных правовых норм ЕС, сколько в принципиально *различное понимание существа происходящих событий*.

Официальные представители Еврокомиссии, а также лидеры Германии и Швеции, делают акцент на гуманитарном измерении проблемы. Центральный пункт публичной риторики чиновников ЕС и глав упомянутых государств — европейские ценности, существо которых заключается в неприкосновенности человеческой жизни, приоритете человеческого достоинства и т.д. Приверженность этим ценностям предполагает готовность их защищать, независимо от национальной, религиозной или иной принадлежности людей. Отсюда акцент на солидарности и взаимной ответственности⁸.

На этом фоне позиция Вышеградской четверки предстает не иначе как проявление национального эгоизма и националистической ограниченности. Правительства в Будапеште, Варшаве, Праге и Братиславе парируют эти обвинения отсылкой к “воле народа”. Их легитимность в качестве руководителей своих стран опирается на демократические выборы, а коль скоро подавляющее большинство электората настроено по отношению к иммиграции (и особенно по отношению к вынужденным мигрантам) негативно, их позиция по вопросу о беженцах есть не что иное, как выражение господствующих в обществе настроений. Заметим, что отсылка властей государств Вышеградской четверки к общественному мнению не всегда корректна. Во-первых, общество далеко неоднородно — среди граждан этих государств есть немало тех, кто не разделяет агрессивного антимиграционного настроения лидеров⁹. Во-вторых, состояние общественного мнения в значительной мере определяется тем, как ведут себя элиты, — с какими публичными заявлениями выступают лица, принимающие решения, какая тональность освещения миграционной тематики господствует в СМИ и т.д. В случае с Венгрией Виктора Орбана и Польшей Ярослава Качиньского нельзя исключить, что имело место намеренное педалирование темы угроз, связанных с иммиграцией, с целью усиления антимиграционных настроений в обществе.

Как бы то ни было, подчеркнем еще раз, что коллизия, развернувшаяся в Суде ЕС в связи со спором между Брюсселем и Вышеградской группой, имела, строго говоря, не правовую, а *политическую* природу.

ДИСПОЗИЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПОЛЕ ПО МИГРАЦИОННОМУ ВОПРОСУ

Выделим основных агентов действия, выступающих источником возникшего напряжения. На одном его полюсе находится “Брюссель” (Еврокомиссия и Европейский суд), на другом — “страны-диссиденты”. Самыми заметными среди “диссидентов” выступают четыре государства Вышеградской группы.

⁸ См.: Germany, Sweden Call for EU-wide Response to Refugee Crisis. — *Deutsche Welle*. 08.09.2015. URL: <https://www.dw.com/en/germany-sweden-call-for-eu-wide-response-to-refugee-crisis/a-18701366> (accessed 20.04.2020); Merkel: EU ‘Special Effort’ for Refugees Needed. — *Deutsche Welle*. 07.09.2015. URL: <https://www.dw.com/en/merkel-eu-special-effort-for-refugees-needed/a-18698808> (accessed 20.04.2020).

⁹ Так, в сентябре-октябре 2015 г., в разгар миграционного кризиса, когда руководство Венгрии выступало с крайне жесткой антимиграционной риторикой, множество гражданских активистов занималось помощью беженцам. В Польше католическая церковь обратилась к прихожанам с призывом проявить солидарность с беженцами, а именно: каждой общине предлагалось взять под свою опеку одну семью; в результате число беженцев, которое было бы размещено в стране, могло составить около 30 тыс. человек.

В интервью, которое венгерский премьер-министр В. Орбан дал немецкой газете *Welt am Sonntag*, он заявил, что настаивает “на праве народов на защиту самих себя”, тогда как Германия “имеет другую философию”¹⁰. В том же интервью В. Орбан сослался на высказывания бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, который подчеркивал, что различия в размерах между странами, входящими в ЕС, не должны приводить к подчинению или доминированию одних стран над другими. Тем самым глава венгерского правительства намекал на давление, с которым его страна столкнулась со стороны Берлина и Брюсселя. Похожим образом высказался и тогдашний премьер-министр Словакии Роберт Фицо¹¹.

В июне 2018 г. власти Венгрии приняли пакет изменений в национальное законодательство (известный как план “стоп-Сорос”). Принятые поправки они обосновывали необходимостью укрепления суверенитета страны и препятствования “переселению” мигрантов. (Примечательна лексика венгерских властей в отношении беженцев: они используют термин “переселение” вместо “перемещение”.) Упомянутый пакет законодательных изменений (включавший, впрочем, не только вопросы миграционной политики) вызвал острую критику Брюсселя. Руководство ЕС вменяло венгерской стороне “криминализацию поддержки лиц, ищущих убежища”, “ограничение индивидуальных свобод” и “незаконное ограничение права на убежище”. Брюссель видит в законодательных новеллах Будапешта нарушение ст. 20 и п. 1 ст. 21 ДФЕС, Хартии Европейского союза об основных правах и четырех директив, регулирующих вопросы предоставления убежища. Речь идет о Директиве 2013/32/ЕС об общих процедурах по предоставлению и отмене международной защиты; Директиве 2013/33/ЕС, устанавливающей стандарты для приема лиц, ходатайствующих о международной защите; Директиве 2011/95/ЕС по стандартам для квалификации граждан третьих стран или лиц без гражданства в качестве бенефициаров международной защиты, по единому статусу для беженцев или для лиц, имеющих право на дополнительную защиту, и по содержанию предоставляемой защиты, а также Директиве 2004/38/ЕС о праве граждан ЕС и членов их семей свободно передвигаться и проживать на территории государств-членов.

В своей аргументации Венгрия также ссылается на фактор национальной безопасности, напоминая, что данная сфера относится к исключительной компетенции государств — членов ЕС, и утверждая тем самым, что Европейская комиссия напрямую вмешивается в их внутренние дела.

Представители Чехии перекладывают ответственность на Грецию и Италию, обвиняя их в неадекватной реакции на действия Праги в рамках процедур, связанных с перемещением мигрантов, а также подчеркивают невозможность принятия мигрантов, у которых отсутствуют документы. Кроме того, Прага рассматривает весь механизм перемещения лиц, ищущих

¹⁰ Alexander R., Kálnoky B. Viktor Orbán: “I don’t like the politics of vengeance”. — *Welt*. 02.03.2019. URL: <https://www.welt.de/politik/ausland/article189692633/Viktor-Orban-I-don-t-like-the-politics-of-vengeance.html> (accessed 20.04.2020).

¹¹ Fico neuspel. Súd v Luxemburgu zamietol slovenskú žalobu na kvóty. Náš postoj sa nemení, odkazuje premiér. — *Hospodárske Noviny*. 06.09.2017. URL: <https://hnonline.sk/svet/1021769-fico-neuspel-sud-v-luxemburgu-zamietol-slovensku-zalobu-na-kvoty-nas-postoj-sa-nemeni-odkazuje-premier> (accessed 20.04.2020).

убежище, как единовременную программу и подчеркивает, что причины, по которым этот механизм был принят, уже перестали существовать¹².

Что касается Польши, то она формально поддержала введение распределительных квот (т.е. *не* голосовала против такой меры), однако настаивает на крайне незначительном числе мигрантов, которых готова принять. Официальная позиция польской стороны состоит в том, что Варшаве не удалось осуществить процедуры, связанные с проверкой идентификационной информации о лицах, ходатайствующих об убежище. Представители польского правительства озвучили цифру в 100 мигрантов, которых Польша была готова разместить на своей территории. Но так как получить достоверную информацию о потенциальных переселенцах “не представлялось возможным”, принятие этих мигрантов могло угрожать общественному порядку и безопасности страны. Кроме этого, по мнению официальной Варшавы, Европейская комиссия не смогла убедительно объяснить, почему только страны Вышеградской группы фигурируют в судебном разбирательстве в качестве ответчиков, ведь значительное число других стран ЕС также не в полном объеме исполнили свои обязательства в рамках механизма общеевропейских распределительных квот. Согласно имеющейся статистике, из 120 тыс. человек, которых предполагалось переселить из Италии и Греции в рамках механизма обязательных распределительных квот, переселены были лишь около 35 тыс. человек¹³. По мнению Варшавы, такой избирательный подход не соответствует принципу равных прав всех стран-участниц Европейского союза. Наконец, польская сторона указывала на значение временного фактора. Коль скоро реализация общеевропейского механизма распределительных квот была рассчитана на два года, срок действия соответствующих норм истек еще в 2017 г.

Но “вышеградцы” — далеко не единственная политическая сила, оппозиционно настроенная по отношению к политике официального Брюсселя. Примечательна позиция Балтийских государств. С одной стороны, Латвия, Литва и Эстония не выступали против решения о распределении беженцев в рамках квот. С другой стороны, свою готовность разместить соискателей убежища обставили целым рядом условий. Среди аргументов: неблагоприятная экономическая конъюнктура, а в случае Латвии и Эстонии также соображения культурной гомогенности, нарушенной в советский период, когда приехало значительное количество русскоязычных мигрантов, большинство из которых осталось в этих странах после восстановления ими независимости и многих из которых не удалось полностью “интегрировать”¹⁴. Президент Литвы Даля Грибаускайте в 2017 г. подчеркивала, что решение ее страны принять беженцев в рамках установленных распределительных квот было политическим¹⁵. Для литовских властей, равно как и для руководства двух других

¹² Řízení začíná. Soud EU řeší žalobu na ČR a další země kvůli migračním kvótám. — *Denik.cz*. 15.05.2019. URL: https://www.denik.cz/ze_sveta/rizeni-zacina-soud-eu-resi-zalobu-na-cr-a-dalsi-zeme-kvuli-migracnim-kvotam-20190515.html (accessed 20.04.2020).

¹³ Nielsen N. EU States Fell Short on Sharing Refugees, Say Auditors. — *EUobserver*. 14.11.2019. URL: <https://euobserver.com/migration/146610> (accessed 20.04.2020).

¹⁴ Ёлкина А. Беженцы в Латвии: Посторонним вход воспрещен? — *Deutsche Welle*. 26.08.2015. URL: <https://www.dw.com/ru/беженцы-в-латвии-посторонним-вход-воспрещен/a-18672319> (accessed 20.04.2020).

¹⁵ Президент Литвы: система квот беженцев не совсем эффективная. — *Литовский Курьер*. 15.12.2017. URL: <http://www.kurier.lt/prezident-litvy-sistema-kvot-bezhencev-ne-sovsem-effektivnaya/> (accessed 20.04.2020).

Балтийских государств, согласие с линией Брюсселя по вопросу о квотах представляется предпочтительным с точки зрения выгод и издержек. Последние же рассматриваются ими в контексте противостояния “российской угрозе”. Иными словами, в поддержке общеевропейских распределительных квот страны Балтии видят “меньшее зло”, ибо нахождение в оппозиции Брюсселю потенциально связано с большими рисками¹⁶. Впрочем, количество принятых балтийскими странами беженцев весьма скромно: в каждом случае оно не превышает 500 человек¹⁷.

Примерно посередине между “промиграционным” полюсом руководства ЕС и лидеров Германии и Швеции¹⁸ и “антимиграционным” полюсом Вышеградской группы находятся Австрия, Румыния, Болгария и Словения. Их официальные представители подчеркивают, что не считают проблему беженцев “своей” проблемой и всеми силами стремятся ограничить их размещение на своей территории.

Отдельного разговора заслуживает позиция Италии. Эта страна, наряду с Грецией (а также Испанией), по географическим причинам наиболее остро затронута проблемой беженцев. По разным оценкам, в период с 2014 по 2017 г. Италия приняла около 650 тыс. вынужденных мигрантов, значительная часть которых впоследствии перебралась в другие европейские страны¹⁹. Несмотря на снижение в 2018 г. количества мигрантов (примерно на 80% по сравнению с предыдущим годом), до вспышки пандемии коронавируса тема иммиграционного притока по Средиземному морю оставалась одной из самых обсуждаемых в итальянских общественных дискуссиях²⁰.

Инструментализация этой темы правыми силами стала причиной их победы на парламентских выборах 2018 г. По результатам выборов правительство было сформировано из представителей “Движения пяти звезд” и партии “Лига” (бывшая “Лига Севера”) ²¹. В соответствии со своими предвыборными обещаниями члены коалиционного правительства осенью 2018 г. приняли Декрет о гражданстве, безопасности и иммиграции (более известный как “Декрет Сальвини”). Данный документ предусматривал целый ряд жестких мер, нацеленных на ограничение миграции: отмену видов на жительство по гуманитарным основаниям (вместо них вводятся так называемые специальные

¹⁶ Ринкевич: Латвии аукнется нежелание проявить солидарность в решении проблемы беженцев. — *The Baltic Course*. 30.07.2015. URL: <http://www.baltic-course.com/rus/pravo/?doc=108818> (accessed 20.04.2020).

¹⁷ По состоянию на конец ноября 2019 г. Латвия разместила у себя 374 беженцев, Литва — 490, а Эстония — 213. См.: Лешкович Я., Кривко Д., Епифанова М. Беженцы в странах Балтии: в цифрах и фактах. — *Новая Газета — Балтия*. 21.11.2019. URL: <http://novayagazeta.ee/articles/28617/> (accessed 20.04.2020).

¹⁸ Разумеется, политические элиты этих стран достаточно неоднородны, и далеко не все их представители поддерживают либеральную миграционную политику. Достаточно вспомнить разногласия между Ангелой Меркель и бывшим главой ХСС (с 2018 г. министром иностранных дел ФРГ) Куртом Зеехофером, а также об оппозиции курсу в миграционной политике, проводимому шведским правительством, со стороны партии “Шведские демократы”.

¹⁹ Scherer S. Italy Wants EU Sea Missions to Take Rescued Migrants Elsewhere. — *Reuters*. 08.07.2018. URL: <https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-italy/italy-wants-eu-sea-missions-to-take-rescued-migrants-elsewhere-idUSKBN1JY0HX> (accessed 20.04.2020).

²⁰ Migrant Arrivals to Italy Down 80 Percent in 2018. — *InfoMigrants*. 17.01.2018. URL: <https://www.infomigrants.net/en/post/14564/migrant-arrivals-to-italy-down-80-percent-in-2018> (accessed 20.04.2020).

²¹ Как известно, оно продержалось у власти чуть более года (с 01.06.2018 по 05.09.2019).

разрешения, которые могут выдаваться лишь категориям лиц, определенным в документе); ужесточение процедур получения итальянского гражданства на основании натурализации либо брака; расширение списка преступлений, за совершение которых предусматривается отказ в получении статуса беженца, либо лишение такого статуса и последующая высылка из страны. Кроме того, в период пребывания “Лиги” в составе правительства итальянские иммиграционные службы многократно отказывали гуманитарным судам с беженцами на борту в праве входа в свои порты²²

Неудивительно, что подобные действия итальянских властей встретили поддержку среди представителей Вышеградской группы. Однако формирование политической коалиции по оси Рим — Варшава — Будапешт представляется нереалистичной опцией, хотя бы по той причине, что Италия выступает сторонницей тех самых распределительных квот, которые категорически отвергаются “вышеградцами”.

Надо, однако, заметить, что действия итальянских властей на поверку оказывались далеко не столь решительными, как то обещал М. Сальвини в период предвыборной агитации. В конфликтных ситуациях, периодически возникавших вследствие закрытия портов Италии для судов гуманитарных миссий, итальянское правительство предпочитало избегать конфронтации с руководством ЕС²³. Следующее правительство Италии, сформированное уже без участия “Лиги”, смягчило антииммиграционную риторику, продолжив отстаивать необходимость распределительных квот и подчеркивая ключевую роль Брюсселя в данном вопросе.

После заключения соглашения с Турцией в марте 2016 г.²⁴ наиболее болезненным вопросом европейской миграционной политики является вопрос о беженцах, прибывающих в Европу на лодках через Средиземное море. В июле 2019 г. президент Франции Макрон инициировал францужско-немецкий план по перемещению мигрантов, спасенных в водах Средиземного моря. По имеющейся информации, такой формат были готовы поддержать 14 стран²⁵. Помимо Германии и Франции, это Ирландия, Люксембург, Португалия, Финляндия, Хорватия и Литва (sic!), а также — что примечательно — еще *шесть неназванных государств*.

В конце сентября 2019 г. на Мальте состоялась встреча министров внутренних дел Германии, Италии, Мальты и Франции. Участники встречи подготовили ряд предложений, касающихся временной схемы перемещения мигрантов, спасенных в водах Средиземного моря. Однако вряд ли стоит

²² В результате эти суда перенаправлялись к берегам Испании, правительство которой открывало для них свои порты.

²³ Например, в июне 2019 г. у берегов Италии в течение двух с лишним недель стояло судно миссии *Sea Watch* с несколькими десятками спасенных беженцев на борту. Капитан судна гражданка Германии К. Ракете решила нарушить запрет и, протаранив катер береговой охраны, пришвартовалась в порту Лампедузы. Поначалу ее арестовали, и было официально заявлено, что ей грозит либо штраф в 1 млн евро, либо тюремное заключение сроком до 15 лет. Однако спустя три дня она была отпущена.

²⁴ Согласно этому соглашению, беженцы (прибывающие преимущественно из Сирии, а также Ирака и Афганистана) размещаются в лагерях временного содержания на территории Турции, откуда они вправе подать ходатайство об убежище или статусе политического беженца в одной из стран ЕС. В случае же незаконного пересечения границы с ЕС они подлежат депортации в Турцию.

²⁵ Kolb M. 14 States Agree on Distribution of the Refugees. — *Süddeutsche Zeitung*. 22.07.2019. URL: <https://www.sueddeutsche.de/politik/maas-seenotrettung-migration-1.4534786> (accessed 20.04.2020).

говорить о каком-либо консенсусе в рамках ЕС по дальнейшему развитию данной инициативы. По имеющейся информации, лишь 12 стран ЕС высказали готовность принимать спасенных на море мигрантов на индивидуальной основе, и то только после решения связанных с этим технических вопросов²⁶.

Позиция Еврокомиссии состоит в том, что Европейскому союзу необходимы постоянные механизмы, а не ситуативное реагирование, имеющее место в настоящее время. Не возражая против этого тезиса в принципе, руководство ряда стран ЕС сопровождает его существенными оговорками. Так, Австрия, Люксембург и Финляндия заявили о своей незаинтересованности в участии в механизме распределительных квот по беженцам. Нидерланды и Франция высказали готовность принимать лишь тех мигрантов, кто либо уже имеет статус беженца, либо способен предоставить солидные основания для предоставления убежища. Болгария, Греция и Кипр выразили обеспокоенность тем, что предложения, выработанные на мальтийской встрече, ограничиваются лишь осью Ливия — Мальта — Италия и не затрагивают Восточное Средиземноморье²⁷.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы попытались внести свой вклад в углубление и расширение академического понимания содержания противоречий в политических элитах ЕС вокруг проблемы вынужденной миграции, обострившихся после известных событий 2015 г.

Подробно разобрав правовые аргументы, приводимые в Суде ЕС спорящими сторонами — странами Вышеградской группы и Еврокомиссией, — мы пришли к выводу о политической природе этой — внешне юридической — коллизии. Истцы и ответчики не просто апеллируют к разным положениям правовых документов ЕС или по-разному интерпретируют одни и те же положения — они придерживаются диаметрально противоположных взглядов на содержание проблемы вынужденной миграции.

“Расклад сил” с точки зрения отношения к приему беженцев определяется противостоянием между либеральным и консервативным полюсами, первый из которых представлен условным Брюсселем (Еврокомиссия и Европейский суд), а также руководством Германии и Швеции, а второй — правительствами стран Вышеградской группы и Италии. Ряд государств обнаруживает тяготение к одному из этих полюсов: в частности, Франция и Испания — к первому, тогда как страны Балтии и Австрия — ко второму. Однако большинство государств — членов ЕС не придерживается сколько-нибудь определенной позиции по вопросу о беженцах, предпочитая балансировать между двумя принципами — приверженностью гуманистическим ценностям и общеевропейской солидарности, с одной стороны, и защитой национального суверенитета и безопасности — с другой. Это проявляется как в нечеткости публичной риторики их лидеров, так и в бесконечном откладывании и половинчатости принимаемых решений.

²⁶ Riegert B. EU Fails to Cement Agreement on Migrants Rescued at Sea. — *Deutsche Welle*. 08.10.2019. URL: <https://www.dw.com/en/eu-fails-to-cement-agreement-on-migrants-rescued-at-sea/a-50743383> (accessed 20.04.2020).

²⁷ Ibidem.

Анализируя реальные действия национальных правительств, мы выяснили, что соображения политической целесообразности обычно перевешивают продекларированные принципы. Так, все три балтийских государства, несмотря на явное тяготение к консервативному полюсу, не стали образовывать коалицию с Вышеградской группой: их правительства поддержали, пусть и с оговорками, решение Еврокомиссии о распределительных квотах по беженцам. Резоном такого решения было взвешивание выгод и издержек: в Вильнюсе, Риге и Таллине решили, что вступить в конфронтацию с Брюсселем более рискованно, чем уступить. В то же время коалиционное правительство в Италии, министерство внутренних дел в котором возглавлял крайне правый политик, оказалось в принимаемых им мерах по ограничению притока беженцев гораздо менее радикальным, чем этого следовало ожидать до прихода правой коалиции к власти.

Иными словами, все крупные игроки на европейском политическом поле обнаруживают достаточно высокую готовность к компромиссам, что позволяет предположить, что под напором противоречий по миграционному вопросу распад Евросоюзу не грозит.

DOI: [10.17976/jpps/2020.04.10](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.10)

THE EU'S MIGRATION DILEMMA: LEGAL AND POLITICAL DIMENSIONS

V.S. Malakhov, K. Kascian

¹*The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. Moscow, Russia*

²*Institute of Political Science of the Slovak Academy of Sciences. Bratislava, Slovakia*

MALAKHOV, Vladimir Sergeevich, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Professor, Director of the Center for Theoretical and Applied Political Studies, Institute for Social Sciences, RANEP, email: vmalachov@yandex.ru; KASCIAN, Kiryl, Dr. Iur., visiting research fellow, Institute of Political Science of the Slovak Academy of Sciences. Email: zibens@gmail.com

Malakhov V.S., Kascian K. The EU's Migration Dilemma: Legal and Political Dimensions. — Polis. Political Studies. 2020. No. 4. P. 139–151. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.10>

Received: 19.10.2019. Accepted: 12.02.2020

Abstract. The article seeks to develop a nuanced understanding of the contradictory approaches EU political elites have taken regarding the problem of forced migration, which intensified as a result of the 2015 migration crisis. To do so, the authors analyze the content of judicial disputes between the European Commission and the Visegrád Group countries concerning refugee distribution quotas, identify the main disagreements among the major European political actors which developed as a result of their different approaches to forced migration, and demonstrate the current state of affairs in this sphere from the decision-making perspective. The authors provide an in-depth analysis of the legal arguments presented by these parties before the European Court of Justice, and come to a conclusion about the political nature of this conflict. Plaintiffs and defendants do not merely interpret the *acquis communautaire* differently — they have diametrically opposed views on the contents of the problem of forced migration. As for attitudes towards how refugees are received, the “power landscape” within the EU is determined by the confrontation between the liberal and conservative centers; the former is represented somewhat arbitrarily by Brussels (being home to the European Commission and the European Court of Justice), as well as by the leadership of Germany and Sweden, whereas the latter is composed of the governments of the Visegrád Group and Italy. Several states tend to lean toward one of these two sides. However, most EU member states do not hold an extreme position on the issue of refugees, preferring instead to fluctuate between these two principles. On the one hand, they are committed to humanistic values and pan-European solidarity; on the other hand, protecting national sovereignty and security is important to them. This contradiction manifests itself both in the vagueness of their leaders’ public rhetoric and in the endless delay and half-hearted character of their decisions. Having analyzed the behavior and policies of these national governments over the past four

years, the authors found that all major players within the EU are quite willing to compromise. This suggests that there is no threat of the EU collapsing under the pressure of the contradictions caused by migration.

Keywords: forced migration, European Union, migration crisis, refugees, Visegrád Group, European Court of Justice, EU Migration Policy

References

Barlai M., Fähnrich B., Griessler C., Rhomberg M. 2017. *The Migrant Crisis: European Perspectives and National Discourses*. Vienna: LIT Verlag. 386 p.

Crawley H., Duveill F., Jones K., McMahon S., Sigona N. 2018. *Unravelling Europe's 'Migration Crisis': Journeys over Land and Sea*. Bristol: Policy Press. 200 p.

Crawley H., Skleparis D. 2018. Refugees, Migrants, Neither, Both: Categorical Fetishism and the Politics of Bounding in Europe's 'Migration Crisis'. — *Journal of Ethnic and Migration Studies*. Vol. 44. No. 1. P. 48–64. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1348224>

Dines N., Montagna N., Vacchelli E. 2018. Beyond Crisis Talk: Interrogating Migration and Crises in Europe. — *Sociology*. Vol. 52. No. 3. P. 439–447. <https://doi.org/10.1177/0038038518767372>

Georgiou M., Zaborowski R. 2017. *Media Coverage of the "Refugee Crisis": A cross-European Perspective*. Strasbourg: Council of Europe. 24 p.

Klatt M. 2018. The So-Called 2015 Migration Crisis and Eurocentrism in Border-Regions: Facing Re-Bordering Trends in the Danish-German Borderlands. — *Geopolitics*. P. 1–20. <https://doi.org/10.1080/14650045.2018.1557149>

Pallister-Wilkins P. 2016. Interrogating the Mediterranean "Migration Crisis". — *Mediterranean Politics*. Vol. 21. No. 2. P. 311–315. <https://doi.org/10.1080/13629395.2016.1145826>

Scipioni M. 2018. Failing Forward in EU Migration Policy? EU Integration After the 2015 Asylum and Migration Crisis. — *Journal of European Public Policy*. Vol. 25. No. 9. P. 1357–1375. <https://doi.org/10.1080/13501763.2017.1325920>

Bolshova N.N. 2016. The Rise of Anti-Islamic Protests in Europe under the Refugee Crisis (Case of "Pegida" Movement in Germany). — *Polis. Political Studies*. No. 3. P. 123–137. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2016.03.10>

Goffe N. 2017. Italy in the Mirror of Migration Issues. — *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya*. Vol. 61. No. 9. P. 77–88. (In Russ.) <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2017-61-9-77-88>

Grishin I. 2017. Sweden's Immigration Worries. — *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya*. Vol. 61. No. 9. P. 66–76. (In Russ.) <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2017-61-9-66-76>

Klupt M. 2017. Immigration and Integration: Allies, Companions, or Antagonists? — *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya*. Vol. 61. No. 7. P. 73–82. (In Russ.) <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2017-61-7-73-82>

Malakhov V. 2018. Germany after "Migration Crisis": Economy, Politics and Society. — *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya*. Vol. 62. No. 5. P. 41–51. (In Russ.) <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2018-62-5-41-51>

Malakhov V., Simon M. 2017. Predislovie. — *Migratsionnyi krizis: mezhdunarodnoe sotrudnichestvo i natsionalnye strategii. Materialy mezhdunarodnoy konferentsii* [Migration Crisis: International Cooperation and National Strategies: Materials of the International Conference]. Moscow: Delo. P. 7–20. (In Russ.)

Shaparov A. 2017. Formation of a New Immigration Regime in Europe. — *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya*. Vol. 61. No. 7. P. 83–92. (In Russ.) <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2017-61-7-83-92>

Sheinis V. 2017. New Challenges for the European Union Political Systems. — *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya*. Vol. 61. No. 2. P. 23–32. (In Russ.) <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2017-61-2-23-32>

Tsapenko I.P., Monusova G.A. 2017. Integration Capacity of Ethno-Cultural Diversity in European Societies. — *Polis. Political Studies*. No. 4. P. 90–105. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.04.07>

Vedeneeva V. 2019. Integration of Refugees in Europe: Employment as a Priority. — *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya*. Vol. 63. No. 1. P. 103–111. (In Russ.) <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2019-63-1-103-111>

Литература на русском языке

Большова Н.Н. 2016. "Пегиды" как пример массовых протестных движений, возникших в Европе под влиянием миграционного кризиса. — *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 123–137. <https://doi.org/10.17976/jpps/2016.03.10>

Веденева В. 2019. Интеграция беженцев в Европе: приоритет — трудоустройство. — *Мировая экономика и международные отношения*. Т. 63. № 1. С. 103–111. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2019-63-1-103-111>

Гоффе Н. 2017. Италия в зеркале миграционных проблем. — *Мировая экономика и международные отношения*. Т. 61. № 9. С. 77-88. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2017-61-9-77-88>

Гришин И. 2017. Иммиграционные заботы Швеции. — *Мировая экономика и международные отношения*. Т. 61. № 9. С. 66-76. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2017-61-9-66-76>

Клупт М. 2017. Иммиграция и интеграция: союзники, попутчики или антагонисты? — *Мировая экономика и международные отношения*. Т. 61. № 7. С. 73-82. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2017-61-7-73-82>

Малахов В. 2018. Германия после миграционного кризиса: политика, экономика, общество. — *Мировая экономика и международные отношения*. № 5. Т. 62. С. 41-51. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2018-62-5-41-51>

Малахов В., Симон М. 2017. Предисловие. — *Миграционный кризис: международное сотрудничество и национальные стратегии. Материалы международной конференции*. М: Дело. С. 7-20.

Шапаров А. 2017. Формирование нового иммиграционного режима в Европе. — *Мировая экономика и международные отношения*. Т. 61. № 7. С. 83-92. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2017-61-7-83-92>

Шейнис В. 2017. Политические системы Европейского союза перед новыми вызовами. — *Мировая экономика и международные отношения*. Т. 61. № 2. С. 23-32. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2017-61-2-23-32>

Цапенко И.П., Монусова Г.А. 2017. Интеграционный потенциал этнокультурного разнообразия в европейских социумах. — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 90-105. <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.04.07>

DOI: [10.17976/jpps/2020.04.11](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.11)

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА ЛИДЕРОВ БЛОКА ХДС/ХСС

М.А. Чигашева, М.А. Елизарьева, Т.С. Ларина

ЧИГАШЕВА Марина Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой немецкого языка МГИМО МИД России, Москва, email: mcchigasheva@mail.ru; **ЕЛИЗАРЬЕВА Мария Алексеевна**, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры немецкого языка МГИМО МИД России, Москва, email: marycreek@mail.ru; **ЛАРИНА Татьяна Сергеевна**, преподаватель кафедры немецкого языка МГИМО МИД России, Москва, email: tanusik9209@gmail.com

Чигашева М.А., Елизарьева М.А., Ларина Т.С. Национально-культурная специфика политического языка лидеров блока ХДС/ХСС. — Полис. Политические исследования. 2020. № 4. С. 152–165. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.11>

Статья подготовлена в рамках гранта X Конкурса молодых ученых МГИМО № КМУ-10/09.

Статья поступила в редакцию: 11.02.2020. Принята к публикации: 25.04.2020

152

Аннотация. В статье рассматривается национально-культурная специфика немецкого политического языка на примере выступлений лидеров ХДС (А. Крамп-Карренбауер) и ХСС (М. Зёдер) в рамках “политической пепельной среды” 2019 г. Данный термин (*Politischer Aschermittwoch*) обозначает уникальное мероприятие внутриполитической жизни Германии, его специфический характер отражается в немецком языке. Выступления политиков на таком мероприятии насыщены языковыми средствами с экспрессивной оценкой и национально-культурной спецификой. Основная задача исследования заключалась в выявлении культурно-маркированных единиц, их систематизации и в определении с их помощью ключевых тем выступлений данных политиков. Исследователи использовали метод сплошной выборки, семантический анализ, контекстуальный анализ, статистический анализ, полевой метод и метод опроса. Отобранные единицы были разделены на реалии (антропонимы, топонимы, эргонимы, официонимы, документонимы, гемеронимы, геортонимы и деонимы) и фоновую лексику. Специфику немецкого языка составляют включенные в данный перечень гендерно-маркированные единицы. Статистический анализ позволил определить тематическую направленность выступлений и показал, что в речах А. Крамп-Карренбауер и М. Зёдера прослеживаются как общие, так и различные тенденции. Оба лидера уделили значительное внимание внутригерманской проблематике, при этом М. Зёдер сделал акцент на региональных проблемах Баварии. Тематами одинаковой степени важности стали актуальные вызовы (цифровизация, энергетический поворот, экология), трансформация партийного ландшафта и внутриправительственные проблемы, однако только М. Зёдер обратил внимание на проблему интеграции беженцев, а А. Крамп-Карренбауер подробнее остановилась на социальной и гендерной политике. Одинаково критично лидеры ХДС и ХСС оценили курс своих политических оппонентов. В сфере внешней политики различий не наблюдается: оба политика выдвинули на первый план выборы в Европарламент и проблемы безопасности. Авторы пришли к выводу, что комплексное изучение единиц, обладающих национально-культурным компонентом, позволяет раскрывать особенности политического дискурса и выявлять имплицитно выраженную информацию.

Ключевые слова: политическая пепельная среда, Германия, Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз, политический дискурс, культурно-маркированная лексика, фоновая лексика.

Изучение политического дискурса находится в центре внимания различных гуманитарных наук — политологии, истории, психологии, социологии, философии и, конечно, лингвистики. Это подтверждает уникальный характер данного явления, его исследование носит комплексный характер и проводится на стыке указанных дисциплин. Наиболее перспективным направлением анализа политической коммуникации представляется политическая лингвистика, позволяющая проследить, как внеязыковая действительность отражается в языке, и какое влияние она оказывает на сам язык.

Главным объектом исследования политической лингвистики является политический язык, вопрос о существовании которого пока не решен однозначно. Мы придерживаемся точки зрения А.П. Чудинова, определяющего политический язык как “вариант национального языка, ориентированный на сферу политики” [Чудинов 2020: 32]. Сама сфера политики чрезвычайно многообразна, постоянно вовлекает и охватывает другие сферы жизни общества, что свидетельствует о динамичности и тесной взаимосвязи политического языка с внеязыковой реальностью. По этой причине исследования политического языка, с одной стороны, очень привлекательны, с другой — довольно сложны.

В данной статье представлены результаты лингвистического анализа выступлений лидеров консервативных партий ХДС (Аннегрет Крамп-Карренбауер) и ХСС (Маркуса Зёдера) во время политических собраний в рамках так называемой *политической пепельной среды* 2019 г., размещенных в открытом доступе на платформе *YouTube*. Выступления председателя ХДС А. Крамп-Карренбауер и премьер-министра Баварии и председателя ХСС М. Зёдера были прослушаны и облечены в форму печатного текста. Общий объем звучания составил 152 минуты, объем скриптов — 1 авторский лист.

В ходе исследования использовались следующие методы: метод сплошной выборки, семантический анализ, контекстуальный анализ, статистический анализ, полевой метод и метод опроса. Основная задача исследования заключалась в выявлении культурно-маркированных единиц, их систематизации и в определении с их помощью ключевых тем выступлений данных политиков.

153

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Политический дискурс представляет собой разновидность прагматического дискурса. В нем, по утверждению Ю. Хабермаса, актуализируются определенные коммуникативные стратегии [Habermas 1991]. По мнению многих ученых, основной функцией политического дискурса является борьба за власть (агитация, захват, удержание, стабилизация) [Seidel 1985; Schudson 1997]. Российский ученый В.И. Карасик относит политический дискурс к институциональному дискурсу, предполагающему общение в рамках заданных статусно-ролевых отношений [Карасик 2002]. Примером такого дискурса и стали публичные выступления политических деятелей. Выступающий, во-первых, представляет не самого себя лично (хотя и в этом случае политическая коммуникация носит отчасти личностный характер), а тот или иной социальный институт — конкретную политическую партию. Во-вторых, обладает определенным социальным статусом (является официально избранным лидером) и, в-третьих, выстраивает свою речь в соответствии с установленными ситуационно-коммуникативными нормами (выступает на своеобразном политическом мероприятии). К другим типовым свойствам политической коммуникации А.П. Чудинов относит ритуальность и информативность,

эзотеричность и общедоступность, редукционизм и полноту информации, стандартность и экспрессивность, диалогичность и монологичность, явную и скрытую оценочность, агрессивность и толерантность [Чудинов 2020: 52-71].

Все указанные выше свойства в полной мере характеризуют публичные выступления А. Крамп-Карренбауер и М. Зёдера: они представляют собой монолог, носят ритуальный характер, отличаются информативностью, общедоступностью (с элементами эзотеричности), редукционизмом, явной оценочностью. Особо следует отметить элементы агрессивности и высокую степень экспрессивности, что характерно для выступлений в рамках “политической пепельной среды”. При определении жанровой принадлежности мы ориентировались на классификации Е.И. Шейгал и А.П. Чудинова и относим анализируемые речи в равной степени к ритуальному и агональному жанрам [Шейгал 2000; Чудинов 2020]. В первом случае они символизируют традиции консервативных политиков и связаны с официальным событием национального или регионального уровня, во втором — представляют собой публичные выступления. Эта соотнесенность и определяет выбранные политиками языковые средства. При лингвистическом анализе необходимо также учитывать региональные и культурные особенности, информационное поле того региона, который представляет политик или в котором он выступает.

POLITISCHER ASCHERMITTWOCH КАК ОСОБЫЙ ЖАНР ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Для объективного анализа речей политиков блока ХДС/ХСС необходимо рассмотреть и внеязыковые факторы, а именно особенности такого жанра политической коммуникации как выступление на довольно специфическом мероприятии. *Politischer Aschermittwoch* носит политический, даже ритуальный, характер. В российском политическом дискурсе, очевидно, это понятие известно в буквальном переводе как “политическая пепельная среда”. Для среднестатистического носителя русского языка, однако, это словосочетание не несет значительной информационной нагрузки и вызывает, скорее всего, вопросы — при чем тут *среда* и почему она *пепельная*? С точки зрения лингвистики этот термин представляет собой культурно-маркированную единицу, для интерпретации значения которой необходимы фоновые знания.

Это мероприятие связано, с одной стороны, с национальными традициями карнавала (*Karneval*), с другой — с политическими традициями консервативных политиков. Карнавал, аналог русской масленицы, проводится накануне Великого поста не только в Германии, но и в других странах немецкоязычного региона. Но только в ФРГ этот праздник приобрел такой широкий масштаб и политическую окраску. Отметим, что празднования карнавала, в отличие от русской масленицы, начинаются в четверг (*Fastweibernacht*) и заканчиваются в среду (*Aschermittwoch*). Именно в среду в католических соборах проходит служба, во время которой священник пеплом рисует на лбу прихожан символический крест (*Aschekreuz*, отсюда компонент *Asche*) как напоминание о бренности жизни, произнося: *Bedenke Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst* — “Помни, что ты прах, и в прах возвратишься” (Быт. 3:19). По другой, языческой, традиции, принято сжигать соломенную куклу (которая превращается в пепел — *Asche*), а также поедать рыбу и употреблять (иногда чрезмерно) алкогольные напитки, хотя в этот день у католиков начинается пост. И именно в этот день различные партии проводят собрания,

расставляют политические акценты, критикуют оппонентов, сопровождая это обильным употреблением национального немецкого напитка — пива.

В 2019 г. “политическая пепельная среда” проходила под знаком юбилея. Ровно сто лет назад Баварский крестьянский союз (*der bayerische Bauernbund*) впервые провел такое собрание в местечке Фильсхофен (*Vilshofen*). В феврале 1953 г. баварские политики возродили эту традицию. Политически знаковым мероприятием “пепельная среда” стала благодаря лидеру ХСС Францу Йозефу Штраусу и его ораторскому искусству. Примеру ХСС в дальнейшем последовали и другие партии. Немецкие СМИ называют это мероприятие “политическим спектаклем” (*politisches Spektakel*) или “политической вечеринкой” (*die Politparty*). С 1975 г. ХСС проводит свои собрания в баварском городе Пассау, ХДС — с 1995 г. в городе Деммин в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Речи лидеров партий на таких собраниях отличаются от публичных выступлений на других партийно-политических мероприятиях и тем более от дебатов в бундестаге. Во-первых, политики выступают в кругу однопартийцев-единомышленников и могут быть уверены в их поддержке. Учитывая внешние факторы — обстановку, праздничное настроение публики, употребление пива — можно не сомневаться и в позитивном восприятии речи. Во-вторых, такие выступления характеризуются обращенностью к аудитории, что создает впечатление личного общения лидера с каждым из присутствующих и объединяет всех в стремлении быть лучшей партией. Согласимся с А.П. Чудиновым, что все это “производит впечатление особой доверительности, искренности, позволяет сказать больше, чем это позволяет официальная обстановка” [Чудинов 2020: 56]. В-третьих, такие речи насыщены языковыми средствами с экспрессивной оценкой и национально-культурной спецификой.

155

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ФРГ В НАЧАЛЕ 2019 г.

В самой Германии социально-политическая ситуация в начале 2019 г. только на первый взгляд казалась относительно стабильной: накопилась масса проблем, требующих неотложного решения, как во внешней, так и во внутренней политике. Анализ немецких и российских СМИ этого периода позволяет выделить следующие внешнеполитические проблемы: сложные отношения ФРГ с трансатлантическим партнером (США), неясный сценарий Брекзита и будущее Евросоюза после выхода из него Великобритании, украинский и сирийский кризисы. Но, пожалуй, самыми насущными для немецких политиков были внутренние проблемы: миграционный кризис и внутрипартийный кризис блока ХДС/ХСС. Подтверждением тому служит, например, конфликт между канцлером А. Меркель и министром внутренних дел Х. Зеехофером на почве Закона об иммиграции (*Einwanderungsgesetz*). Глава центра германских исследований Института Европы РАН В.Б. Белов отмечает, что несмотря на достижение компромисса, в том числе и на уровне ЕС, политический капитал А. Меркель и Х. Зеехофера на фоне конфликта “несколько обесценился”. Канцлера критиковали “за излишнюю мягкость..., министра — за упертость/твердолобость и использование своего положения в качестве федерального министра в интересах предвыборной кампании в Баварии” [Белов 2018: 53]. Все это еще больше осложнило непростое положение дел внутри блока ХДС/ХСС и привело к смене лидеров обеих партий. В конце 2018 г. и А. Меркель, и Х. Зеехофер заявили о намерении оставить ведущие партийные посты.

По мнению Е.П. Тимошенковой, решение А. Меркель уйти с поста главы ХДС было связано главным образом с кризисом внутри “большой коалиции” [Тимошенкова 2018: 66]. Эксперт также напоминает о специфической ситуации, сложившейся после выборов в бундестаг 2017 г., когда обе “народные партии” (блок ХДС/ХСС и СДПГ) были обречены на продолжение сотрудничества вопреки своим намерениям. Можно предположить, что таким образом они попытались предотвратить еще более серьезный политический кризис. С другой стороны, вероятно, А. Меркель сделала выводы из неутешительных для своей партии результатов на выборах 2017 г. и сочла, что “пришло время готовить себе замену” [Юдина 2019: 61]. Слишком сильно в ее адрес звучала критика за “внутрипартийную поляризацию, утрату консервативного профиля, потерю традиционных избирателей” [там же: 62]. Утрата доверия избирателей к обеим традиционным партиям (ХДС/ХСС, СДПГ) и к самой “большой коалиции”, несомненно, вызывает обеспокоенность в политических кругах Германии, поскольку может привести к потере власти и инструмента воздействия на электорат. Такого сценария не желает себе ни одна партия.

Для консерваторов “пепельная среда” прошлого года была важна еще по одной причине. Именно в этом году обе партии были представлены новыми лидерами — А. Крамп-Карренбауер (возглавляет ХДС с 7 декабря 2018 г.) и М. Зёдером (стал председателем ХСС 19 января 2019 г.). По этой причине к их выступлениям 6 марта 2019 г. было приковано особое внимание. Немецкой общественности важно было понять, какие приоритеты видят новые руководители для своих партий и что это может принести Германии. Краткий анализ некоторых статей в различных источниках (*Tagesschau*, *ZDF*, *NDR*, *Zeit*, *Spiegel*, *Deutsche Welle*, *Bild*, *T-Online*) позволяет выявить основные, по мнению журналистов, темы, затронутые консервативными политиками. Все без исключения издания упоминали ситуацию с шуткой А. Крамп-Карренбауер по поводу третьего пола (*ein drittes Geschlecht*), которую она допустила в своей речи (*die Büttinnenrede*) на одном из мероприятий карнавала, на заседании так называемого суда дураков (*Stockacher Narrengericht*) за неделю до выступления в Деммине, не подозревая, что это вызовет такой резонанс. Судя по сообщениям СМИ, ее оправдательные разъяснения по этому поводу стали главной темой выступления уже на собрании ХДС. Гендерную проблематику подчеркнули все журналисты.

Помимо этого политики выделили такие темы: выборы в Европарламент (оба лидера), Европа и ЕС (оба лидера), АдГ (оба лидера), партнер по правящей коалиции СДПГ (А. Крамп-Карренбауер), НАТО и бундесвер (А. Крамп-Карренбауер), отношения с США (М. Зёдер), отношения к партии “Союз 90/Зеленые” (М. Зёдер), миграция и интеграция (М. Зёдер), Исламское государство¹ (М. Зёдер), пенсионная реформа и базовая пенсия (А. Крамп-Карренбауер). Почти во всех источниках содержится также ссылка на упоминание лидерами ХДС и ХСС костюмов индейцев (*Indianerkostüme, als Indianer*). Это связано с инициативой одного детского учреждения в Гамбурге запретить детям использовать во время карнавала эти костюмы как признак дискриминации данной группы населения, что и вызвало критику со стороны глав обеих партий.

Вряд ли можно считать позицию СМИ в отражении данного события объективной прежде всего потому, что журналисты призваны не только информировать широкие массы населения о происходящих событиях и раз-

¹ Организация, запрещенная в Германии и во многих других государствах, включая Российскую Федерацию.

яснять их, но и влиять на формирование общественного мнения. Иногда информация преподносится слишком эмоционально, даже театрализованно, на первый план выдвигаются незначительные темы. Подтверждением тому служит первоочередное упоминание во всех СМИ выше названной шутки А. Крамп-Карренбауер, на основании чего может сложиться впечатление, что тема равенства полов доминировала в ее выступлении.

Некоторые исследователи среди всего многообразия функций медийного дискурса особо выделяют четыре, располагая их в порядке значимости: информирующую, корректирующую, манипулятивную и суггестивную [Буряковская 2014]. Информированная функция должна иметь приоритетное значение. Однако в условиях массы предложений и огромной конкуренции СМИ оказываются в непростой ситуации и в борьбе за аудиторию преподносят любое событие образно, иногда чересчур экспрессивно. В этом случае считаем возможным говорить о смещении приоритетов в современном политическом медиадискурсе, когда важнее становятся манипулятивная и суггестивная функции, а не информативная и коррелирующая, что, к сожалению, не означает объективного отражения в языке внеязыковой действительности.

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ПОЛИТИКОВ БЛОКА ХДС/ХСС

Лингвистический анализ речей А. Крамп-Карренбауер и М. Зёдера позволяет определить ключевые для обеих консервативных партий темы путем выделения культурно-маркированных единиц. По определению В.Н. Телия, культурно-маркированная лексика (КМЛ) представляет собой “совокупность языковых единиц, обозначающих понятия, своеобразные для определенного народа, характеризующие его историю, культуру, передающие образ мышления представителей этой культуры” [цит. по: Романова 2016]. В языкознании принято относить к КМЛ три группы лексических единиц (ЛЕ): реалии, фоновую лексику и фразеологические единицы [Меркиш 2020].

Наименее однозначно в лингвистике рассматривается вопрос о классификации реалий. Г.Д. Томахин на примере английского языка подразделяет реалии на географические, общественно-политические, этнографические, ономастические, реалии системы образования, религии и культуры [Томахин 1984]. Схожую классификацию по тематическому принципу предлагают С. Влахов и С. Флорин. Они различают реалии по предметному делению (географические, этнографические, общественно-политические), по местному делению (в плоскости одного языка и в плоскости пары языков), по временному делению (современные и исторические) [Влахов, Флорин 2009]. Упомянутые классификации распространяются на весь словарный состав языка и не учитывают профессиональной сферы функционирования ЛЕ. Кроме того, на практике возникает много вопросов: по какому признаку относить реалию к тому или иному классу? Является ли, например, ЛЕ *Deutschland* географической реалией или ономастическим наименованием?

Анализ текстов выступлений политических деятелей позволяет распределить реалии на основе семантического принципа. Поскольку они соотносятся с конкретным денотатом и именуют его, целесообразной, на наш взгляд, может быть ономастическая классификация. Иными словами, реалии выражены онимами и ЛЕ, идентифицирующая сема которых также обозначает денотат. Проиллюстрируем это на примере топонима *Deutschland*. Основное значение

данной ЛЕ заключается в обозначении географической и административной территории — государства *Германия*. Ту же самую сему имеют ЛЕ *die Bundesrepublik Deutschland, der (deutsche) Boden, der Bund* и *die Republik*. К периферии поля можно отнести и ЛЕ *das Land*, так как контекстуальный анализ позволяет выявить ту же самую идентифицирующую сему. Таким образом, центром данного топонимического микрополя являются ЛЕ *Deutschland* и *die Bundesrepublik Deutschland* (собственно топонимы), к периферии относятся ЛЕ *der (deutsche) Boden, die Republik, der Bund, das Land* (обладающие идентифицирующей топонимической семой, которая может быть выявлена только при помощи контекстуального анализа). На этом основании все реалии политического дискурса предлагаем разделить на *антропонимы* (имена и фамилии людей), *топонимы* (географические наименования), *эргонимы* (обозначение деловых объединений), *официонимы* (наименования должностей), *документонимы* (наименование документов, актов, законов), *гемеронимы* (наименование СМИ), *геортонимы* (наименование праздников, политических, исторических и военных событий), *деонимы* (ЛЕ, образование от имен собственных). К КМЛ относим также фоновую лексику и — с учетом специфики немецкого языка — гендерно-маркированные единицы. Фразеологические единства в данном анализе не учитывались.

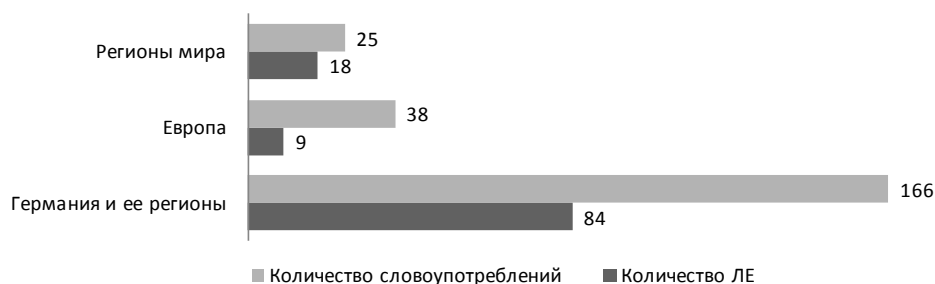
Вернемся к вопросу об определении тематической соотнесенности речей А. Крамп-Карренбуаер и М. Зёдера на основе анализа КМЛ.

Как показывают данные рис. 1, в центре внимания А. Крамп-Карренбуаер находилась Германия. Прямо или косвенно политик упоминала ее в своей речи (продолжительностью 81 мин.) 166 раз. Проблемы Европы и выборы в Европарламент также были главной темой, но не занимали доминирующего положения (38 словоупотреблений). Остальным регионам мира (*die Vereinigten Staaten, China, Russland*) уделялось значительно меньшее внимание. Отметим, что Россию лидер ХДС упомянула только один раз, в свете общеевропейской политики безопасности и в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия (*Atomwaffensperrvertrag*).

Проблемы внешней политики были затронуты лидером ХДС незначительно: выявлено семь ЛЕ с количеством словоупотреблений восемь. Их можно разделить на три тематические области: выборы в Европарламент (*Europawahl, Manfred Weber*), европейскую безопасность (*Schutz der Außengrenzen*), военное сотрудничество (*die Nato, die Bundeswehr*).

Рисунок 1 (Figure 1)

Лингвистический анализ речи А. Крамп-Карренбуаер. Геополитика
Linguistic Analysis of A. Kramp-Karrenbauer's Discourse. Geopolitics

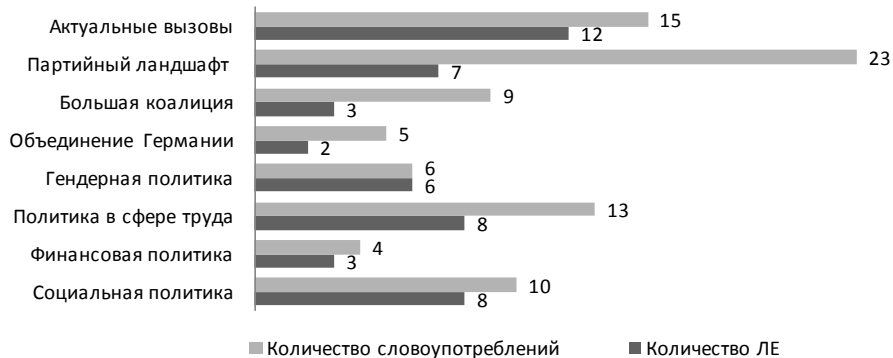


Примечание: здесь и на последующих рисунках отражены данные, собранные и обработанные авторами статьи.

Основное внимание лидер ХДС уделила проблемам внутренней политики ФРГ. Рис. 2 показывает, что чаще всего она обращалась к актуальным вызовам: экология (*Klimaschutz, Umweltpolitik, Diesel*), цифровизация (*Mobilitätswende, Google, Amazon, FunklochApp*), энергетический поворот (*Energiewende*), развитие науки (*Wissenschaft und Forschung*), проблемы бундесвера (*Bundeswehr, Soldatinnen und Soldaten*).

Рисунок 2 (Figure 2)

Лингвистический анализ речи А. Крамп-Карренбауер. Внутренняя политика
Linguistic Analysis of A. Kramp-Karrenbauer's Discourse. Domestic Politics



Трансформация партийного ландшафта также не осталась без внимания лидера ХДС: 23 раза она упоминала различные партии, критикуя партнера по коалиции (СДПГ), партии “Союз 90/Зеленые” и АдГ. Важное место в ее речи занимают задачи социальной и финансовой политики: проблемы детских учреждений и школы (*Kindergarten, Kitaplatz, Kinderbetreuung, DigitalPakt Schule*), государственный бюджет (*Bundeshaushalt, die schwarze Null*), реформы в сфере труда (*Grundsicherung, Grundrente, Hartz IV, Teilzeit*). Как и А. Крамп-Карренбауер, М. Зёдер (см. рис. 3А) сделал основной акцент на Германии, упомянув ее за 71 мин. выступления прямо или косвенно 362 раза. Но, в отличие от соратницы по консервативному блоку, он очень часто обращался и к своему региону, Баварии (16 ЛЕ употребил 76 раз). Европейская проблематика занимала в его речи меньше места, чем региональная политика, несмотря на актуальность внеязыкового фактора (выборы в Европарламент). Говоря о других регионах мира, М. Зёдер упоминал только США, причем в положительном контексте, и ни словом не обмолвился о России.

В секторе внешней политики (см. рис. 3Б) М. Зёдер говорил о выборах в Европарламент, и даже чаще, чем А. Крамп-Карренбауер. Он 14 раз упомянул имя главного кандидата от ХСС Манфреда Вебера на пост главы Еврокомиссии и один раз употребил в этой связи деоним, образованный от имени этого политика (*eine Manfred-Wahl*). Он сделал также больший акцент на проблемах общей безопасности, о чем свидетельствуют такие ЛЕ, как *der IS, die IS-Kämpfer, der IS-Armee, die Nato, der Auslandseinsatz, Schutz der Außengrenzen*.

Семантический и контекстуальный анализ позволили выявить главные темы выступления М. Зёдера в секторе внутренней политики (см. рис. 4).

Бесспорное преимущество за внутрипартийной тематикой. При этом лидер ХСС употребляет много ЛЕ с национально-культурным компонентом (*die Unionsministerien, die Nazis, der Linksruck, schwarz-grün, die Nationalisten, die Konservativen, die Rechtsextremisten, die NoGroKo-Genörgel*).

Рисунок 3 (Figure 3)

Лингвистический анализ речи М. Зёдера. Геополитика (А); Внешняя политика (Б)
Linguistic Analysis of M. Söder's Discourse. Geopolitics (A); Foreign Policy (B)

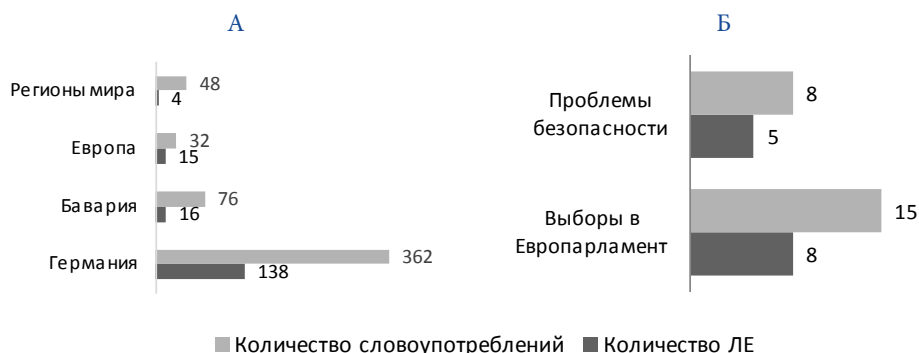
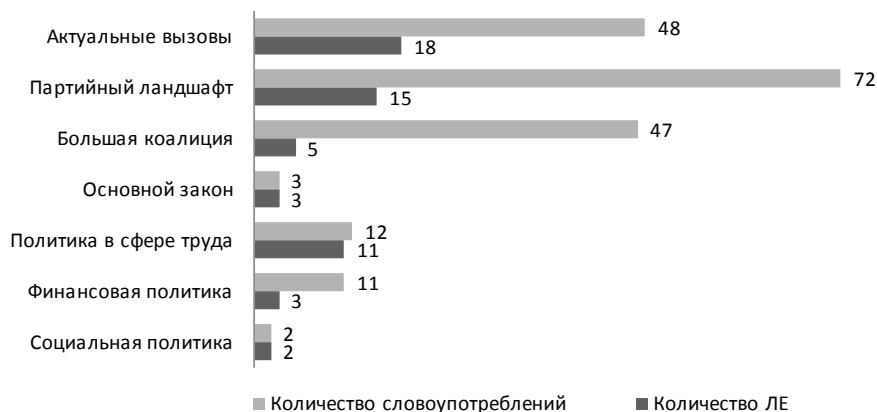


Рисунок 4 (Figure 4)

Лингвистический анализ речи М. Зёдера. Внутренняя политика
Linguistic Analysis of M. Söder's Discourse. Domestic Politics



Важное место он отводит актуальным вызовам, рассматривая их, в том числе, с критической точки зрения: экология (*der Diesel, der Artenschutz, der Naturschutz, die Fahrverbote*), энергетический поворот (*der Kohleausstieg, erneuerbare Energien, Energiewende 4.0*), миграция (*die Zuwanderung, die Integration, Liebe am Nächsten, sichere Herkunftsstaaten, das Konzept "Humanität und Ordnung, Hilfe und Härte"*). Комментируя финансовую политику, М. Зёдер довольно критично оценивает налоговую реформу (*die Grundsteuer, die Grundsteuerreform, eine verkorkste Monsterreform, das Konzept Murks*). Политику в сфере труда и трудовых отношений отражают такие ЛЕ, как *Mindestlohn auf 12, die Grundrente, Harzt IV*,

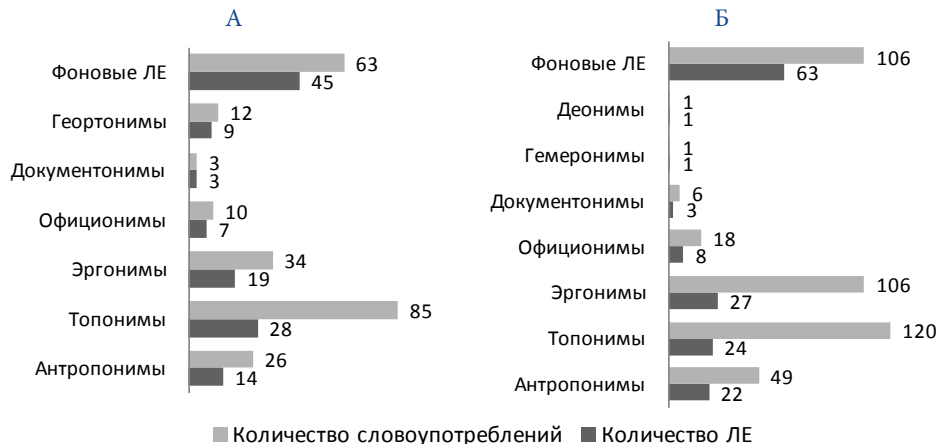
der Soli. При этом он выделяет Баварию как образец для подражания (*Bavarian Dream of Life*) и призывает отстаивать права сельскохозяйственного сектора, не увлекаясь решением экологических задач (*Rettet die Bienen, aber rettet auch die Bauern*). Интересно отметить, что М. Зёдер затрагивает и тему защиты конституции (*der Verfassungsschutz*), называя Германию страной ценностей и конституции (*Boden der Werte und der Verfassung*). Социальной политике уделено в его речи незначительное внимание, хотя он также упоминает инициативу правительства по техническому оснащению школ (*die DigitalPakt Schule*).

Выступления лидеров консервативных партий отличаются также по степени экспрессивности, что наглядно видно на рис. 5.

Среди выразительных языковых средств частотными у обоих политиков являются фоновые единицы и топонимы. При этом речь М. Зёдера более экспрессивна (что вообще характерно для баварских политиков), он употребляет больше ЛЕ с национально-культурным компонентом (*der Dexit, Liebe zum Nächsten, Soli zweiter Klasse, das KULAP*), в том числе единицы региональной тематики (*der Klub, die dritte Startbahn*). В выступлении А. Крамп-Карренбауер встречается много ЛЕ, связанных с тематикой карнавала (*das Dreigestirn, die Büttendre, die Kleinkunst*), употребляемых в переносном значении, а также известная фраза *Das schaffen wir nur gemeinsam* (“Мы справимся!”) как подтверждение приверженности внутрипартийному курсу А. Меркель.

Рисунок 5 (Figure 5)

Экспрессивные языковые средства в речи А. Крамп-Карренбауер (А) и М. Зёдера (Б)
Expressive Language Means in A. Kramp-Karrenbauer's (A) and M. Söder's (B) Discourse



Отдельно следует упомянуть феномен политкорректности. Известно, что в последние годы, и не только в Германии, этой теме уделяется значительное внимание, что отражается и в языке. Остановимся на гендерно-маркированных формах. Для немецкого языка этот феномен не является абсолютно новым, употребительным всегда было корректное обращение *meine Damen und Herren*. В настоящее время в публичных выступлениях оно встречается редко. Анализ речей обоих политиков позволяет обнаружить гендерно-асимметричные (*Freunde*) и гендерно-симметричные формы (*Freundinnen und Freunde, Soldatinnen und Soldaten, Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, Mann und*

Frau, Emanzen und Machos). Стоит отметить, что в речи М. Зёдера таких форм меньше (3), чем в речи А. Крамп-Карренбауер (7). При этом М. Зёдер, в отличие от А. Крамп-Карренбауер, дважды употребляет словосочетание *meine Damen und Herren*. Наибольшее удивление вызывает следующий факт: в своей речи А. Крамп-Карренбауер 20 раз обратилась к собравшимся политкорректной формой *liebe Freundinnen und Freunde*, что соответствует современным тенденциям. В речи же М. Зёдера эта форма не встречается ни разу, зато 92 (!) раза он употребил гендерно-асимметричное обращение *liebe Freunde*. Данный факт может свидетельствовать либо о своеобразном словосочетании-паразите в речи этого политика, либо о пренебрежении им нормами политкорректности. Последнее утверждение носит дискуссионный характер, но имеет право на существование, учитывая явно выраженный консерватизм ХСС.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Любая профессиональная сфера имеет свою специфику. Политический дискурс немецкого языка, и особенно такой жанр как публичное выступление, отличается употреблением профессиональных терминов из сферы политики и государственного устройства, гендерно-маркированной лексики и единиц с национально-культурным компонентом. Такие языковые средства придают речи экспрессивность и выразительность, а также во многом способствуют формированию образа политика. В жанре публичного выступления политик может сам регулировать этот процесс с помощью языковых средств. Именно такую возможность предоставляет лидерам партий “политическая пепельная среда”, наименование которой в немецком языке представляет собой безэквивалентную единицу национально-культурной семантики.

Подводя итоги, отметим, что анализ публичных выступлений политиков с позиций политической лингвистики может существенно расширять и дополнять сферу знания о политической коммуникации. В речах А. Крамп-Карренбауер и М. Зёдера на собраниях своих партий прослеживаются как общие, так и различные тенденции. В сфере геополитики оба лидера уделили значительное внимание внутригерманской проблематике, при этом М. Зёдер сделал акцент и на региональных проблемах Баварии. В сфере внешней политики различий также не наблюдается: оба политика ожидаемо выдвинули на первый план выборы в Европарламент и проблемы безопасности. Подчеркнем, что тема безопасности всегда занимает ключевые позиции в политическом дискурсе Германии. Н.В. Павлов, например, считает, что в этом вопросе Германия всегда последовательно придерживается положений “Белой книги” (*Weißbuch*) и коалиционного договора [Павлов 2019: 23]. Интересно отметить, что ни один из политиков не рассматривал актуальные мировые кризисы (Украина), только А. Крамп-Карренбауер в своей речи однажды упомянула Сирию. Возможно, это связано с тем, что ни одна партия не может предложить конкретных мер по их урегулированию, и Германия не добилась успехов на международной арене, демонстрируя стратегии лавирования и умалчивания.

Что касается внутренней политики Германии, то общими темами одинаковой степени важности стали актуальные вызовы (цифровизация, энергетический поворот, экология), трансформация партийного ландшафта и внутриправительственные проблемы. При этом только М. Зёдер обратил внимание на проблему миграции и интеграции беженцев, а А. Крамп-Карренбауер

подробнее остановилась на социальной и гендерной политике. Одинаково критично оба политика оценили курс партий “Союз 90/Зеленые” и АдГ. Тема объединения Германии четче и позитивнее прозвучала в речи А. Крамп-Карренбауер, в то время как М. Зёдер, не упоминая об этом напрямую, выступил с критикой налога на солидарность (*der Soli*) и требовал его отмены. Политика правительства в сфере труда нашла поддержку со стороны лидера ХДС и довольно жесткую критику со стороны лидера ХСС. Отметим, что в финансовых вопросах А. Крамп-Карренбауер проявила себя как национальный лидер, упомянув государственный бюджет без долгов (*die schwarze Null, ein ausgeglichener Haushalt*). Значительное внимание политиков ФРГ к материальным проблемам (реформы, выплаты пособий, проблемы с детскими учреждениями и т.п.) является спецификой немецкого общественно-политического дискурса. Как отмечает А.В. Федина, это связано с приоритетными предпочтениями электората, и выбранный курс именно по этим вопросам отличает одну партию от другой [Федина 2018: 77]. С точки зрения лингвистики, это еще раз подтверждает то, что “политический дискурс непосредственно связан с ценностными ориентациями в обществе” [Шапошкин 2012: 59].

Позволим себе предположить, что тематический перечень, основанный на лингвистическом анализе, более полно отражает содержание речей лидеров консервативных партий, чем это представлено в СМИ. Подтверждает это и результат мини-опроса, в котором приняли участие профессиональные переводчики и дипломаты (всего пять участников). Внимательно изучив скрипты выступлений, они определили их основную тематику: актуальные национальные вызовы (цифровизация, экология, энергетический поворот); критика СДПГ и АдГ; проблемы внутри “большой коалиции”; социальная политика; гендерная политика; политика безопасности; отношения с США; проблемы мигрантов; региональная проблематика (Бавария).

DOI: [10.17976/jpps/2020.04.11](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.11)

THE NATIONAL-CULTURAL PROFILE OF THE POLITICAL LANGUAGE OF CDU/CSU LEADERS

M.A. Chigasheva¹, M.A. Elizar'eva¹, T.S. Larina¹

¹Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University). Moscow, Russia

CHIGASHEVA, Marina Anatol'evna, Cand. Sci. (Linguistics), Associated Professor, Head of German Language Department, MGIMO University, email: mchigasheva@mail.ru; ELIZAR'EVA, Mariya Alekseevna, Cand. Sci. (Linguistics), Senior Lecturer, German Language Department, MGIMO University, email: marycreek@mail.ru; LARINA, Tat'yana Sergeevna, Lecturer, German Language Department, MGIMO University, email: tanusik9209@gmail.com

Chigasheva M.A., Elizar'eva M.A., Larina T.S. The National-Cultural Profile of the Political Language of CDU/CSU Leaders. – Polis. Political Studies. 2020. No. 4. P. 152-165. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.11>

Acknowledgements. The article was prepared in the framework of the MGIMO young scientists competition grant No. KMU-10/09.

Received: 11.02.2020. Accepted: 25.04.2020

Abstract. The study of political discourse characteristics specific to national cultures is becoming one of the most popular fields of academic and practice-oriented research across political science, history, psychology, sociology, political discourse philosophy and, of course, linguistics. The article studies the specific national and cultural characteristics of German political discourse, focusing on the public speeches of CDU and CSU chairpersons (A. Kramp-Karrenbauer and M. Söder respectively) during the

Political Ash Wednesday meetings in 2019. “Political Ash Wednesday” (*politischer Aschermittwoch*) is a traditional event in German politics, at which reacting to recent political events and verbally attacking one’s political opponents are quite typical. Speeches held during Political Ash Wednesdays are usually relatively expressive and are marked with cultural specificity. The research aims to find out and classify culture-specific lexical items and define the key topics of the speeches according to these speakers. The authors used the following methods: semantic analysis, contextual analysis, statistical analysis, semantic field analysis, and survey techniques. By using these methods to approach vocabulary through semantics and context, speakers’ lexical specifics could be chosen, which were then divided into culturally specific categories, “background items” which require cultural knowledge, and gender-specific items. Statistical analysis showed that Kramp-Karrenbauer and Söder mostly brought up similar topics in their speeches, but with notable differences: both speakers focused on domestic politics, but Söder also touched upon local Bavarian issues. Both speakers spoke about challenges including digitalization, energy transition, ecology, the transformation of the German political landscape, and internal governmental problems. Still, only Söder paid attention to the problem of integration of refugees, whereas only Kramp-Karrenbauer spoke on gender and social politics. Both chairpersons criticized their political opponents. There is not much difference in these speeches regarding foreign policy: both politicians referred to the European Parliamentary election and security issues. The authors conclude that comprehensive study of culture-specific lexis in an extralinguistic context could help reveal specific features of political discourse.

Keywords: political Ash Wednesday, Germany, Christian Democratic Union of Germany, Christian Social Union in Bavaria, political discourse, culture-specific lexis, background items.

References

- Habermas J. 1991. *Erläuterungen zur Diskursethik*. 2. Aufl. Frankfurt a. Main: Suhrkamp Verl.
- Schudson M. 1997. *Sending a Political Message. Lessons from the American 1790s*. — *Media, Culture and Society*. Vol. 19. No. 3. P. 311–330. <https://doi.org/10.1177/016344397019003002>
- Seidel G. 1985. *Political Discourse Analysis*. London: Academic Press. Vol. 4.
- Belov V.B. 2018. The Internal and External Aspects of the Migration Crisis in Germany. — *Scientific and Analytical Bulletin of the IE RAS*. No. 4. P. 49–55. (In Russ.) <https://doi.org/10.15211/vestnikieran420184955>
- Burjakovskaja V.A. 2014. *Kommunikativnye harakteristiki massovoj kul'tury v medijnom diskurse (na materiale russkogo i anglijskogo jazykov): monografija* [Communicative Characteristics of Mass Culture in Media Discourse (based on Russian and English languages)]. Volgograd: Peremena. 228 p. (In Russ.)
- Chudinov A.P. 2020. *Politicheskaja lingvistika* [Political Linguistics]. Moscow: FLINTA. 256 p. (In Russ.)
- Fedina A.V. 2018. Testing with Values: The Refugee Problem and Political Prospects of the “Alternative for Germany”. — *RUDN Journal of Political Science*. Vol. 20. No. 1. P. 76–88. (In Russ.)
- Judina T.V. 2019. The Process of “Political Center” Search: New Profiles of the German Parties and the Struggle for the Concept. — *Actual problems of Europe*. No. 4. P. 55–78. (In Russ.) <https://doi.org/10.31249/ape/2019.04.04>
- Karasik V.I. 2002. *Jazykovoj krug: lichnost', koncepty, diskurs* [Language Circle: Person, Concepts, Discourse]. Volgograd: Peremena. 476 p. (In Russ.)
- Merkish E.E. 2020. *Kul'turnyj komponent znachenija leksicheskikh edinic v prepodavanii inostrannogo jazyka* [The Cultural Component of the Meaning of Lexical Units in the Teaching of a Foreign Language]. Moscow: MGIMO-University. 218 p. (In Russ.)
- Pavlov N.V. 2019. Germany after Merkel (Whether to Wait for Changes in the Foreign Policy of Germany?). — *Polis. Political Studies*. No. 6. P. 22–35. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.03>
- Romanova E.A. 2016. Functions of Culturally-Marked Lexis in German Printed Mass Media. — *Nauchnyj dialog*. Vol. 12 (No. 60). P. 160–169. (In Russ.)
- Shaposhkin D.V. 2012. *Politicheskij diskurs: kognitivnyj aspekt: monografija*. [Political Discourse: Cognitive Aspect]: monograph. Tyumen: Tyumen State University. 260 p. (In Russ.)
- Shejgal E.I. 2000. *Semiotika politicheskogo diskursa* [Semiotics of Political Discourse]. Ph.D. thesis. Volgograd. 440 p. (In Russ.)
- Timoshenkova E.P. 2018. Why Merkel Refused the Post of Chairman of the CDU Party. — *Scientific and Analytical Bulletin of the IE RAS*. No. 6. P. 65–70. (In Russ.) <https://doi.org/10.15211/vestnikieran620189>
- Tomahin G.D. 1984. *Teoreticheskie osnovy lingvostranovedenija (na materiale leksicheskikh amerikanizmov anglijskogo jazyka)* [Theoretical Foundations of Linguistic and Regional Studies (Based on the Material of the Lexical Americanisms of the English Language)]. Ph.D. thesis. Moscow. 486 p. (In Russ.)

Vlahov S., Florin S. 2009. *Neperevodimoe v perevode* [Untranslatable in Translation]. Moscow: R. Valent Publishing House. 360 p. (In Russ.)

Литература на русском языке

- Белов В.Б. 2018. Внутри- и внешнеполитические аспекты миграционного кризиса в Германии. — *Научно-аналитический вестник ИЕ РАН*. № 4. С. 49-55. <https://doi.org/10.15211/vestnikieran420184955>
- Буряковская В.А. 2014. *Коммуникативные характеристики массовой культуры в медийном дискурсе (на материале русского и английского языков)*. Волгоград: Перемена. 228 с.
- Влахов С., Флорин С. 2009. *Непереводимое в переводе*. М.: Р. Валент. 360 с.
- Карасик В.И. 2002. *Языковой круг: личность, концепты, дискурс*. Волгоград: Перемена. 476 с.
- Меркиш Е.Е. 2020. *Культурный компонент значения лексических единиц в преподавании иностранного языка*. М.: МГИМО-Университет. 218 с.
- Павлов Н.В. 2019. Германия после Меркель (ждать ли изменений во внешней политике ФРГ?). — *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 22-35. <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.06.03>
- Романова Е.А. 2016. *Функции культурно-маркированной лексики в немецких печатных СМИ*. — *Научный диалог*. Вып. 12 (№ 60). С. 160-169.
- Тимошенкова Е.П. 2018. Почему А. Меркель отказалась от поста председателя партии ХДС. — *Научно-аналитический вестник ИЕ РАН*. № 6. С. 65-70. <https://doi.org/10.15211/vestnikieran620189>
- Томахин Г.Д. 1984. *Теоретические основы лингвострановедения (на материале лексических американизмов английского языка)*. Дисс. на соиск. уч. ст. док. филол. н. М. 486 с.
- Федина А.В. 2018. Испытание ценностями: проблемы беженцев и политические перспективы “Альтернативы для Германии”. — *Вестник РУДН. Серия: Политология*. Т. 20. № 1. С. 76-88.
- Чудинов А.П. 2020. *Политическая лингвистика*. М.: ФЛИНТА. 256 с.
- Шапошкин Д.В. 2012. *Политический дискурс: когнитивный аспект*. Тюмень: Издательство Тюменского гос. ун-та. 260 с.
- Шейгал Е.И. 2000. *Семиотика политического дискурса*. Дисс. на соиск. уч. ст. док. филол. н. Волгоград. 440 с.
- Юдина Т.В. 2019. В поисках политического центра: новое профилирование германских партий и борьба за понятия. — *Актуальные проблемы Европы*. № 4. С. 55-78. <https://doi.org/10.31249/ape/2019.04.04>

DOI: 10.17976/jpps/2020.04.12

ИДЕАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР ВОСПРИЯТИЯ РЕАЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА

Е.Б. Шестопад, Н.Н. Рогач

ШЕСТОПАЛ Елена Борисовна, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой социологии и психологии политики факультета политологии, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, email: shestop0505@rambler.ru; **РОГАЧ Николай Николаевич**, аспирант кафедры социологии и психологии политики факультета политологии, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, email: nickolayrogach@gmail.com

Шестопад Е.Б., Рогач Н.Н. Идеальные представления как фактор восприятия реального политического лидера. — Полис. Политические исследования. 2020. № 4. С. 166–180. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.12>

Статья поступила в редакцию: 04.03.2020. Принята к публикации: 30.04.2020

Аннотация. Статья посвящена идеальным представлениям российских граждан о президенте и их воздействию на восприятие реального лидера. До сих пор предпринимались лишь единичные попытки разработки данной темы в рамках отдельных опросов, политико-психологический анализ проводится впервые. В теоретической части статьи проанализированы идеальные представления в контексте различных политологических, психологических и социологических концепций. Избранный авторами подход базируется на теории политического восприятия. Статья построена на результатах двух эмпирических исследований, проведенных авторами осенью 2019 г. В первом изучался образ идеального президента в массовом сознании россиян, во втором — образ действующего президента России В.В. Путина. В эмпирической части статьи эти два типа образов описываются и сравниваются между собой по трем шкалам: привлекательности, силы и активности. Результаты исследования позволили выявить личностные и функционально-ролевые характеристики образа идеального президента, показать формы взаимодействия между идеальными и реальными образами, установить укорененность образа идеального президента в глубинных слоях российской политической культуры.

Ключевые слова: политическое восприятие, идеальные представления, массовое сознание, политическая культура, образ идеального президента, образ В.В. Путина.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Изучая образы действующих российских политиков и власти без малого три десятилетия [Власть и лидеры... 2019], мы обнаружили, что сдвиги в восприятии лидеров далеко не всегда обусловлены значимыми событиями или конкретными решениями. Есть куда более глубинные причины, обусловленные отечественной политической культурой: устойчивыми представлениями, ценностями, идеалами и архетипами, многие из которых не осознаются гражданами. Среди них особое место занимают *идеальные представления о лидерах*, с которыми граждане сопоставляют действующих политиков, делая свой электоральный выбор. Именно они и стали объектом нашего анализа в данной статье. Нас интересовал вопрос о том, в какой мере эти идеальные представления влияют на восприятие реального президента российскими гражданами? Отсюда вытекает и задача данного исследования: выявить набор культурных эталонов в образах идеального президента.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отправным пунктом в построении нашей модели исследования выступили политологические теории: теория лидерства и теория политической культуры. Среди подходов к лидерству наше внимание привлек нормативный подход, анализирующий “лидера, каким он должен быть” [The Psychology of Leadership... 2005]. В этой концепции, идущей еще от идей Платона и Аристотеля, используется термин *benevolent leader*, или *good leader*, т.е. “хороший”, “великодушный лидер”, который должен стремиться к справедливости и честно служить государству. Однако в жизни встречаются не только лидеры с высокими моральными стандартами, но и подобные описанному Шекспиром королю Ричарду III, бессмысленно жестокому и не думающему о своих подданных, ставшему символом “дурного, злого лидера” (*malevolent leader*). И в том, и в другом случае лидер оценивается по моральным параметрам и в логике служения общественному благу, а не по формальным критериям управленческой эффективности или легитимности. Этот подход, в отличие от широко распространенных теории “черт” [Stogdill 1948; Tannenbaum, Schmidt 1973; Harter 2008] или “ситуативной теории” [Hersey, Blanchard 1969, 1974; Vroom, Yetton 1973; Graeff 1983], трактует лидерство в нормативных категориях, указывая на наличие в обществе определенных эталонов лидера со знаком плюс и со знаком минус. Таким образом, в идеальном представлении о первом лице страны имеется два набора характеристик: должные и неприемлемые, которые мы для краткости обозначим как “идеал” и его “антипод”. Обе эти стороны образа имеют значение для понимания ожиданий в его адрес со стороны общества. Для анализа идеальных представлений о российском президенте эта трактовка лидерства является для нас ключевой.

167

В классических теориях политической культуры [Almond, Verba 1963] среди всех типов политической культуры один тип — гражданская культура — рассматривался как наиболее желательный, тогда как остальные по рангу стояли ниже. Более поздние исследования политической культуры декларировали отказ от ценностно окрашенных трактовок и использовали подход, получивший название “*value free*”.

Так, в проекте, посвященном всемирному исследованию ценностей (WVS), Р. Инглхарт и К. Вельцель выделили два типа политической культуры на основе двух шкал: “традиционные” ценности “выживания” и “рационально-секулярную” систему ценностей “самовыражения” [Инглхарт, Вельцель 2011]. Этим двум наборам ценностей соответствуют два принципиально отличных типа ментальных структур, которые определяют эффективность процессов модернизации. Первый из них основан на более традиционном — чувственном и иррациональном типе менталитета, тогда как второй — на более рациональном, “современном” и “прогрессивном” типе.

Как видим, Инглхарту также не удалось полностью отойти от ценностно окрашенного подхода, поскольку рационально-секулярная система ценностей трактуется как заведомо более предпочтительная, чем традиционная система, что вызывает немало вопросов. Для нашего исследования важно то, что работы Инглхарта и его коллег проливают свет на эталон, которому должны соответствовать идеальные лидеры в разных культурах.

Авторы проекта “The GLOBE research project” [House et al. 2004; Culture and Leadership... 2013], выделили и описали культурно и ценностно специ-

фические модели применительно к лидерским практикам в 62 странах мира. Они соединили исследование ценностей, политической культуры и лидерства и предложили оценку влияния культурных, ценностных отличий на практику лидерства. Примечательно, что исследователи в этом проекте обратились к моделям не политического лидерства, а лидерства в бизнесе, организационного лидерства. Но общекультурные факторы работают и для лидеров в политике [Handbook of Leadership... 2010; Hartley, Hinksman 2003]. Опираясь на указанные выше политологические концепции лидерства и политической культуры, мы задались вопросом: влияет ли представление об идеальном лидере на восприятие обществом реальных политических лидеров?

Вторым важным теоретическим источником стали *психологические и социологические работы*, посвященные анализу механизмов формирования социальных и политических представлений. Хотя современные авторы достаточно критично относятся к термину “архетип”, при всей его метафоричности он улавливает феномен глубинных, общих для данного общества представлений о правителе. Мы понимаем его как устойчивый набор неосознаваемых образов, общих для представителей данной культуры. Наряду с архетипом в психологической литературе используется и термин “социальное представление”, трактуемый как “промежуточная стадия между понятием и восприятием...” [Лейенс, Дарден 2001: 140–141]. Примечательно и то, что представления могут не всегда артикулироваться, но, при этом, они могут передаваться из поколения в поколения, постепенно становясь частью культуры [Markova 2003]. Это положение согласуется с нашей гипотезой о не до конца осознаваемом характере образов идеальных лидеров и об их укорененности в политической культуре страны.

Термин “архетип” в традиции, идущей от К. Юнга, трактуется как неосознаваемые и коллективно разделяемые представления в обществе. Так, А.А. Мельникова и Л.Я. Круглянская исследовали место и роль архетипов в культуре американского и российского обществ. Они пришли к выводу о существовании смысловой связки “нормативы лидерского поведения — архетипы лидера — глубинные основания культуры”, которая обосновывает существование и в российской культуре специфических прообразов политических лидеров, формирующих общественное сознание [Мельникова, Круглянская 2013]. При этом глубинные архетипы, свойственные отечественной политической культуре, естественны для россиян, а их восприятие часто не осознается [Иванова 2017]. К данному направлению исследований примыкают и работы, посвященные национальному менталитету, в частности, серия работ Н.М. Ракитянского [Ракитянский 2016, 2017].

Третий подход связан с *политико-психологической теорией политического восприятия*. Исследования образов действующих президентов давно уже стали в ней магистральной темой [Kinder, Fiske 1986]. В наиболее авторитетном оксфордском издании по политической психологии Р. Херманн посвятил целый раздел проблематике политического восприятия, образам лидеров. Вслед за М. Коттэм [Cottam 1994] он обратил внимание на культурный контекст восприятия лидеров в разных странах [The Oxford Handbook... 2013: 342]. Между тем по идеальным прототипам лидеров имеются лишь единичные работы [Trent et al. 2017; Bazaluk, Blazhevich 2016; Чернецкая 2016]. В России одними из первых к этой теме обратились эксперты Агентства стратегических

коммуникаций “Никколо М”, в частности, Е.В. Егорова-Гантман [Абашкина и др. 1993], которые исследовали место и роль идеальных прототипов лидеров в формировании их образов.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Мы исходим из того, что механизм восприятия действующего (реального) лидера не просто отражает реального политика, но и сравнивает его с неким эталоном.

Любое представление о лидере вообще и о президенте, в частности, состоит из двух дополняющих друг друга наборов характеристик: каким лидер должен быть (идеал) и каким он быть не должен (его противоположность, т.е. антипод).

В *психологической структуре* образа идеального лидера мы выделяем:

- рациональный и бессознательный уровни,
- шкалы привлекательности, силы и активности,
- визуальные и вербальные компоненты,
- когнитивные, эмоциональные, поведенческие компоненты (подробное описание методологии структурирования см. [Власть и лидеры... 2019: гл. 1]).

Для выявления и описания образов реальных лидеров в сознании граждан, показала себя эффективной разработанная нами ранее система факторов, выступающих в качестве независимых переменных, под влиянием которых граждане воспринимают лидеров (образ президента рассматривается как зависимая переменная). Мы предположили, что такая факторная модель может быть релевантна задаче анализа и идеальных представлений о президенте.

169

Все факторы мы разделили на пять групп. В первую вошли характеристики *объекта восприятия* — самих лидеров, а также политического контекста, на фоне которого происходит восприятие. Вторая группа факторов носит *темпоральный* характер. Образ зависит от момента его фиксации исследователем и от того, к какому периоду политической истории страны относится объект восприятия. Третья группа факторов связана с *пространственным* измерением. Пространственная специфика восприятия¹ — важный фактор, который мы по возможности пытались учитывать. Четвертая группа факторов характеризует *воспринимающий субъект*. Это социально-демографические (пол, возраст, образование) и психологические параметры (настроения, мотивы, потребности, ценности, установки, представления и т.п.), определяющие индивидуальные и групповые различия между воспринимающими власть и лидеров. Пятая группа включает *коммуникативные* факторы. Новые формы коммуникации дают не только новые возможности моментального информирования аудитории, но и существенно виртуализируют политику. Схема факторной модели приведена на рис. 1.

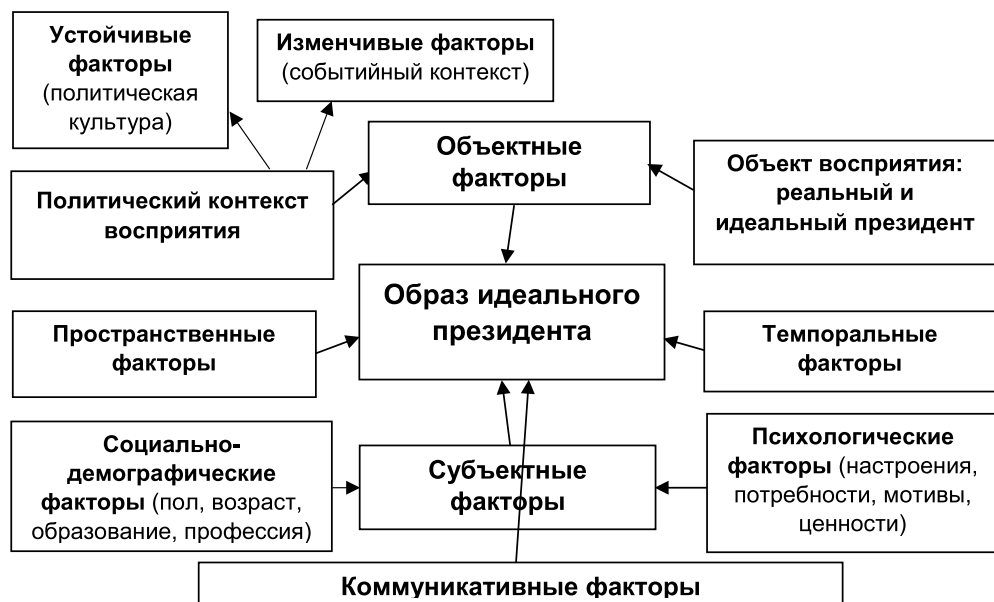
Данная факторная модель может использоваться как в полном объеме, так и при анализе отдельных факторов в рамках поставленных целей. В задачи этого исследования не входила детальная проработка влияния отдельных факторов, так как само исследование носило поисковый характер. Изучая

¹ В данном исследовании мы не ставили специально задачу выявить региональные отличия в образах идеального президента. Но для учета пространственного фактора были взяты несколько регионов, чтобы установить наличие или отсутствие таких отличий.

влияние идеального образа на восприятие реального президента, мы предположили, что его идеальный прототип окажет на это восприятие свое воздействие. В свою очередь и образ идеального президента будет испытывать влияние со стороны реального президента В.В. Путина, черты которого часть респондентов включает в свои представления об идеальном президенте.

Рисунок 1 (Figure 1)

**Факторная модель исследования образа реального и идеального президентов
в сознании граждан**
*The Factor Model of studying the Image of Real and Ideal Presidents
in the mass mentality*



Выявляя психологические механизмы функционирования идеального образа в сознании граждан, мы предположили, что он близок к неосознаваемым, глубинным ментальным структурам, уходящим своими корнями в политическую культуру конкретной страны. Мы также предположили, что содержательное наполнение идеальных представлений о президенте в российском массовом сознании пополняется как традиционными смысловыми и ценностными элементами российской политической культуры, так и более новыми, элементами рационально-секулярных политических и идеологических представлений, интегрированными этой культурой в XX-XXI вв. Мы предположили, что между традиционной политической культурой и более современными рационально-секулярными заимствованиями, вошедшими в политическую культуру новой России в 1990-е годы, может быть обнаружен разрыв, который будет трансформировать идеальные представления о президенте.

Мы предполагаем, что в силу особенностей российской политической культуры личностные характеристики в образе идеального президента будут относительно больше выражены по сравнению с функциональными (ролевы-

ми) запросами, а значит оценки человеческих качеств идеального президента для наших респондентов будут более значимыми, чем чисто профессиональные черты. Образ идеального российского президента, как мы предполагаем, будет похож, скорее, на традиционного “отца нации”, нежели на современного “эффективного менеджера”.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Для решения поставленных задач в ноябре 2019 г. мы параллельно провели два отдельных исследования: образа действующего президента В.В. Путина и идеальных представлений граждан о российском президенте. Полученные данные мы сравнили между собой.

Исследования имели преимущественно качественный характер и не были репрезентативны для страны в целом. Однако выборка была сбалансирована по параметрам пола, возраста и образования, как это принято в качественных исследованиях [Мельникова и др. 2014]. Гайды фокусированных интервью двух исследований различались, как и объекты исследований, но за счет использования одних и тех же шкал привлекательности, силы и активности полученные в двух исследованиях данные являются сопоставимыми. Выявленные в образах президента характеристики подвергались процедурам шкалирования и квантификации.

Исследование образа президента В.В. Путина проведено по методике, применявшейся в наших предыдущих проектах [Власть и лидеры... 2019: 87-99] с 1999 г. Методика включала в себя глубинные интервью с предъявлением респондентам в качестве стимульного материала черно-белых фотографий В.В. Путина, метод неоконченных предложений, а также метод фиксированных ассоциаций, с помощью которого выявлялись неосознаваемые компоненты образа действующего президента России. Ответы респондентов кодировались по шкалам “активность/пассивность”, “привлекательность/непривлекательность”, “сила/слабость”, после чего подсчитывалось процентное соотношение ответов по каждой шкале к общему количеству всех ответов с помощью пакета обработки статистической информации SPSS. Выборка составила 150 человек.

В рамках второго исследования объектом изучения были представления граждан об идеальном президенте. Для этого применялись методы глубинного интервью, семантический дифференциал и метод неоконченных предложений. Открытый формат вопросов позволил выявить многообразие качеств идеального президента, которое мы для удобства объединили в две большие категории: *личностные качества*, куда были включены и обсчитаны отдельно моральные, психологические, особенности внешности, здоровья и поведения, и *профессиональные*, деловые, политические характеристики. Разделение этих двух групп характеристик не только вытекало из наших теоретических моделей, но и стало результатом анализа эмпирического материала.

Политико-психологический анализ восприятия образа идеального президента проводился впервые и во многом это исследование носило поисковый характер. Были получены 450 интервью: в Москве, в Кемеровской, Брянской, Ивановской областях и Республике Башкортостан. Число опрошенных было взято с большим запасом (этого не требовалось по правилам качественного исследования), а выбор регионов диктовался разными типами самих регионов: область, автономная республика, мегаполис, крупный, средний, малый

города. Региональные выборки включены только для того, чтобы проверить гипотезу о наличии региональной специфики восприятия идеального российского лидера.

Для сопоставления образов идеального и реального президентов мы использовали шкалы привлекательности, силы и активности. Показатель привлекательности образа идеального президента мы выводили как среднее арифметическое от сложения всех трех типов личностных и профессиональных качеств, а параметры силы и активности замеряли отдельно. В отношении образов реального президента действовала та же схема обработки.

Количественные данные обоих исследований обрабатывались с помощью пакета SPSS.

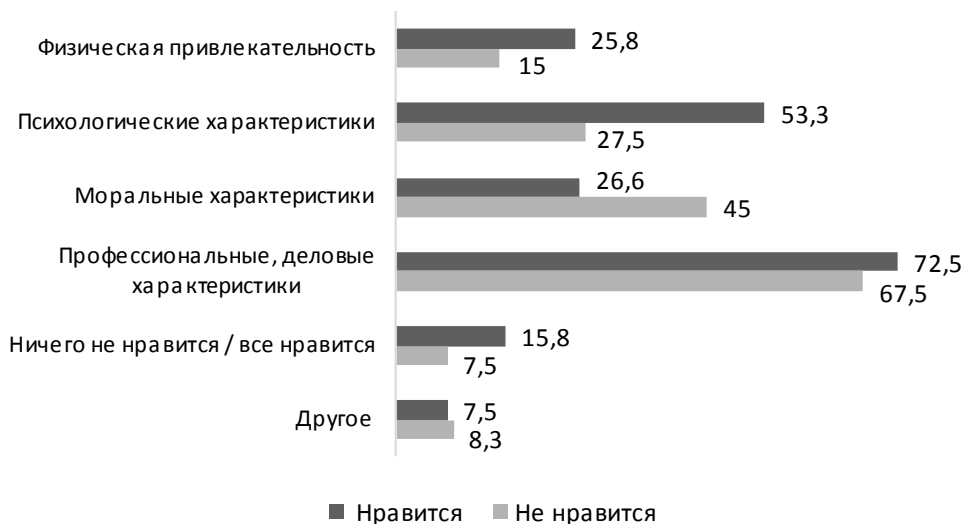
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Восприятие президента Путина: новые черты привычного образа

На рациональном уровне восприятия образе президента Путина по шкале “нравится/не нравится”² наряду с уже знакомыми появились новые черты. Так, в конце 2019 г. увеличилось число его заведомых противников и снизилось число его безусловных сторонников (см. пару “ничего не нравится / все нравится”, рис. 2).

Рисунок 2 (Figure 2)

Что Вам нравится / не нравится в образе В.В. Путина? (открытый вопрос, 2019), %
What do You Like / Dislike about Vladimir Putin's Image? (an open question, 2019), %



Как и в наших предыдущих исследованиях (см. [Власть и лидеры... 2019: 534–555]), в привлекательности президента его профессиональные (политические и деловые) характеристики в большей мере привлекательны, нежели не привлекательны. Также респондентам скорее нравятся, чем не нравятся

² Данные исследования 2017–2018 гг. описаны нами в статье [Шестопал, Вагина, Пасс 2019: 71].

его внешность и психологические качества. А вот в отношении моральных характеристик в момент замера негативные оценки превышали позитивные³,

По шкале “сила/слабость” на рациональном уровне образ президента остается стабильным на протяжении многих лет с доминированием силы над слабостью (54,7% и 0,9% соответственно). Также благоприятны для Путина и оценки по шкале “активность/пассивность”. Активные характеристики на порядок преобладают над пассивными. При этом почти совпадает доля тех проявлений активности, которые респондентам нравятся (28,3%), и тех, которые им не нравятся (25%). На бессознательном уровне восприятия привлекательность Путина достаточно высокая (57,5%), о чем свидетельствует ассоциативный тест. Параметр *силы* также высок и превышает показатели слабости в образе, хотя и стал несколько ниже, чем год назад (см. табл. 1). Обращает на себя внимание не только снижение силы в цифровом выражении, но и расхождение этого параметра на рациональном и бессознательном уровнях образа президента, что говорит о глубинной трансформации образа.

Таблица 1 (Table 1)

Сила/слабость на бессознательном уровне
Strength-Weakness on Unconscious Level

	Октябрь 2017	Февраль 2018	Ноябрь 2018	Ноябрь 2019
Сила	70,1	62,0	80,5	47,5
Слабость	7,5	15,0	9,8	15,8
Нейтральный ответ	21,0	12,0	7,3	34,2
Нет ответа	1,4	11,0	2,4	2,5
Всего	100	100	100	100

На бессознательном уровне массового восприятия лидерский потенциал В.В. Путина остается чрезвычайно высоким. Об этом говорят и преобладание лидерских ролей в ассоциациях с животными (26,7%), и высокий уровень маскулинности образа (51,7%), и высокий уровень активности. Вместе с тем последний замер говорит о некотором снижении этих показателей, что можно объяснить снижением их восприятия в результате долгого пребывания президента на своем посту, или же политическими действиями президента, которые трактуются гражданами как определенное снижение его лидерского потенциала.

Образ идеального президента и его антипод

О привлекательности идеального президента говорит то, что на первом месте по значимости и со знаком плюс, и со знаком минус оказались *моральные характеристики* (72,7% у “идеального президента” / 62,7% — у его “антипода”), на втором — психологические качества (66,2% у “идеального президента” / 56% у его “антипода”), на третьем месте располагаются профессиональные, политические и деловые характеристики (45,1% у “идеального президента” / 28,2% у его “противоположности”). Меньше всего респондентов интересуют физические характеристики данных образов (6 и 4%, соответственно).

³ В 2018 г., перед президентскими выборами, соответственно, нравились — 19% и не нравились — 13% моральных качеств.

Полученные данные показывают, что: 1) образ идеального президента у респондентов когнитивно богат, четок и ярок, о чем можно судить по тому, что лишь 1,1% опрошенных затруднились с ответом; 2) позитивные характеристики по всем параметрам образа, кроме внешности, количественно превосходят неприемлемые характеристики; 3) из двух категорий качеств: *личностных* и *функционально-ролевых*, первая группа существенно преобладает над второй, особенно в негативном спектре образа (см. рис. 3).

Последнее может показаться парадоксальным: ведь люди выбирают президента, чтобы он делал свою работу, и можно было бы ожидать, что эти рабочие, профессиональные качества будут востребованы в первую очередь (именно так всегда было в образе реального президента). Но оказалось, что опрошенные в первую очередь хотят, чтобы президент был прежде всего достойным человеком, и лишь во вторую очередь — “крутым” профессионалом. Для них важнее всего именно его человеческие качества. Это предположение подкрепляет обнаруженный в нашем исследовании факт, что из всех личностных характеристик ключевой для опрошенных является моральная. И здесь мы также видим серьезное отличие идеальных представлений от оценок реального президента: к двум этим случаям опрошенные применяют разные критерии оценок.

Рисунок 3 (Figure 3)

Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать идеальный президент?

Какие качества недопустимы для идеального президента? %

What Qualities Do You Think an Ideal President Should Have?

What Qualities Are Unacceptable for an Ideal President? %



Личностные характеристики идеального президента

Рассмотрим подробнее востребованные/неприемлемые личностные характеристики. Такие качества (со знаком плюс), как *честность*, *порядочность*, *нравственность*, *наличие совести*, по мнению опрошенных, являются необходимым условием справедливости и законности власти. Также опрошенные часто указывали на *самоотверженность* и полную *самоотдачу*, *способность к служению* человека, занимающего этот пост.

Первое и самое главное, о чем говорят респонденты, описывая антипода идеального президента, — это *алчность* и *жадность*, следствием которых, по мнению опрошенных, является “разворовывание страны”. Следующим

непростительным грехом для президента, барьером на пути к доверию признается *лживость*⁴. В списке качеств идеального президента со знаком минус оказались также *высокомерие* и *невнимание к простым людям*, которые, по мнению респондентов, не позволяют ему выполнять его главную функцию — помогать народу.

Как видим, представления опрошенных отличает определенная противоречивость, однако указанные свойства вполне вписываются в традиционный образ *доброго, но строгого “царя”* (строгость здесь не является синонимом жестокости) и свидетельствуют о том, что “человеческое измерение” в оценке политики и политиков остается более важным нежели его качества “эффективного менеджера”.

Второй по значимости группой личностных качеств, которые опрошенные отмечали в образе идеального президента, были его *психологические характеристики* (62,7%). В качестве примера можно привести характеристику эталона главы государства (данную молодым человеком с высшим образованием): “...*умение импровизировать, быстрое реагирование даже на сложные, страшные, может быть, вещи. Умение сохранять спокойствие, хладнокровие, педантичность, дисциплинированность. Как будто он профессионал в экстремальных видах спорта, типа скалолазания*”. В образе идеального президента для наших граждан неприемлемы: *слабость характера, бесхребетность, неуверенность*. Также часто упоминаются такие негативные характеристики как *жестокость, агрессивность, грубость, безжалостность и враждебность*. Несколько менее часто — такие характеристики как *излишняя эмоциональность, несдержанность, вспыльчивость, эгоизм, скудные умственные способности, проявления глупости*.

Говоря об *особенностях внешности, здоровья или поведения*, заметим, что речь идет о неких символических стандартах для первого лица государства. Респонденты особенно настойчиво говорили о необходимости здорового образа жизни и занятий спортом, для того чтобы президент мог выдерживать “огромную нагрузку”: “*президент должен быть здоровым, чтобы думать о народе*”, сформулировала женщина среднего возраста с высшим образованием.

Функционально-ролевые характеристики идеального президента

Пытаясь определить круг задач идеального главы государства, мы разбили полученные ответы по сферам деятельности, по охвату задач и по типу управления (см. табл. 2).

Полученные ответы вряд ли можно назвать тривиальными. Так, прежде всего обращает на себя неожиданная значимость для граждан *политических задач* (35,3%) по сравнению с социальными и экономическими. *Экономика* в этой иерархии у респондентов стоит лишь на четвертом месте (16%), в то время как российская власть традиционно ставит на первое место решение экономических задач. В паре “*внутренняя/внешняя политика*” треть респондентов указала, что президент должен в первую очередь заниматься именно внутренней политикой, а другая треть выступила за равномерное внимание лидера как к внутренним, так и к внешним задачам. Более 43% опрошенных придерживаются мнения, что президенту не следует заниматься локальными, мелкими вопросами, которые должны решать соответствующие ведомства.

⁴ Один из респондентов (мужчина старшей возрастной группы с высшим образованием) указал, что это качество “сделает президента предателем”.

Таблица 2 (Table 2)

Какие задачи должен решать президент?
What is More Important for the President to Do?

Внутренняя/внешняя политика	%	Задачи по сферам	%
И то, и другое	34,4	Политическая сфера	35,3
Внутренняя политика	34,0	Социальная сфера	30,0
Внешняя политика	3,8	Международные отношения	27,3
Нет ответа	27,8	Экономическая сфера	16,4
Локальные/глобальные задачи		Духовная сфера	7,1
Глобальные задачи (общегосударственные)	43,3	Другое	11,3
Локальные задачи (вопросы простых людей)	15,6	Ручное/системное управление	
И то, и другое	13,8	Системное управление (делегирование)	23,1
Упоминание отсутствует	27,3	Ручное управление (личный контроль за всеми деталями)	11,1
		Нет ответа	65,8

Таким образом, ожидания в отношении идеального президента (и со знаком плюс, и со знаком минус) сфокусированы прежде всего на его человеческих, личностных качествах, которые опрошенным представляются в президенте более важными, чем сугубо функциональные характеристики вроде “эффективности”, которые оказались столь востребованы в образе реального президента. Идеальный президент прочно и глубоко ассоциируется российскими гражданами с лидером, не только организующим жизнь страны, но и думающим о людях, заботящимся о них, неформально и самоотверженно их защищающим. Что же касается профессиональных (политических и деловых) характеристик, то в запросе на них на первый план выходят именно сугубо российские интересы, которым эти качества должны служить.

Реальный и идеальный образы президента: кто на кого влияет?

Анализ полученных в двух исследованиях данных показывает, что, во-первых, идеальные представления действительно работают в качестве эталона, с которым граждане сравнивают президента В.В. Путина. Однако этот эталон используется не как неизменный шаблон. В оценке реального лидера на определенные недостатки респонденты готовы закрыть глаза, если другие, более значимые стороны его личности их устраивают.

Во-вторых, оказалось, что при оценке реального президента Путина при всех критических высказываниях в его адрес, рациональных по преимуществу, восприятие его образа оказывается поразительно созвучным глубинным ожиданиям российского общества.

В-третьих, респонденты персонифицируют в этом образе свои идеалы, перенося одновременно черты действующего президента на идеальный образ. Таким образом, налицо не только влияние идеальных представлений на образ реального президента, но и обратное влияние реального президента на представления граждан о том, каким в России должен быть политический лидер. Сравним эти два образа более детально (см. табл. 3).

Таблица 3 (Table 3)

Сравнение образов действующего президента, идеального президента и его антипода
Comparison of the Images of Ideal and Real Presidents

Характеристики образа	В.В. Путин				Идеальный президент	
	Рациональный уровень		Бессознательный уровень			
	+	–	+	–	Идеал	Антипод
Привлекательность (усредненные показатели)	44,5	38,8	41,7	32,5	47,0	38,2
Внешность	25,8	15,0			4,0	6,0
Психологические	53,3	27,5			66,2	56,0
Моральные	26,6	45,0			72,7	62,7
Профессиональные	72,5	67,5			45,1	28,2
Ничего	15,8	7,5				
Сила	61,6	8,3	47,5	15,8	54,7	18,5
Слабость	0,8	25			0,9	33,7
Активность	52,5	28,3	45,8	23,3	43,2	28,9
Пассивность	2,5	25,0			0,0	20,2

ВЫВОДЫ

Результаты исследования в целом подтвердили нашу основную гипотезу, однако между идеальным и реальным образами президента были выявлены и существенные несовпадения в значимости отдельных параметров.

По параметру привлекательности идеальный и реальный образы в целом почти идентичны. Более того, почти треть опрошенных, отвечая на вопрос об идеальном президенте, прямо называли имя В.В. Путина. Однако ряд конкретных параметров двух образов по степени привлекательности расходятся, причем преимущественно на рациональном уровне. Для образа идеального президента внешность практически не имеет значения, тогда как внешность действующего президента играет значительную роль, добавляя ему поддержку избирателей. *Психологические и моральные* характеристики реального и идеального президента также не во всем совпадают.

Высокий запрос на психологические и моральные характеристики в идеальном образе свидетельствует о стремлении граждан видеть в президенте не столько функцию, сколько личность, служащую эталоном достоинства для общества. Если в идеальном образе на первом месте стоят моральные критерии, то в восприятии реального президента Путина наиболее ярко проявляются профессиональные, деловые и политические качества. Можно предположить, что указанное расхождение связано с разрывом между заимствованными извне “рационально-секулярными” представлениями и ценностями и “традиционными”, более глубинными, не до конца осознаваемыми представлениями об идеальном президенте, базирующимися в национальном менталитете. *Личностные* характеристики более выражены в образе идеального образа президента по сравнению с *функциональными*. Образ идеального российского президента, как мы установили, обладает в большей степени специфическими российскими чертами, чем универсальными компетенциями.

Тем самым подтверждение получила наша гипотеза об укорененности идеальных представлений о президенте в глубинных слоях национальной политической культуры. Если интерпретировать этот вывод в терминах Инглхарта, то идеальный образ российского президента по своим ценностным, смысловым параметрам следует соотносить скорее с ценностями “выживания”, чем с ценностями “самовыражения”. Идеальный прототип президента вписывается в систему нашей традиционной политической культуры, соответствуя национальным архетипам на бессознательном уровне.

В то же время наши данные показывают, что наряду с этим глубинным, архетипическим слоем массового сознания на восприятие реальных политиков оказывают влияние и современные образы, заимствованные в первые годы новой России. Это относится, например, к представлениям о желаемом возрасте, силе и активности идеального президента. Типы политических ценностей, выявленные Р. Инглхартом и его соавторами, адекватны только одному типу рационально-секулярных ценностей западного типа. В современной России они тоже присутствуют у отдельных категорий российских граждан, но в массовом сознании большинства наряду с ними фиксируются и мощные глубинные пласты традиционных ценностей национальной политической культуры, которые и определяют эталон “хорошего лидера”. Но вне зоны их внимания оказались эффекты проявления глубинных слоев политических представлений и ценностей россиян. Наше исследование позволяет предположить, что для понимания массового политического сознания в России необходимо принимать во внимание как традиционные, так и более новые представления, при доминировании первых.

DOI: [10.17976/jpps/2020.04.12](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.12)

REPRESENTATIONS OF AN “IDEAL” AS A FACTOR OF THE PERCEPTION OF A POLITICAL LEADER IN REALITY

E.B. Shestopal¹, N.N. Rogach¹

¹*Lomonosov Moscow State University. Moscow, Russia*

SHESTOPAL, Elena Borisovna, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Head of the Chair of Sociology and Psychology of Politics, Dept. of Politics, Lomonosov Moscow State University, email: shestop0505@rambler.ru; **ROGACH, Nikolay Nikolaevich**, post-graduate student of the Chair of Sociology and Psychology of Politics, Dept. of Politics, Lomonosov Moscow State University, email: nickolayrogach@gmail.com

Shestopal E.B., Rogach N.N. Representations of an “Ideal” as a Factor of the Perception of a Political Leader in Reality. — *Polis. Political Studies*. 2020. No. 4. P. 166–180. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.12>

Received: 04.03.2020. Accepted: 30.04.2020

Abstract. The article is devoted to ideal representations of the Russian president as held by Russian citizens, and the influence of such ideals on how a leader is perceived in reality. There have been few attempts to study this phenomenon, beyond mainly opinion polls. From the perspective of Political Psychology, analyzing this issue is taking place for the first time. In the fall of 2019, two different qualitative studies were conducted: one being the study of Putin’s image in Russian society, the second being on the image of an ideal president. Methodology in both studies was comparable. This article describes the contents and mechanisms of how an ideal president is perceived. The theoretical part of the study tackles ideal representations in the framework of various political, psychological and sociological approaches, focusing predominantly on the theory of political perception. In the empirical part, the image of Putin and the image of the ideal president are described and compared on three scales: attractiveness, strength and activity. The study led to the discovery of the commonality and differences in the images of real and ideal presidents in

the minds of Russian citizens, and concludes that ideal representations are responsible for the deepest level of political culture that determines people's demands and expectations for real presidents.

Keywords: political perception, ideal representations, mass consciousness, image of an ideal president, image of V. Putin.

References

- Almond G., Verba S. 1963. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. New Jersey: Princeton University Press. https://doi.org/10.1007/978-3-658-13213-2_51
- Bazaluk O., Blazhevich T. 2016. The Image of an Ideal Ukrainian Politician. *Ukrainian National Idea. – Future Human Image*. Vol. 3 (6). P. 24-30.
- Cottam M.L. 1994. *Images and intervention: U.S. Policies in Latin America*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Culture and Leadership across the World: The GLOBE Book of in-Depth Studies of 25 Societies*. 2013. Ed. by J.S. Chhokar, F.C. Brodbeck, R.J. House. London: Routledge.
- Graeff C. 1983. The Situational Leadership Theory: a Critical View. – *Academy of Management Review*. No. 8. P. 285-291. <https://doi.org/10.5465/amr.1983.4284738>
- Handbook of Leadership and Management Development*. 2010. Ed. by J. Gold, R. Thorpe, A. Mumford. Aldershot: Gower.
- Harter N. 2008. *Great Man Theory. – Leadership: The Key Concepts*. London: Routledge. P. 67-71.
- Hartley J., Hinksman B. 2003. *Leadership Development a Systematic Review of the Literature*. London: NHS Leadership Centre. P. 1-78.
- Hersey P., Blanchard K.H. 1969. Life Cycle Theory of Leadership. – *Training and Development Journal*. No. 23. P. 26-33.
- Hersey P., Blanchard K.H. 1974. So You Want to Know Your Leadership Style? – *Training and Development Journal*. No. 28. P. 22-37.
- House R.J., Hanges P.J., Javidan M., Dorfman P.W., Gupta V. 2004. *Culture, leadership, and organizations: the GLOBE study of 62 societies*. London: Sage.
- Kinder D.R., Fiske S.T. 1986. Presidents in the Public Mind. – *Political Psychology: Contemporary Problems and Issues*. Ed. by M.G. Hermann. San Francisco: Jossey-Bass. P. 193-210.
- Markova I. 2003. *Dialogicality and Social Representations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stogdill R.M. 1948. Personal Factors Associated with Leadership: a Survey of the Literature. – *Journal of Psychology*. No. 25. P. 35-71. <https://doi.org/10.1080/00223980.1948.9917362>
- Tannenbaum R., Schmidt W.H. 1973. How to Choose a Leadership Pattern. – *Harvard Business Review*. No. 51. P. 162-180.
- The Oxford Handbook of Political Psychology*. 2013. Ed. by Huddy L., Sears D.O., Levy J.S. Oxford University Press.
- The Psychology of Leadership: New Perspectives and Research*. 2005. Ed. D.M. Messick, R.M. Kramer. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Trent J.S., Short-Thompson C., Mongeau P.A., Metzler M.S. 2017. The Consistent Attributes of the IDEAL Presidential Candidate in an Increasingly Divided Electorate. – *American Behavioral Scientist*. Vol. 61. No. 3. P. 278-297. <https://doi.org/10.1177/0002764217693278>
- Vroom V.H., Yetton P.W. 1973. *Leadership and Decision-Making*. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt6wrc8r>
- Abashkina E., Egorova-Gantman E., Kosolapova Y., Razvorotneva S., Sivircev M. 1993. *Politikami ne rozhdayutsya: kak stat' i ostat'sya effektivnym politicheskim liderom* [Politicians are Not Inborn: How to Become and Remain an Effective Political Leader]. Moscow: Antikva. (In Russ.)
- Chernetskaya N.I. 2016. Images of Russian Leading Political Figures Compared to the Image of an Ideal National Leader. – *The Bulletin of Irkutsk State University. Series "Psychology"*. Vol. 15. P. 50-59. (In Russ.)
- Inglehart R., Welzel C. 2011. Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence. (Russ. ed.: Inglehart R., Welzel C. Modernizatsiya, kul'turnye izmeneniya i demokratiya: Posledovatel'nost' chelovecheskogo razvitiya. Moscow: Novoe izdatel'stvo).
- Ivanova M.G. 2017. The Role of National Archetypes in Formulating of a Vision of the Future of Russia. – *RUDN Journal of Political Science*. No. 3. P. 309-315. (In Russ.) <https://doi.org/10.22363/2313-1438-2017-19-3-309-315>
- Leyens J., Darden B. 2001. Basic Concepts and Approaches in Social Cognition. – *Perspektivy sotsial'noi psikhologii*. Moscow: EKSMO-Press. P. 140-141. (In Russ.)

Mel'nikova A.A., Kruglyanskaya L.Y. 2013. Leader Archetypes and Deep Foundations of Culture: Linguistic-cultural Research. — *Obshchestvo. Sreda. Razvitie*. No. 1. P. 194–197. (In Russ.)

Mel'nikova O.T., Krichevets A.N., Gusev A.N., Khoroshilov D.A., Barskii F.I., Busygina N.P. 2014. Criteria for the Evaluation of Qualitative Research. — *National Psychological Journal*. No. 2. P. 49–51. (In Russ.) <https://www.doi.org/10.11621/npj.2014.0206>

Rakityansky N.M. 2016. Experience in conceptual modeling of the Chinese political mentality. Part 2. — *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 12: Politicheskie nauki*. No. 2. P. 57–79. (In Russ.)

Rakityansky N.M. 2017. Fundamental foundations of the Anglo-American political mentality. — *Poisk. Al'ternativy. Vybor*. No. 1. P. 112–135. (In Russ.)

Shestopal E.B., Vagina V.V., Pass P.S. 2019. New Trends of Russian Citizens' Perception of Authorities. — *Politeia*. No. 4. 67–86.

Vlast' i lidery v vospriyatii rossiiskikh grazhdan. Chetvert' veka nablyudenii (1993–2018) [Power and Leaders in Perception of Russian Citizens. A Quarter Century of Observations (1993–2018)]. 2019. Ed by. E.B. Shestopal. Moscow: Ves' Mir Publ. (In Russ.)

Литература на русском языке

Абашкина Е., Егорова-Гантман Е., Косолапова Ю., Разворотнева С., Сиверцев М. 1993. *Политиками не рождаются: как стать и остаться эффективным политическим лидером*. М.: Антика.

Власть и лидеры в восприятии российских граждан. Четверть века наблюдений (1993–2018). 2019. Отв. ред. Е.Б. Шестопал. М.: Весь Мир.

Иванова М.Г. 2017. Роль национальных архетипов для формирования образа будущего России. — *Вестник РУДН. Серия: Политология*. № 3. С. 309–315. <https://doi.org/10.22363/2313-1438-2017-19-3-309-315>

Инглхарт Р., Вельцель К. 2011. *Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития*. М.: Новое издательство.

Лейенс Ж., Дарден Б. 2001. Основные концепции и подходы в социальном познании. — *Перспективы социальной психологии*. М.: ЭКСМО-Пресс. С. 140–141.

Мельникова А.А., Круглянская Л.Я. 2013. Архетипы лидера и глубинные основания в культуре: лингво-культурологическое исследование. — *Общество. Среда. Развитие*. № 1. С. 194–197.

Мельникова О.Т., Кричевец А.Н., Гусев А.Н., Хорошилов Д.А., Барский Ф.И., Бусыгина Н.П. 2014. Критерии оценки качественных исследований. — *Национальный психологический журнал*. № 2. С. 49–51. <https://www.doi.org/10.11621/npj.2014.0206>

Ракитянский Н.М. 2016. Опыт концептуального моделирования китайского политического менталитета. Часть 2. — *Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки*. № 2. С. 57–79.

Ракитянский Н.М. 2017. Фундаментальные основания англо-американского политического менталитета. — *Поиск. Альтернативы. Выбор*. № 1 (5). С. 112–135.

Чернецкая Н.И. 2016. Образы ведущих политиков России в сопоставлении с образом идеального национального лидера. — *Известия Иркутского государственного университета. Серия "Психология"*. Т. 15. С. 50–59.

Шестопал Е.Б., Вагина В.В., Пасс П.С. 2019. Новые тенденции восприятия власти российскими гражданами. — *Полития*. № 4. С. 67–86. <https://www.doi.org/10.30570/2078-5089-2019-95-4-67-86>

DOI: [10.17976/jpps/2020.04.13](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.13)

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ В ВОСПРИЯТИИ РЯДОВЫХ ГРАЖДАН: ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Т.В. Евгеньева, Н.В. Смутькина, И.А. Цымбал

ЕВГЕНЬЕВА Татьяна Васильевна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры социологии и психологии политики факультета политологии, МГУ им. М.В. Ломоносова; профессор департамента политологии и массовой коммуникации факультета социологии и политологии, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Москва, email: etv133@mail.ru; **СМУТЬКИНА Наталья Валентиновна**, кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры социологии и психологии политики факультета политологии, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, email: smulkina@mail.ru; **ЦЫМБАЛ Ирина Андреевна**, аспирант кафедры социологии и психологии политики факультета политологии, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, email: tsymbal2013@inbox.ru

Евгеньева Т.В., Смутькина Н.В., Цымбал И.А. Место России в мире в восприятии рядовых граждан: идентификационное измерение. — Полис. Политические исследования. 2020. № 4. С. 181-191. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.13>

Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ № 18-011-01138А “Образ страны в российском обществе: политико-психологический анализ”.

Статья поступила в редакцию: 04.03.2020. Принята к публикации: 04.05.2020

Аннотация. Статья базируется на результатах исследования, реализуемого на кафедре социологии и психологии политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, по выявлению закономерностей формирования и образно-символической специфики представлений российских граждан о своей и других странах, их взаимодействия в общемировом пространстве. Изучая содержание и структурные особенности этих представлений, мы можем определить характер и степень кристаллизации национально-государственной идентичности. В основе исследования лежит комплексная аналитическая модель, предполагающая изучение трех аспектов восприятия места России в современном мире. Первый — представления о России, пространственные и темпоральные характеристики, служащие отражением самоидентификации респондента в качестве российского гражданина. Второй — система образов и символов, репрезентирующих представления респондентов о мировом пространстве, месте в нем государств и регионов, особенностях их взаимодействия и взаимовлияния. Третий — символическая репрезентация восприятия отдельных стран через их отношения с Россией. Методология эмпирического исследования базируется на сочетании количественных и качественных методов: формализованное интервью, проективные методики. Разработанная модель исследования позволила выявить не только взаимосвязь между пространственными и темпоральными аспектами процесса восприятия, но также их место в структуре идентичности личности. Национально-государственная идентичность респондентов отражается в оценках своей и других стран, в качестве субъектного фактора определяет восприятие места России в мировом пространстве, формирует образы прошлого и будущего.

Ключевые слова: национально-государственная идентичность, политическое восприятие, образ страны, пространственные образы, темпоральные образы, образы “своих” и “чужих”.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Вопрос о месте России в системе международных отношений перестал быть прерогативой дискуссий специалистов-политологов: массовое сознание

по-своему реагирует на трансформацию сложившегося образа мира, актуализируя старые и создавая новые стереотипы.

Отсутствие адекватного отражения происходящих в мире геополитических сдвигов в сознании как рядовых граждан, так и некоторых представителей элит, может вести не только к взаимному непониманию между россиянами и гражданами других стран, а вследствие этого к возможным конфликтам, но и к внутрироссийским идентификационным расколам, активно используемым отдельными политическими акторами. Дополнительную остроту проблеме придает тенденция к переосмыслению исторических обоснований сложившихся геополитических конструкций.

Образ России, представление о ее месте в системе отношений с другими странами формируют своеобразную систему координат, в которой находит свое отражение национально-государственная идентичность российских граждан. В условиях глобальных трансформаций XXI в. от четкости этой системы, содержания и символической репрезентации представлений зависят не только ответ на вопрос “кто мы?”, но и динамика политических настроений в обществе, устойчивость политической системы в целом.

В этом контексте цель исследования — выявление закономерностей формирования и образно-символической специфики представлений российских граждан о своей и других странах, их взаимодействии в общемировом пространстве. Изучая содержание и структурные особенности этих представлений, мы можем определить характер и степень кристаллизации национально-государственной идентичности.

Теоретический аспект исследования связан с необходимостью более глубокого понимания значимости пространственно-географических и темпоральных факторов в формировании образов государств и их роли в процессе национально-государственной самоидентификации граждан. Прикладные аспекты проблемы связаны с национальной безопасностью и развитием международного сотрудничества.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проблемное поле исследования предполагает опору на совокупность политологических, социологических и политико-психологических подходов, среди которых следует выделить четыре основных блока.

Работы первого блока отражают особенности политико-психологического подхода к исследованию политических образов и представлений. На кафедре социологии и психологии политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова была создана политико-психологическая модель исследования политического восприятия, где внимание уделялся как факторам, влияющим на восприятие стран, государств и отдельных политических акторов [Шестопал, Смулькина 2018], так и особенностям репрезентации сформированных представлений через совокупность образов и символов массового сознания [Евгеньева, Селезнева 2017].

Второй блок — это работы, посвященные теоретическим аспектам формирования и репрезентации национально-государственной идентичности в современном мире. В качестве наиболее значимых можно привести работы М. Кастельса [Castells 1997], С. Хантингтона [Хантингтон 2004], Д. Маккрона и Ф. Беххофера [MacCrone, Bechhofer 2015], М. Сидди [Siddy 2017], а также

российских исследователей И.С. Семененко [Семененко 2016], О.В. Поповой [Попова 2016] и В.В. Титова [Титов 2012].

Вопрос о факторах, определяющих национально-государственную идентичность, разрабатывается в современных европейских политико-психологических исследованиях в Германии, Бельгии и ряде других стран [Herb, Kaplan 2017; Dittmann, Ropf-Beck 2019; Agirdag, Phalet, Van Houtte 2016].

Третий блок составляют работы авторов, анализирующих место пространственно-географических и исторических представлений в современной политике. Первоочередной интерес представляют работы, посвященные внешнеполитическим аспектам образов государств [Киселёв, Смирнова 2016], пространственному измерению образа страны [Замятин 2004; Окунев 2020], исторической памяти и исторической политике [The Politics of Memory in Postwar Europe 2006; Малинова 2018; Евгеньева, Титов 2017].

Четвертый блок включает в себя научные труды отечественных социологов, где внимание сфокусировано на рассмотрении представлений россиян о международной роли России и других стран. Особенности рационализированного внешнеполитического восприятия, изучение образов “страны-врага” и “страны-друга” наиболее детально изучались в 2008–2010 гг. и 2015–2016 гг. [Задорин 2008; Петухов 2010; Горшков, Петухов 2016; Митрофанова 2016]. В политической социологии предмет исследования в последние годы расширяется на уровень взаимного внешнеполитического восприятия [Снежкова и др. 2019].

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ И МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Идентификационное измерение исследования особенностей восприятия России и ее места в современном мире опирается на политико-психологический подход к пониманию национально-государственной идентичности в качестве идентичности макрополитического типа, определяемой как “исторически и культурно обусловленная психологическая самоассоциация личности с геополитическим образом (образами) определенной национально-государственной общности, имеющая в своем основании личностные мотивы и социальные ценности, закрепляющаяся и проявляющаяся через символические репрезентации” [Титов 2012]. Эта идентичность, как один из элементов структуры личности, является результатом ее самоидентификации в процессе поисков ответа на вопросы “кто я?” и “кто мы?”.

Ключевое место в этой системе координат занимают культурные, пространственные и исторические образы и символы, создающие ориентиры социальной и политической реальности [Евгеньева, Селезнева 2017].

Особенностью политико-психологического подхода к исследованию восприятия стран мира является обращение не только к рациональным, но и неосознаваемым аспектам этого процесса. В основе формируемого образа лежат часто не столько объективные знания о стране, сколько эмоционально окрашенные символы и стереотипы, полученные в результате случайного соприкосновения с фактами и событиями или конструирования их через каналы массовой коммуникации.

Е.Б. Шестопал обращает внимание на наличие субъектных факторов политического восприятия, отражающих часто не осознаваемые особенности социального и политического опыта личности. При анализе процесса воспри-

ятия интерес представляет также выявление роли коммуникативного фактора, формирующего в массовом сознании совокупность символов и стереотипов, оказывающих влияние на репрезентацию представлений [Психология политического восприятия... 2012].

Авторы выдвигают гипотезу о ведущей роли в восприятии России, окружающего мира, регионов и отдельных стран такого субъектного фактора как национально-государственная идентичность личности. Базовыми элементами данного процесса выступают пространственные и темпоральные элементы формирующихся образов.

В основе исследования лежит комплексная аналитическая модель, предполагающая изучение трех аспектов восприятия места России в современном мире. Первый — представления о России, пространственные и темпоральные характеристики, служащие отражением самоидентификации респондента в качестве российского гражданина. Второй — система образов и символов, репрезентирующих представления респондентов о мировом пространстве и месте в нем России. Третий — восприятие отдельных стран через их отношения с Россией.

Методология эмпирического исследования базируется на сочетании количественных и качественных политико-психологических методов. Формализованное интервью предполагает выявление специфики представлений россиян о своей стране и окружающем мировом пространстве, об отдельных странах и регионах в контексте особенностей национально-государственной самоидентификации российских граждан (объем выборочной совокупности 1 600 респондентов из 14 субъектов РФ). Проективные методики направлены на выявление глубинных оснований образов (количество рисунков 1 300).

Данная методология позволяет оценить неосознаваемую составляющую восприятия, реконструировать многомерную пространственно-темпоральную модель места России в современном мире, выявить ее идентификационную составляющую у представителей различных поколений российских граждан.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Восприятие России: образы пространства

Пространственный аспект образа России занимает одно из центральных мест в массовом сознании. Образ “своей” земли связан с особенностями процесса национально-государственной самоидентификации граждан.

С одной стороны, земля воспринимается не как самостоятельный объект, а, скорее, как производящая субстанция, кладовая ресурсов. Ресурсы как достоинство страны отмечали 61,5% респондентов. Не менее значимой особенностью российской земли является способность порождать людей с особыми качествами (72% респондентов).

С другой стороны, российская земля воспринимается как суровый край, неосвоенная территория, таящая в себе потенциальные опасности. Латентный, не вполне осознанный страх в отношении собственных территорий подкрепляется символической пустотой образа пространства России. Например, на рисунках жителей столицы Сибирь предстает незаполненным полем (в лучшем случае с изображением елей).

Неудивительно, что, отвечая на вопрос о возможных изменениях территории России в ближайшие 20 лет, часть респондентов легко изменяла

государственные границы. Лишь 66,9% опрошенных отметили, что границы России должны остаться неизменными. Заметны тенденции к сужению пространства в представлениях молодежи и его расширению у респондентов средней и старшей возрастных групп. Следует отметить, что феномен “сужения пространства” не проявлял себя до середины 2010-х годов.

Часть респондентов (26,9%) преимущественно средней и старшей возрастных групп, не имея четких представлений о пределах собственной страны, склонялись к экспансионистским ориентациям. Присоединение Аляски – самый упоминаемый пример. Вопрос об изменении границ поднимался преимущественно в контексте обсуждения будущего страны жителями центральных регионов России, для которых образ границы не является персонализированным (граница лично от меня далеко). Для респондентов из периферийных регионов характерно более четкое “пограничное” восприятие.

Тенденция к расширению пространства проявила себя в условиях склонности некоторых опрошенных обращаться не к государственным, а к символическим границам страны. Характеризуя пределы России, 16% респондентов ответили, что “Россия вообще не имеет границ”. Некоторые говорили, что “Россия представлена во всем мире, она там, где звучит русская речь, где есть российская культура и нравы”. Стремление сделать другое (как правило, близлежащее) пространство потенциально своим, может быть объяснено скрытыми тревогами массового сознания, неосознаваемым стремлением обезопасить себя, очертив безопасное пространство.

В более глубоком исследовании нуждается выявленная тенденция рационализации сужения пространства в представлениях некоторых молодых россиян (до 24 лет). Они с уверенностью говорят о необходимости отказаться от части “нерентабельных территорий” (Курилы, Сахалин, отдельные регионы Кавказа и Крым). Указанная тенденция подобного политического восприятия также опирается на стереотип “большой неосвоенной земли”, но трансформируется в иной формат восприятия своей страны, нежели у представителей других поколений. У респондентов старших поколений образ “России – сурового края” накладывается на порой противоречащий ему образ “богатой ресурсами земли”, формируя чувство избранности, исключительности российского народа. Для части респондентов молодого поколения (около 14%) большие территории и неразработанные залежи природных ресурсов, наоборот, выступают в качестве символов потенциальных сложностей, вызовов для страны. Молодые респонденты не просто озвучивают дилемму “Почему чем меньше страна, тем лучше живет?”, но и предлагают сократить территории, чтобы избавиться от проблем.

Полученные данные об отсутствии четких представлений о границах у одной части респондентов и легком отношении к их изменению у другой подтверждают своевременность предлагаемых поправок в Конституцию РФ, закрепляющих незыблемость границ России.

Восприятие России: темпоральные образы

Образ территории страны и образы личного и государственного прошлого тесно взаимосвязаны (“здесь мои корни”, “эту землю наши предки защищали”). В меньшей степени заметна в ответах респондентов связь образа земли с образом будущего. Вероятно, это связано с несформированным в массовом

сознании образом будущего. Результаты показывают, что современный россиянин зачастую не видит себя субъектом, участником будущего своей страны, испытывает страх в его отношении, неосознанно снимая с себя ответственность за него (см. рис. 1А). При этом коммуникативный фактор способствует формированию в массовом сознании ощущения “точки перелома”, формирует представления о необходимости изменить что-то “здесь и сейчас”, чтобы предотвратить возможную катастрофу. Страх будущего также выступал одним из психологических оснований для формирования ориентации респондента на изоляционистский тип поведения страны в международных отношениях.

Образ прошлого России в массовом сознании более четок, однако, в свою очередь, фрагментирован, сверхчувствителен к дискурсу. Оценки прошлого страны опираются на восприятие времени как нелинейного состояния с контрольными точками в виде отдельных, не связанных между собою событий, а современной российской истории как “бесконечно длящегося настоящего”. Отсутствие представления о развитии чаще всего характерно для респондентов, прошедших политическую социализацию в последние 20 лет.

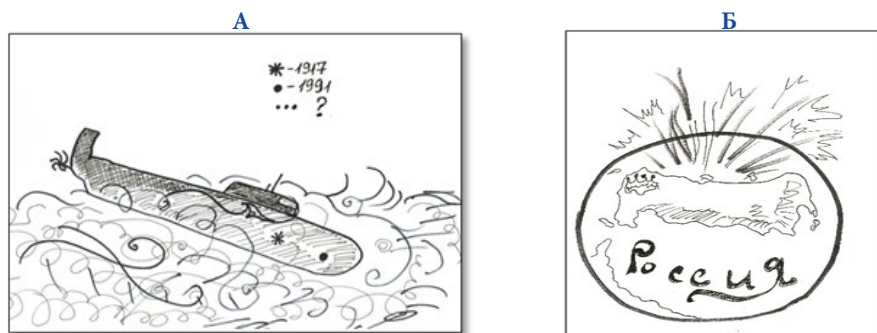
Россия и мир: особенности политического восприятия

Результаты исследования позволяют утверждать, что восприятие России, включенной в современные мировые процессы, достаточно амбивалентно и не вполне конгруэнтно на рациональном и неосознаваемом уровнях.

Проективные тесты выявляют у большинства опрошенных россиянецентричный образ мира, где часть пространства выступает потенциально “своим”, а другая его часть “чужим”, в сочетании с матрешечным иерархичным принципом конструирования пространства, где присутствуют разноранговые центры силы и влияния.

Рисунок 1 (Figure 1)

- Образ России: (А) “Затонет ли?”** (женщина, 26 лет, Москва);
(Б) “От России как от прожектора идет свет...” (мужчина, 19 лет, Москва)
Image of Russia: (A) “Will it sink?” (woman, 26 years old, Moscow);
(B) “Russia Lights Like a Spotlight” (man, 19 years old, Moscow)



Место России в мире воспринимается респондентами, прежде всего, с учетом ее ресурсного потенциала. Внимание сфокусировано на ресурсно-экономических, культурных (часто также в виде ресурса), политико-идеологических и пространственно-географических образах (природные ископаемые, трудовые ресурсы, уровень развития экономики, богатство культуры и языка,

привлекательность образа жизни, демократичность и традиционализм в мировоззрении) (см. рис. 1Б).

Данный аспект восприятия страны иллюстрируется множеством приведенных примеров из российской истории.

В структуре образа будущего России в контексте ожиданий и надежд внимание привлекает, прежде всего, оценка геополитического места нашей страны в мире и ожидаемая роль страны на мировой арене.

В ответах респондентов в равной степени присутствуют объективно противоположные мнения о предпочтительной позиции России в мировой политике. Одна часть респондентов акцентировала внимание на том, что они хотят видеть Россию сверхдержавой, не ввязывающейся в международные конфликты, но при этом распространяющей свою культуру и ценности по всему миру, объединяя вокруг себя страны постсоветского пространства, восприятие которых во многом связано со стереотипом “ненастоящего зарубежья”. Оценивая характер взаимоотношений России с другими странами, респонденты неосознанно обращались к символике справедливости и активного противодействия злу.

В ответах другой части респондентов присутствует альтернативное мнение, опирающееся на стремление видеть свою страну равноправным партнером в международных отношениях, субъектом, принимающим международные нормы и не стремящимся диктовать свои собственные правила. В данном случае акцент смещается к стереотипу “процветающей России”, ассоциирующемуся со стабильностью.

Можно сделать вывод, что темпоральные и пространственные представления достаточно фрагментарны и часто противоречат друг другу. Эта внутренняя противоречивость свидетельствует о структурной слабости, а размытость образов — о содержательной неопределенности национально-государственной идентичности респондентов.

Восприятие зарубежных стран

Идентификационное измерение восприятия зарубежных стран опирается на место образа “другого” в структуре национально-государственной идентичности личности. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о содержательной и символической бедности образов стран при наличии тенденции к их субъективной поляризации. В сознании респондентов присутствуют две большие группы, условно определяемые как “свои” (“друзья” и “партнеры”) и “чужие” (“враги” и “конкуренты”). Если одна и та же страна может быть отнесена разными респондентами к различным группам: враг/конкурент (США), друг/партнер (Индия), то общая тенденция (категоризация в качестве “своих” или “чужих”) в целом сохраняется. Исключением можно назвать Украину, образ которой в последние годы переместился из категории “своих” (братский народ) в категорию “чужих”.

При описании “стран-друзей” (Беларусь, Армения, Казахстан, Индия, Бразилия) их жителям приписываются исключительно позитивные символические характеристики: доброта, дружелюбие, гостеприимство. Государство также оценивается позитивно как во внутривнутриполитическом измерении (стабильное и успешно развивающееся), так и с точки зрения места в системе международных отношений. В восприятии большинства “стран-друзей”

главную роль для респондентов играют историко-культурные, частично историко-политические аспекты сложившегося образа. Это характерно особенно для представителей старших поколений, в коллективной памяти которых сохранились символы “братства” народов.

При оценке стран в качестве “партнеров” (Индия, Китай, Казахстан, Беларусь, Испания, Франция) в качестве обоснования на первый план выходит та сторона образа, которая отражает представление о наличии совместных экономических и культурных проектов различного уровня. Эти представления формируются за счет коммуникативного фактора, в связи с этим сильно стереотипизированы и имеют ситуативный характер. В отличие от “друзей” “партнеры” могут вызывать у респондентов недоверие (непредсказуемый, хитрый). Так, например, Китай, несмотря на в целом позитивную оценку развития экономических отношений, в эмоциональном плане ассоциируется с не до конца осознаваемой опасностью (слишком непохожие язык, культура, традиции).

Образ “чужой” страны проявляется также на двух уровнях: “враг”, “конкурент”. “Врагами” респонденты чаще всего называют Эстонию, Великобританию, Украину и США, “конкурентами” – США, Германию, Великобританию, Китай. Интересно, что при превращении Украины из “друга” во “врага” у части респондентов образуется внутренне противоречивый образ, в котором “врагом” становится государство Украина, а украинский народ продолжает восприниматься в качестве “своих” (славяне, братья). Здесь следует отметить роль коммуникативного фактора восприятия этой страны, который вступает в противоречие с формирующимися в течение длительного времени историко-культурными символами и стереотипами, чем определяется двойственность образа.

Коммуникативный фактор играет значимую роль в формировании образов как “врагов”, так и “конкурентов”. Обосновывая свой выбор, респонденты, как правило, не опираются на знание фактов, а воспроизводят коммуникативные стереотипы, приписывая странам характеристики, символически идентифицирующие “чужого”.

Основанием для оценки страны в качестве “врага” является образ исходящей от него опасности, “конкурента” отличает наличие ресурсного потенциала, с которым респонденты связывают тревожные ожидания.

Итак, центральным фактором в оценке той или иной страны для респондентов является ее восприятие в качестве “другого” в контексте отношений с Россией. В связи с этим значительная часть зарубежных стран остается в категории нейтральных, образ которых складывается из случайного набора символов, а иногда формирует представление “неведомого пространства” (например, страны Африки).

ВЫВОДЫ

Разработанная модель исследования восприятия стран мира и мирового пространства в идентификационном измерении позволила выявить не только взаимосвязь между пространственными и темпоральными аспектами процесса восприятия, но также их место в структуре идентичности личности.

Национально-государственная идентичность респондентов отражается в оценках своей и других стран, в качестве субъектного фактора определяет

восприятие места России в мировом пространстве, формирует образы прошлого и будущего. В этом контексте можно говорить о россиецентричности образа мирового пространства, в котором образы стран и регионов воспринимаются, в первую очередь, в качестве символических “других”, а их место в системе международных отношений оценивается в зависимости от степени близости (реальной или выдуманной респондентом) с Россией.

В то же время размытость и фрагментарность пространственных и темпоральных элементов образа России свидетельствуют о структурной слабости и содержательной неопределенности национально-государственной идентичности респондентов. Одним из проявлений данной закономерности стала когнитивная и символическая бедность образа пространства своей страны у представителей молодого поколения, непосредственно связанная с не до конца сформированной идентичностью. Это создает у части респондентов представление об “избыточности” российской территории, являющейся, по их мнению, лишь источником дополнительных проблем.

Данное обстоятельство может стать препятствием для полноценной самоидентификации молодежи в качестве граждан России – не случайно внимание общества было привлечено к обсуждению предложения о внесении в Конституцию РФ принципа незыблемости границ России.

Существенное влияние коммуникативного фактора на выявленные в процессе исследования проблемы указывает на необходимость целенаправленной информационной политики, направленной на формирование (в первую очередь, у молодежи) адекватного, содержательно и символически полного образа своей страны и ее места в мировом пространстве.

DOI: [10.17976/jpps/2020.04.13](https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.13)

RUSSIA'S PLACE IN THE WORLD IN THE PERCEPTION OF NATIONAL CITIZENS: IDENTIFICATION DIMENSION

T.V. Evgenyeva¹, N.V. Smulkina¹, I.A. Tsymbal¹

¹*Lomonosov Moscow State University. Moscow, Russia*

EVGENYEVA, Tatiana Vasilievna, Cand. Sci. (Hist.), Associate Professor, Associate Professor of Department of Political Sociology and Psychology, Faculty of Political Science, Lomonosov Moscow State University; Professor, Political Science and Communication Program, Sociology and Political Science Department, Financial University under the Government of the Russian Federation, email: etv133@mail.ru; **SMULKINA, Natalia Valentinovna**, Cand. Sci. (Pol. Sci.), Senior Lecturer, Department of Political Sociology and Psychology, Faculty of Political Science, Lomonosov Moscow State University, email: smulkina@mail.ru; **TSYMBAL, Irina Andreevna**, Postgraduate Student, Department of Political Sociology and Psychology, Faculty of Political Science, Lomonosov Moscow State University, email: tsymbal2013@inbox.ru

Evgenyeva T.V., Smulkina N.V., Tsymbal I.A. Russia's Place in the World in the Perception of National Citizens: Identification Dimension. – Polis. Political Studies. 2020. No. 4. P. 181-191. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.13>

Acknowledgements. The study was supported by the Russian Foundation for Basic Research, project No. 18-011-01138A “The Image of the Country in Russian Society: A Political and Psychological Analysis”.

Received: 04.03.2020. Accepted: 04.05.2020

Abstract. The article is based on the results of a study into Russian citizens' perception of Russia and other countries, conducted by the Department of Political Sociology and Psychology, Faculty of Political Science, Lomonosov Moscow State University. The purpose of the study is to identify if patterns form regarding figurative and symbolic idiosyncrasies into how Russian citizens perceive both their country and others, and such countries' interaction in the global sphere. Studying the content and structural features

of these ideas, we can determine the nature and degree of how crystallized these ideas have become in national-state identity. The study is based on a comprehensive analytical model involving the study of three aspects of the perception of Russia's place in the modern world. The first is the idea of Russia: the spatial and temporal characteristics that serve as a reflection of the respondents' self-identification as a Russian citizen. The second is a system of images and symbols representing the respondents' ideas about the global sphere, the role of states and regions in it, and the features of their interaction and mutual influence. The third is a symbolic representation of how individual countries can be perceived through their relations with Russia. The empirical research methodology is based on a combination of quantitative and qualitative methods: formalized interviews, projective techniques. The research model developed revealed not only the relationship between the spatial and temporal aspects of the perception process, but also their place in the structure of personality identity. Respondents' national-state identification is reflected in the assessments of their country next to others, determines the perception of Russia's place in the world as a subjective factor, and forms the image of the past and future.

Keywords: national state identity, political perception, image of the country, spatial images, temporal images, images of “friends” and “strangers”.

References

- Agirdag O., Phalet K., Van Houtte V. 2016. European Identity as a Unifying Category: National vs. European Identification among Native and Immigrant Pupils. — *European Union Politics*. Vol. 17. No. 2. P. 285–302. <https://doi.org/10.1177/1465116515612216>
- Castells M. 1997. *The Power of Identity*. Cambridge: John Wiley & Sons. 585 p.
- DiTlmann R., Ropf-Beck J. 2019. The Meaning of Being German: An Inductive Approach to National Identity. — *Journal of Social and Political Psychology*. Vol. 7. No. 1. P. 423–447. <https://doi.org/10.5964/jssp.v7i1.557>
- Herb G., Kaplan D. 2017. *Scaling Identities Nationalism and Territoriality*. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield. 226 p.
- MacCrone D., Bechhofer F. 2015. *Understanding National Identity*. Cambridge: Cambridge University Press. 226 p.
- Siddy M. 2017. *National Identities and Foreign Policy in the European Union the Russia Policy of Germany, Poland and Finland*. ECPR Press. 224 p.
- The Politics of Memory in Postwar Europe*. 2006. Ed. by R. Lebow, W. Kansteiner, C. Fogu. Durham: Duke University Press. 384 p.
- Evgenyeva T.V., Selezneva A.V. 2017. Transformation of National-State Identity of Russian Youth in the Post-Soviet Period: Values' Foundations and Symbolic Representations. — *Politeia*. No. 4. P. 48–64. (In Russ.)
- Evgenyeva T.V., Titov V.V. 2017. Images of the Past in the Russian Mass Political Consciousness: Mythological Dimension. — *Political Science (RU)*. No. 1. P. 120–138. (In Russ.)
- Gorshkov M.K., Petukhov V.V. 2016. Vneshnepoliticheskie orientatsii rossiyan v kontekste vyzovov sovremennoi global'noi politiki [Foreign Policy Orientations of Russians in the Context of the Challenges of Modern Global Politics]. — *Politicheskaya nauka pered vyzovami global'nogo i regional'nogo razvitiya: nauchnoe izdanie* [Political Science Facing the Challenges of Global and Regional Development: A Scientific Publication]. Ed. by O.V. Gaman-Golutvina. Moscow: Aspect Press. P. 606–634. (In Russ.)
- Huntington S. 2005. Who are we? Challenges of American National Identity. (Russ. ed.: Huntington S. *Kto my? Vyzovy amerikanskoi natsional'noi identichnosti*. Moscow: AST Press. 635 p.)
- Kiseliov I.Yu., Smirnova A.G. 2016. The Population's Perception of Foreign Policy Results — the Peculiarities. — *Vestnik instituta sotziologii*. Vol. 7. No. 4. P. 136–154. (In Russ.) <https://doi.org/10.19181/vis.2016.19.4.432>
- Malinova O.Yu. 2018. The Commemoration in Russia of the Centenary of the 1917 Revolution(s): Analysis of Strategies of the Key Mnemonic Actors. — *Polis. Political Studies*. No. 1. P. 9–25. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.01.02>
- Mitrofanova S.Yu. 2016. The Image of “Enemy Country” and “Friend Country” in the Ideas of Modern Students of a Technical University. — *Economics and Sociology*. No. 2. P. 19–23. (In Russ.)
- Okunev I.Yu. 2020. *Osnovy prostranstvennogo analiza: monografiya* [Spatial Analysis Basics: Monograph]. Moscow: Aspect Press. 255 p. (In Russ.)
- Petukhov V.V. 2010. Foreign Policy Priorities of the Mass Consciousness of Russians. — *Sociological Studies*. No. 11. P. 4–13. (In Russ.)
- Popova O.V. 2016. Bazovaya matritsa gosudarstvennoi politiki identichnosti v sovremennoi Rossii [The Basic Matrix of State Identity Policy in Modern Russia]. — *Politicheskoe prostranstvo i sotsial'noe vremya* [Political Space and Social Time]. P. 160–165. (In Russ.)

Psikhologiya politicheskogo vospriyatiya v sovremennoi Rossii [Psychology of Political Perception in Modern Russia]. Ed. by E.B. Shestopal. 2012. Moscow: ROSSPEN. 432 p. (In Russ.)

Semenenko I.S. 2016. Identity Politics and Identities in Politics: Interethnic Perspectives in a European Context. — *Polis. Political Studies*. No. 4. P. 8-28. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2016.04.03>

Shestopal Ye.B., Smul'kina N.V. 2018. Factors of Political Perception of Post-Soviet Countries in Contemporary Russian Society. — *Polis. Political Studies*. No. 1. P. 26-44. (In Russ.) <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.01.03>

Snezhkova I.A., Kalacheva I.I., Shalygina N.V., Gromov D.V. 2019. The Images of Russia and Belarus in the Views of the Youth of the Two Countries. — *Vlast'*. No. 1. P. 107-112. (In Russ.) <https://doi.org/10.31171/vlast.v27i1.6236>

Titov V.V. 2012. *Natsional'no-gosudarstvennaya identichnost' rossiiskoi molodezhi v nachale XXI veka* [National-State Identity of Russian Youth at the Beginning of the 21st Century]. Moscow: Max Press. 168 p. (In Russ.)

Zadorin I.V. 2008. Integrational Orientations of the Population of the Cis Countries: Dynamics and Prospects. — *Integration in Eurasia: A Sociological Dimension*. Vol. 2. Moscow: INES. P. 61-89. (In Russ.)

Zamyatin D.N. 2004. *Vlast' prostranstva i prostranstvo vlasti: Geograficheskie obrazy v politike i mezhdunarodnykh otnosheniyakh* [The Power of Space and the Space of Power: Geographical Images in Politics and International Relations]. Moscow: ROSSPEN. 349 p. (In Russ.)

Литература на русском языке

Горшков М.К., Петухов В.В. 2016. Внешнеполитические ориентации россиян в контексте вызовов современной глобальной политики. — *Политическая наука перед вызовами глобального и регионального развития: научное издание*. Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. М.: Аспект Пресс. С. 606-634.

Евгеньева Т.В., Селезнева А.В. 2017. Трансформация национально-государственной идентичности российской молодежи в постсоветский период: ценностные основания и символические репрезентации. — *Полития: Анализ. Хроника. Прогноз*. № 4. С. 48-64.

Евгеньева Т.В., Титов В.В. 2017. Образы прошлого в российском массовом политическом сознании: Мифологическое измерение. — *Политическая наука*. № 1. С. 120-138.

Задорин И.В. 2008. Интеграционные ориентации населения стран СНГ: динамика и перспективы. — *Интеграция в Евразии: социологическое измерение*. Вып. 2. М.: ИНЭС. С. 61-89.

Замятин Д.Н. 2004. *Власть пространства и пространство власти: Географические образы в политике и международных отношениях*. М.: РОССПЭН. 349 с.

Киселёв И.Ю., Смирнова А.Г. 2016. Особенности восприятия населением результатов внешней политики. — *Вестник Института социологии*. № 19. С. 136-154. <https://doi.org/10.19181/vis.2016.19.4.432>

Малинова О.Ю. 2018. Коммеморация столетия революции(й) 1917 года в РФ: анализ стратегий ключевых мнемонических акторов. — *Полис. Политические исследования*. № 1. С. 9-25. <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.01.02>

Митрофанова С.Ю. 2016. Образ “страны-врага” и “страны-друга” в представлениях современных студентов технического вуза. — *Экономика и социология*. № 2. С. 19-23.

Окунев И.Ю. 2020. *Основы пространственного анализа: монография*. М.: Аспект Пресс. 255 с.

Петухов В.В. 2010. Внешнеполитические приоритеты массового сознания россиян — *Социологические исследования*. № 11. С. 4-13.

Попова О.В. 2016. Базовая матрица государственной политики идентичности в современной России. — *Политическое пространство и социальное время*. С. 160-165.

Семененко И.С. 2016. Политика идентичности и идентичность в политике: этнонациональные ракурсы, европейский контекст. — *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 8-28. <https://doi.org/10.17976/jpps/2016.04.03>

Снежкова И.А., Калачева И.И., Шалыгина Н.В., Громов Д.В. 2019. Образы России и Белоруссии в представлениях молодежи двух стран. — *Власть*. № 1. С. 107-112.

Титов В.В. 2012. *Национально-государственная идентичность российской молодежи в начале XXI века*. М.: МАКСПресс. 168 с.

Хантингтон С. 2004. *Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности*. М.: ООО АСТ. 635 с.

Психология политического восприятия в современной России. Под ред. Е.Б. Шестопал. 2012. М.: РОССПЭН. 432 с.

Шестопал Е.Б., Смутькина Н.В. 2018. Факторы восприятия постсоветских стран в современном обществе. — *Полис. Политические исследования*. № 1. С. 26-44. <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.01.03>

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА

Дорогие авторы! Подробная информация о тематическом профиле журнала, редакционная политика и требования, предъявляемые к присылаемым в Редакцию рукописям, размещены на сайте журнала <http://www.politstudies.ru>. Рекомендуем ознакомиться с такими разделами, как *Система рецензирования*, *Этические принципы авторов журнала* и *Этические принципы рецензирования*.

Подать рукопись на рассмотрение можно через форму на сайте или электронную почту new-authors@politstudies.ru. Приветствуем указание идентификаторов автора: ORCID, SPIN-код, ResearcherID, Scopus Author ID, РИНЦ Author ID.

Оформляя списки литературы, не забудьте указать DOI всех источников из списка литературы, если они им присвоены. В случае если оригинал цитируемого источника в данный момент недоступен, можно проверить наличие DOI на сайте www.crossref.org в разделе *SimpleTextQuery*. DOI должен быть представлен в виде рабочей гиперссылки в конце библиографического описания, например:

Hinich M., Munger M. 1997. *Analytical Politics*. Cambridge, N.Y.: Cambridge University Press. 253 p. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139174725>

ПОДПИСКА

Во всех отделениях связи:

- по каталогу “Газеты. Журналы” (“РОСПЕЧАТЬ”). Индекс 70790 — на полугодие.

В агентствах по подписке:

- ООО “Урал-Пресс”. Тел.: 8 (495) 721-25-89; <http://www.ural-press.ru>
- ООО “Информнаука”. Тел.: 8 (495) 787-38-73; (499) 152-54-81; <http://www.informnauka.com>
- ООО “НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”. Тел. 8 (499) 789-45-55; <http://www.informsystema.ru>

В интернете:

- ОАО Агентство “РОСПЕЧАТЬ”: <http://press.rospress.ru>

В электронном виде статьи и выпуски журнала можно приобрести в интернет-магазине www.polismag.ru

За разрешением на перепечатку или перевод опубликованных в нашем журнале материалов обращаться в Редакцию.

Страницы журнала всегда открыты для дискуссионных материалов, поэтому его содержание не обязательно отражает точку зрения Учредителей и Редакции.

© Полис. Политические исследования, 2020, № 4(178), 1-192 стр.

Сдано в производство: 22.04.2020. Подписано к печати: 25.06.2020. Дата выхода в свет: 22.07.2020.

Формат 70 x 100 1/16. Гарнитура “Ньютон”. Печать офсетная.

Печ.л. 12,0. Уч.-изд.л. 17. Тираж 770. Цена свободная. Индекс 70790. Заказ

Во всех случаях полиграфического брака обращаться в типографию-изготовитель

Адрес издателя журнала “Полис. Политические исследования”:

101100, Москва, Колпачный пер., д. 6, пом. II, комн. 5.

Адрес редакции журнала “Полис. Политические исследования”:

117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корпус 5, оф. 208; телефон: 8 (495) 502-43-17.

Email: new-polis@politstudies.ru (для текущей переписки); new-authors@politstudies.ru (для авторов)

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ФГУП “Издательство “Наука” (Типография “Наука”)
121099, Москва, Шубинский пер., 6